

Джеймс Фенимор Купер

Краснокожие

Глава I

Твоя мать была образцом добродетели, и она говорила: ты — моя дочь; твой отец был князем Милана и имел единственную наследницу принцессу; это неплохое происхождение.

«Буря»

Мой дядя Ро и я только что совершили дальнейшее путешествие на восток и после долгого отсутствия, длившегося пять лет, вернулись, наконец, в Париж. Мы возвращались через Египет, Алжир, Марсель и Лион и целых восемнадцать месяцев не имели ни одной строчки известий из Америки. Несмотря на все принятые нами меры для того, чтобы нам высылали нашу корреспонденцию на разные банкирские дома Италии, Турции и Мальты, мы не застали нигде ни одного письма.

Мой дядя долго путешествовал по Европе или, вернее, долго проживал в ней, так как из пятидесяти девяти лет своей жизни он не менее двадцати провел вне своей родины — Америки.

Старый холостяк, без всяких определенных занятий, получавший довольно кругленький доходец со своих поместий, становившихся год от года более доходными, благодаря возрастающему развитию соседнего с ним города Нью-Йорка, мой дядя, имея склонность к путешествиям, проводил большую часть своей жизни там, где находил возможность лучше удовлетворять всем своим вкусам.

Хедж Роджер Литтлпедж, младший сын деда моего Мордаунта Литтлпеджа и его жены Урсулы Мальбон, родился в тысяча семьсот восемьдесят шестом году. Отец мой Мальбон Литтлпедж был старшим сыном деда, и если бы он пережил своих родителей, то унаследовал бы от них громадное поместье Равенснест («Воронье гнездо»). Но мой отец скончался молодым, а потому, по достижении восемнадцатилетнего возраста, я получил все то, что должно было быть его законной частью.

Мой дядя Ро на свою долю получил Сатанстое (Чертов палец) и Лайлаксбуш (Сиреневый куст), две загородных дачи, при которых имелись и небольшие фермы, которые хотя и не могли быть названы поместьями в строгом значении этого слова, но, в сущности, были не менее доходными владениями, чем даже все необозримые луга, поля и пашни Равенснеста. Дядя мой был богат, и все мы были прекрасно обеспечены: тетки мои имели крупные капиталы в различных облигациях и верных закладных, а также в городских акциях; сестра же моя Марта располагала состоянием по

меньшей мере в пятьдесят тысяч долларов наличными деньгами. У меня тоже было немало городских акций, которые с каждым годом повышались в цене и давали прекрасные доходы. Статья о неприкосновенности капитала и процентов до моего совершеннолетия в течение семи лет немало способствовала изрядному приращению моих капиталов, надежно помещенных под проценты в обществе штата Нью-Йорк. Эта статья, или, вернее, оговорка в завещании гласила, что я вступлю во владение всем моим состоянием не ранее, чем мне исполнится двадцать пять лет. Коллегию я окончил к двадцати годам, и дядя Ро предложил попутешествовать, чтобы пополнить пробелы моего образования. Так как такого рода перспектива всегда является заманчивой для молодого человека, то мы, недолго думая, отправились в путь как раз в то время, когда окончился несколько задержавший нас финансовый кризис тысяча восемьсот тридцать шестого — тридцать седьмого годов. В Америке требуется не меньше усилий для того, чтобы сохранить в целостности свои капиталы, чем для того, чтобы их нажить.

Звали меня так же, как и дядю моего, Хеджес Роджер Литтлпедж, но меня называли Хегс, тогда как дядю вся родня звала Роджер, Ро и Хедж, смотря по тому, как кому нравилось.

У этого добрейшего дядюшки Ро была своя особая система снимать повязку с глаз американцев и очищать от тины провинциализма республиканские алмазы.

По его мнению, следовало начинать непременно с азбуки и уж затем переходить последовательно к литературе и математике. Но, впрочем, это требует кое-каких пояснений. Дело в том, что большинство путешествующих американцев высаживается в Англии, стране наиболее передовой по части материального развития, а затем отправляются в Италию, иногда в Грецию, а уж Германию и другие менее деятельные северные страны оставляют обыкновенно напоследок. Но дядя мой находил нужным начинать с древних и кончать новейшими народами и странами, хотя и сознавал, что таким путем отчасти умалется прелесть новизны. Так, например, американец, прибывший прямо с родного западного материка, конечно, может наслаждаться и в Англии воспоминаниями прошедшего, но эти самые воспоминания прошлого покажутся ему и бледными, и мало интересными после того, как он успел уже повидать и храм Нептуна, и Колизей, и Парфенон или, вернее, то, что еще уцелело от них. Так было и со мною. Сойдя на берег в Ливорно, мы в течение года объехали Италию. Затем через Испанию и Францию добрались до Парижа, а уж оттуда отправились в Москву и к берегам Балтийского моря. Следуя далее этим путем, мы направились в Англию, причем избрали путь на Гамбург. Объехав все уголки Соединенных Британских Королевств, все древности которых мне показались весьма интересными в сравнении со всем тем, что я уже видел, мы, наконец, вернулись в Париж, где самородному американскому алмазу надлежало приобрести необычайный блеск и чудную шлифовку.

Мой дядя Ро особенно любил Париж, где приобрел собственный небольшой отель, в котором постоянно оставлял для себя роскошно убранную, прекрасную квартиру, занимавшую весь первый и второй этажи. Остальную часть дома занимали жильцы. Иногда, когда дядя отлучался из Парижа на время более полугода, он, в виде особой милости, соглашался сдать и свою квартиру какой-нибудь знакомой семье американцев. И в таких случаях вся сумма наемной платы употреблялась им на обновление обстановки и приобретение новых ценных вещей.

По возвращении нашем из Англии мы провели целый сезон в Париже, посвящая все время исключительно шлифовке самородного алмаза. Когда моему дяде вдруг пришла фантазия, что мне необходимо побывать на востоке, он и сам еще дальше Греции ни разу не бывал, и потому решил сопутствовать мне и на этот раз.

За это время мы посетили Грецию, Константинополь, Малую Азию, Святую землю, Аравию, Красное море и Египет. Мы отсутствовали более двух лет и уже очень давно не получали никаких известий из Америки.

В письмах, получаемых нами ранее, ни одним словом не упоминалось о наших общих семейных и денежных делах. Мы знали только, что акции различных банков стояли высоко и что повсюду наши переводы выплачивались нам с готовностью и без малейших затруднений.

Но вот все наши странствования окончены, и мы, наконец, снова в стенах прекрасного Парижа. Наш почтовый дормез подвез нас прямо к роскошному отелю дяди на улице Сен-Доминик, а час спустя мы сидели уже за обедом под своим собственным домашним кровом. Жилец, занимавший в наше отсутствие квартиру дяди, выехал из нее согласно условию за месяц до нашего возвращения. В течение этого месяца старый консьерж с женой успели все привести в порядок, поправить и возобновить, нанять необходимую прислугу, а главное, отменнейшего повара, и приготовить все к нашему возвращению.

— Надо признаться, Хегс, что в Париже можно прекрасно жить, если только обладаешь «умением жить». Но вместе с тем, мне что-то очень хочется подышать воздухом нашей далекой родины. Можно и говорить, и думать все что угодно об удовольствиях, удобствах и столе Парижа, но все же нет ничего, что бы могло сравниться с родным гнездом.

— Да, я тоже говорил вам, дядя, что Америка — прекрасная страна, чтобы покушать и попить, каковы бы ни были во многом другом ее недостатки.

— Ты говоришь: прекрасная страна, чтобы покушать и попить. Ну да, но только при условии суметь избавиться от излишнего жира и заручиться прежде всего приличным поваром. А впрочем, ведь между кухней Новой Англии и центральных штатов такая же разница, как между английской и немецкой кухней, то же самое можно сказать и про центральные южные штаты, в которых стол напоминает до некоторой степени кухню Вест-Индии, тогда как кухня средних штатов почти та же, что и английская, если прибавить к ней кое-какие наши отличнейшие блюда, как, например, баранья голова, железница *poté 1*, водяная птица и многие другие.

— Не предложить ли тебе, Хегс, немного этого неизбежного «*roulet a la Marengo?*» Ах, как бы я желал, чтобы то была наша американская дворовая птица с добрым ломтем дикого поросенка! Словом, я чувствую себя сегодня завзятым патриотом, мой милый Хегс!

— Это весьма естественно, дядя Ро, и я готов обвинить себя в том же грехе. Ведь вот уже пять лет, как мы вдали от родины; мы так давно не имеем оттуда никаких вестей, да и к тому же мы знаем, что теперь наш Джекоб (то был вольноотпущенный из негров, находившийся в услужении у дяди), мы знаем, — говорю я, — что Джекоб отправился за нашими газетами и письмами, и потому невольно переносишься душой и мыслью по ту сторону Атлантического океана. Я убежден, что завтра у нас обоих будет легче на душе, когда мы успеем ознакомиться с содержанием наших писем и газет.

— Знаешь что, Хегс, выпьем-ка мы с тобой по старому нью-йоркскому обычаю! Покойный твой отец и я никогда бы не подумали омочить губы в стакане доброй мадеры без того, чтобы не сказать друг другу: «Твое здоровье, Малх!» — «Твое здоровье, Хегс!».

— Да, хотя обычай этот уже немного устарел, но у американцев он стал почти священным, так как они долее всех других придерживались этого обычая, а потому я с радостью буду пить за ваше здоровье.

— Спасибо, Хегс! .. Анри!

Так звали дворецкого моего дяди, которому этот последний, во все время нашего отсутствия в Париже, продолжал полностью выдавать содержание с тем, чтобы раз вернувшись быть уверенным, что этот добросовестный и честный человек вновь примет на себя все хлопоты по дому и хозяйству.

— Monsieur? — отозвался Анри.

— Вот видите ли, друг мой, я ничуть не сомневаюсь в том, что это старое Бургундское — отличное вино, да и на вид оно мне кажется прекрасным; но мы сегодня хотим с моим племянником выпить по-американски, и потому я думаю, что вы нам не откажете в стакане доброй мадеры.

— Я очень счастлив, что могу вам этим услужить, monsieur, сию минуту!

Мы с дядей выпили его любимой мадеры, хотя о качестве ее я бы не мог сказать ничего особенно лестного.

— Что за прекрасный фрукт эта Ньютаунская ранета! — воскликнул за десертом дядя, вертя в руках полуочищенную грушу. — Французы так много говорят здесь про свои пресловутые «poires de beurre» note 2, но на мой вкус они не могут выдержать сравнения с теми ранетами, какие мы имеем в Сатанстое; кстати будь сказано, эти ранеты даже гораздо лучше тех, что получаются по ту сторону реки в самом Ньютауне!

— Вы правы, дядя, ваши груши превосходны, и ваш фруктовый сад в Сатанстое лучше всех тех, какие мне случалось видеть. Но часть его, если не ошибаюсь, взята была под квартал города Дибблтон.

— Да, чтобы черт побрал этот проклятый городишко! — воскликнул дядя. — Я очень сожалею, что уступил даже один аршин этой земли, хотя я от этой продажи выручил, в сущности, немало денег. Но что такое деньги! Они не могут нас вознаградить за то, что дорого нашему сердцу.

— Вы говорите, дядя, что получили большую сумму за тот клочок земли, а во сколько, смею спросить, ценили Сатанстое, когда он вам достался от деда?

— Уж и тогда по своей стоимости Сатанстое представлял собою довольно кругленькую сумму. Ведь это первоклассная прекраснейшая ферма и вместе с камышами и солончаками имеет не менее пятисот акров всякой земли.

— Насколько помнится, вы получили Сатанстое в тысяча восемьсот двадцать девятом году?

— Да, именно, это был год смерти моего отца. В то время эту ферму ценили в тридцать тысяч долларов, но ведь в ту пору земля в Вестчестере не имела большой цены.

— Да, знаю. Ну, а впоследствии вы продали городу около двухсот акров, в том числе значительную часть камышей, за пустячную сумму в сто десять тысяч долларов наличными деньгами, не так ли? Дельце недурное! Грех сказать!

— Наличными деньгами я получил лишь восемьдесят тысяч, а остальные тридцать обеспечены верной закладною.

— Ведь закладная же у вас цела и сейчас, насколько я знаю; эта ипотека, кажется, простирается чуть ли не на весь Дибблтон. Да, что и говорить, целый, хотя и небольшой, но все же город, может считаться недурным обеспечением для тридцати тысяч долларов.

— Оно, конечно, так, но все же, если бы мне вот сейчас вздумалось оправдать свои деньги, то, право, любой филадельфийский поверенный был бы в немалом затруднении, так как ему пришлось бы воевать с каждым отдельным владельцем городских акций.

— Хм, значит, с Лайлакбушем вам было меньше хлопот?

— Да, там дело совсем иное. Ты знаешь, Лайлакбуш расположен на острове Манхаттен, и нет сомнения, что рано или поздно там будет построен город. Правда, что эта ферма находится почти в восьми верстах от ратуши, но, несмотря на это, эта земля во всякое время найдет покупателя и

может дать большие деньги. Да и кто может знать, что со временем город не разрастется до самого Кингсбриджа?!

— Я слышал, что вы за него взяли хорошую цену, дядя?

— Да, немало, триста двадцать пять тысяч долларов наличными. Я не соглашался на рассрочки и требовал всю сумму сразу. Теперь все эти деньги мною помещены в надежных шестипроцентных акциях компании штатов Нью-Йорк и Огайо.

— Здесь многие сочли бы это за весьма дурное помещение капиталов,

— заметил я.

— Тем хуже для них! Что там ни говори, Америка — великая и славная страна; мы можем только радоваться и гордиться, что мы с тобой ее сыны, нет нужды, что в нее кидает камни чуть ли не весь крещеный мир.

— Но ведь нельзя не сознаться, что у других это желание бросать в нас камнем явилось, вероятно, просто из подражания нам, так как, поистине, если и есть такая нация, которая только и делает, что постоянно побивает сама себя камнями, так это наша возлюбленная родина.

— Да, есть грех, но это ведь не более, как пятно на Солнце! Ты повидал и ознакомился теперь довольно основательно почти со всеми народами и странами Старого Света и должен был сам лично убедиться, насколько наша родина стоит выше их всех.

— Я помню, дядя, что вы всегда так отзывались об Америке, а вместе с тем вы большую половину своей жизни, с того момента, как стали независимы, провели вне этой великой и славной страны.

— Это чистейшая случайность, дело вкусов и склонностей, мой друг; любя душевно свою родину, я не решусь утверждать, что Америка — именно та страна, где молодому человеку всего приятнее вступать в жизнь, о, нет! У нас число различных развлечений и увеселений слишком ограничено; у нас народ все больше деловой, и там живет хорошо семейным людям, имеющим свой собственный родной очаг, свою семью и свое дело; а человеку свободному, ничем не занятому, без всяких сильных сердечных привязанностей, трудно найти у нас такое разнообразие и развлечений, и наслаждений, как в этой старой части света. Мало того, я готов согласиться, что не материально, а умственно в любой столице или большом центре какого-нибудь европейского государства люди переживают за один день больше разного рода впечатлений и ощущений, нежели, например, у нас, в Нью-Йорке, Филадельфии и Балтиморе за целую неделю.

— Ну, а о Бостоне вы не упомянули, дядя! — заметил я.

— Да, о Бостоне я ничего не говорю, там все ужасно чутки и впечатлительны, а потому лучше оставить их в покое. Но если здесь, в Европе, людям праздной жизни, людям, с некоторой утонченностью вкусов и привычек, живет лучше, чем у нас, зато каждому человеку дела и плодотворной мысли, каждому филантропу, философу, экономисту найдется в Америке много материала, доказывающего превосходство нашей нации. Взгляни хотя бы на наши законы: какое удивительное равенство для всех! И все они построены на непоколебимых основах справедливости и правды, направлены на благо общества и каждой отдельной личности и одинаковы для бедных и богатых.

— Да так ли, дядя?! Равно ли покровительствуют все наши законы и бедным, и богатым?

— Ну, я готов, пожалуй, согласиться, что тут есть некоторый грех, но всему человечеству присуще некоторое пристрастие; никто не вправе ожидать здесь, на земле, полного совершенства, и в сущности, если говорить правду, то даже и пристрастие это скорее клонится в лучшую, а не в худшую сторону. Если уже неизбежно, согласно вечному порядку жизни, что во всем должна быть

некоторая доля несправедливости или неравенства, то, без сомнения, лучше, чтоб это было в пользу бедняков, чем в пользу богачей.

— Нет, дядя, истинная справедливость не разбирает, кто беден, кто богат — она должна быть одинакова для всех. Мне часто приходилось слышать, что гнет и власть большинства — это самый ужасный, самый беспощадный деспотизм.

— Да, там, где этот деспотизм на самом деле существует; конечно, легче удовлетворить одного тирана, чем целую толпу тиранов, да и ответственность, если она ложится на одного, бывает несравненно тяжелее и страшнее, и самая вина проступка ярче и перед Богом, и перед людьми; вот почему я верю и понимаю, что самодержавный царь даже тогда, когда имеет склонность быть деспотом, может быть остановлен и удержан от некоторых поступков и деяний страхом ответственности за свои поступки, если вся тяжесть этой ответственности должна пасть всецело на его голову. Но ведь у нас почти ни в чем не проявляется какой бы то ни было деспотизм, а если даже где-нибудь он существует, то уж, конечно, не в такой мере, чтобы перевесить все преимущества нашей системы правления.

— Я слышал, дядя, от очень умных людей, что первое печальное явление нашей системы, это — постепенный упадок чувства справедливости в нас самих. Судьи наши утратили мало-помалу все свое влияние, тогда как присяжные настолько же искусно и усердно создают законы, насколько обходят и преступают их, смотря по обстоятельствам.

— Во всем этом есть доля правды, Хегс, об этом я не спорю; и я не хуже тебя знаю, что в любом более или менее важном процессе принято спрашивать не то, которая из двух тяжущихся сторон права, а то, чью сторону гнут присяжные. Впрочем, я ведь вовсе не говорю о совершенстве, я только утверждаю, что родина наша — великая и славная страна, и мы с тобой можем гордиться, что старый Хегс Роджер, наш предок и тезка, вздумал сюда переселиться полтора века тому назад. Чем я особенно горжусь у нас, так это равенством всех людей перед законом.

— Да, если бы богатые имели те же права и преимущества, как беднота, тогда и я бы согласился с вами.

— Ну, да, об этом можно кое-что сказать, но это же неважно.

— Ну, а последний новейший закон о несостоятельности и банкротствах! Что вы на это скажете?

— Да что и говорить! Это, действительно, возмутительное дело!

— А случилось ли вам, дядя, слышать или читать об одном фарсе, поставленном по этому самому поводу на одной из второстепенных сцен в Нью-Йорке, вскоре после нашего с вами отъезда из Америки?

— Нет, не слышал, хотя, говоря правду, все наши пьесы, в сущности, все те же фарсы — о них и говорить, пожалуй, не стоит.

— Нет, эта пьеса заслуживает некоторого внимания, она задумана довольно остроумно: это все та же старая история доктора Фауста, в которой молодой повеса продал дьяволу свою душу и тело. И вот однажды вечером, когда он вместе с целой гурьбой веселых, хмельных товарищей кутил, развратничал, шумел и веселился, является к нему его кредитор и требует, чтобы его впустили. И вот он входит, на козых ножках и с рожками на лбу, а также, если я не ошибаюсь, с длинным тонким хвостом на манер коровьего; однако Том (это имя повесы) не робкого десятка парень, его безделицей не напугаешь, он настаивает на том, чтобы его приятель Дик докончил начатую веселенькую песню, прерванную приходом незваного гостя, как-будто появление этого последнего нимало его не касалось. Но, несмотря на то, что у всей остальной компании не было никакого рода дел или условий с косматым чертом, Сатаной, все же у большинства были тайные

грешки, благодаря которым все они чувствовали себя не совсем ловко в присутствии этого нового лица, и многие из них смутились, несмотря на изрядное количество выпитого вина. Однако запах серы давал о себе знать, напоминая о присутствии здесь не совсем обычного гостя; тогда Том, встав из-за стола, подходит к нему и вежливо осведомляется, по какому делу он явился сюда.

— Вот это ваше обязательство, милостивый государь, — отвечает нахалу Сатана, указывая многозначительно на некий документ.

— Ну, обязательство, так что же из того? Ведь оно, кажется, в порядке?

— Да, но разве это не ваша подпись, не ваша рука?

— Ну, да, моя, я этого не отрицаю!

— И подпись эта сделана вашей кровью?

— Да, это ваша шутовская выдумка, я вам тогда же говорил, что чернила имеют ту же цену перед лицом закона.

— Ваш срок истек семь минут и четырнадцать секунд тому назад! И я теперь требую уплаты!

— Ха, ха! Вот славный долг! Да кто же теперь платит? Даже и Пенсильвания, и Мэриленд, и те не думают платить! А, впрочем, если вы настаиваете, то сделайте одолжение, — и с этими словами Том вытаскивает из кармана бумагу и добавляет с неподражаемым комизмом: — Так вот, уж ежели вы так требовательны, вот получите — это новый закон о несостоятельности и банкротствах, подписанный Смес-Томсоном.

После этого разочарованный вконец Сатана исчез со скрежетом зубовным, бормоча всякие проклятия.

Дядя Ро рассмеялся от души; но вместо того, чтобы из моего рассказа сделать те выводы, каких я ожидал, получил после этого лишь еще лучшее мнение о нашей родине.

— Так что же, Хегс, это доказывает только, что между нами есть немало смышленных парней! — воскликнул он и даже прослезился от умиления. — Хотя есть несколько дурных и превратных законов и несколько дурных и развращенных людей, которые применяют их не так, как должно, но что же из того? Ведь говорят: в семье не без урода! А вот и Джекоб с нашими письмами и газетами! Их целая корзина.

Действительно, Джекоб, очень почтенный негр, внук старого невольника по имени Джек, который и до настоящего времени жил на моей земле в прекрасном Равенснесте, принес нам около двухсот писем. В этот момент мы кончали десерт, и я и дядя поднялись из-за стола, чтобы взглянуть поближе на все эти конверты и обертки. Разобрать нашу почту было на этот раз дело нелегкое.

— Здесь целая дюжина писем моей сестры, — заметил я, разбирая газеты и письма, адресованные на мое имя.

— Конечно, ведь твоя сестра еще не замужем и потому имеет время думать о брате, ну, а мои все замужем и одно письмо в год — максимальная порция. Но вот дорогой почерк моей матери. Урсула Мальбон никогда своих детей не позабудет. Ну, теперь покойной ночи, милый Хегс, — добавил дядя, забрав всю свою почту, — нам на сегодня дела хватит, а завтра увидимся поутру и сообщим друг другу наши новости.

— Покойной ночи, дядя! — отозвался я. — Завтра за завтраком мы с вами побеседуем опять о нашей милой родине и о наших близких.

* Глава II

Отчего склоняется чело моего государя, как колос, отягченный благодеяниями Цереры?

«Генрих VI»

Я вчера улегся спать не ранее двух часов ночи и встал поутру около десяти, но лишь после одиннадцати ко мне явился Джекоб с докладом, что господин его вышел из своей спальни в столовую и ожидает меня к завтраку. Конечно, я, в свою очередь, немедля поспешил к нему, и несколько минут спустя мы с дядей уже сидели за столом.

При входе меня поразил серьезный, озабоченный вид дяди. Возле его прибора на столе лежало несколько номеров газет и письма. Его обычное приветствие «добрый день, Хегс» было как и всегда ласково и сердечно, но мне послышалась в его словах какая-то грустная нотка.

— Надеюсь, у вас не было никаких неприятных известий?! — воскликнул я, поддавшись первому впечатлению. — Последнее письмо, которое я получил от Марты, нас извещает, что бабушка отлично себя чувствует, и все ее письмо дышит беспечной веселостью.

— Да, матушка моя здорова и, очевидно, несмотря на свои восемьдесят лет, прекрасно сохранилась; но все-таки ей хочется поскорее свидеться с нами, особенно с тобой; ведь внуки всегда бывают любимцами бабушек. А у тебя все известия приятные?

— Да, неприятного нет ничего! Все письма от Марты скорее веселые; я полагаю, что теперь она должна быть красавицей.

— И я в этом уверен, не может быть, чтобы Марта Литтлпедж не была хороша; у нас, в Америке, пятнадцать лет для молоденькой девушки, бесспорно, такой возраст, когда можно почти что безошибочно определить, какая из нее должна быть женщина; к тому же я не раз слышал от старых людей, знавших нашу бабку, что Марта очень похожа на нее, когда та была в ее летах, а наша бабка в свое время была первой красавицей во всей стране.

— В письмах сестры встречаются также намеки на некоего Дарри Бикмэна, который, очевидно, очень сердечно к ней расположен. Вы, дядя, верно, знаете это семейство Бикмэн?

Дядюшка удивленно взглянул на меня; как истый ньюйоркец и по рождению, и по связям, мой дядя питал особое уважение ко всем старым и коренным фамилиям страны и штата.

— Ты и сам, верно, должен знать, Хегс, что у нас имя Бикмэн считается старинным и всеми уважаемым, — ответил дядя. — Есть одна ветвь этих Бикмэнов или Бакмэнов, поселившаяся по соседству с нашим Сатанстое, и я предполагаю, что Марта, навещая мою мать, имела случай

видеть и встречать их там. Да, это известие меня сердечно радует. Но, между прочим, я получил одно, которое меня глубоко огорчило! — добавил дядя.

Встревоженный и удивленный, я смотрел на его красивое и огорченное лицо, которое он прикрывал рукою.

— Осмелюсь спросить вас, что это за вести, которые так огорчили вас? — решился я спросить, наконец, дядю.

— Да, я тебе сейчас все расскажу. Ты должен знать об этом уж потому, что ты имеешь прямое отношение к этому делу.

— Я не понимаю, на что вы намекаете, милый дядюшка. Будьте добры, объяснитесь обстоятельнее.

— Я это знаю и потому сейчас же поясню то, что сказал. Ты, конечно, знаешь земли Ван-Ренсселара; они занимают громадное пространство на протяжении сорока восьми миль от запада к востоку и двадцати четырех миль с севера к югу. За исключением трех или четырех городов, лежащих на этом пространстве, вся земля эта принадлежала одному человеку. По смерти последнего Ван-Ренсселара осталось около двухсот тысяч долларов различных недоимок с разных лиц, арендовавших его земли, и этою-то суммой он в своем завещании распорядился по своему усмотрению, назначив и душеприказчиков для приведения в исполнение своей последней воли. И вот попытка собрать эти деньги и вызвала первые смуты и беспорядки в стране. Те, которые столько времени спокойно оставались должниками, не захотели и теперь платить свои долги. Люди эти, зная всю силу и значение большинства в Америке, составили союз с другими им подобными людьми, мечтавшими о том, чтобы одним разом уничтожить всякую поземельную и арендную плату. Вот этот-то союз людей, желающих пользоваться чужой землей, но не желающих платить, и создал так называемые смуты очага. Вдруг появились группы людей, выраженных наподобие индейцев, укутанных в коленкоровые рубашки и маски цвета кожи краснокожих, вооруженных преимущественно ружьями и ножами; они вооруженной силой восстали против законной исполнительной власти полиции и судебных приставов и воспрепятствовали им собирать ренту так нагло, что судебная власть нашла необходимым вытребовать себе на помощь значительный корпус милиции, чтобы оградить своих должностных лиц во время исполнения ими служебных обязанностей. Казалось, что такой радикальной мерой бунтовщики были усмирены и порядок в стране вновь водворен; на самом деле тут вышло на беду одно весьма печальное недоразумение или ошибка. Губернатор провинции, высланный по требованию полиции на место бунта военную милицию, доложил о случившемся в законодательный совет в числе дел, относящихся к жалобам, претензиям арендаторов, как-будто они были в этом деле пострадавшими, тогда как, в сущности, действительно пострадавшими являлись только одни землевладельцы, то есть Ван-Ренсселар в ту пору. Эти беспорядки происходили исключительно только на их земле. И эта-то ошибка губернатора нанесла нашей стране громадный вред, которого, конечно, и сам он не предвидел.

— Я удивляюсь, как могла произойти подобная ошибка, как можно было говорить в защиту арендаторов, когда для землевладельца не было сделано ничего, кроме того, что строго предписывает наш закон.

— Я вижу здесь одну только причину, а именно: все дело в том, что землевладелец — единичная личность, а возмущившихся арендаторов около двух тысяч человек. Несмотря на всевозможные обвинения богатых землевладельцев в феодализме, аристократизме и барстве, ни один из Ренсселаров не имеет ни на йоту более прав или предпочтений перед законом, или иных экономических преимуществ, чем их последний конюх или лакей, если только они не негры. А всяких гарантий и обеспечений даже имеют гораздо меньше, чем их слуги и арендаторы.

— Итак, вы полагаете, что смелость и нахальство этих бунтовщиков исключительно объясняются только тем, что они представляют собою большинство избирательных голосов?

— Да, без сомнения! Если бы на каждой ферме имелось по хозяину, как имеется арендатор, то жалобы этих последних были бы приняты властями с полнейшим равнодушием, а если б на каждого арендатора приходилось по два землевладельца, то, вероятно, те же жалобы с негодованием были бы отвергнуты и оставлены без последствий.

— Но в чем, собственно, состояли жалобы господ арендаторов?

— Они жаловались на некоторые параграфы в своих условиях и контрактах, которые когда-то сами добровольно подписали, или вернее, были недовольны всеми параграфами от первого до последнего; их более всего огорчало то обстоятельство, что они не могли назваться полными, самовластными собственниками тех земель, которые по праву принадлежат не им, а их землевладельцу. Все они возроптали на контракты и всякого рода узаконенные документы, совершенно забывая, что только благодаря им теперь пользуются теми правами, какие им даны на эксплуатируемую ими землю, и что с того момента, как бумаги эти будут признаны недействительными, они тотчас же потеряют всякие права на занимаемые ими земли.

— Но как же не причастная к этому делу часть общины не восстала на защиту правого дела, не потребовала уничтожения подобных злоупотреблений и не уничтожила вконец?

— Ах, милый друг, наши законы писаны в расчет, что они будут добросовестно применяться, с твердой уверенностью, что в нашей республике всегда найдется достаточное число людей, вполне честных и справедливых, которые будут неуклонно следить за святостью и нерушимостью закона. Но на самом деле грустная истина показывает нам, что люди благонамеренные и хорошие обыкновенно бездействуют и остаются совершенно пассивными, а деятельность выпадает почти постоянно на долю людей злонамеренных, людей интриги. Нет, нет! Что там ни говори, но в смысле политического влияния никогда не следует рассчитывать на деятельность добродетели: обязательно следует опасаться во всякое время порочной и преступной деятельности зла.

— Вы смотрите не с особенно лестной точки на наше человечество, милый дядя.

— Я говорю о людях, какими их видел и узнал в двух противоположных полушариях. Но вернемся к вопросу об арендаторах: они стали кричать о правах феодализма еще и на том основании, что некоторые из фермеров господ Ван-Ренсселаров должны были выплачивать известную часть своей арендной платы не деньгами, а живностью или же несколькими рабочими днями в пользу владельца. Мы с тобой ведь достаточно знаем Америку и все ее жизненные условия, чтобы понять, что большинство земледельческого класса было бы очень счастливо, если бы им позволяли уплачивать поземельную ренту рабочими часами или различной живностью, а не деньгами; одно это уже ясно доказывает всю безосновательность вышеупомянутых сетований и жалоб. Да и на самом деле, что в этом обязательстве более феодального, чем в обязательстве булочника или же мясника по отношению к известному лицу, которому бы они обязались в течение определенного срока поставлять ежемесячно или ежедневно известное количество мяса и булок! При том, если никто не возмущается уплатой ренты хлебом и зерном, то почему же возмущаться уплатой ренты птицей?

— Но если я не ошибаюсь, — заметил я, — ведь эти обязательства всегда могут быть заменены денежной платой, не так ли?

— Совершенно верно, это всегда предоставляется на усмотрение фермера, и самое обязательство это, взамен денежной платы, обыкновенно делалось для облегчения и по желанию, и по просьбе самих арендаторов. Каждому здравомыслящему человеку, конечно, вполне ясно, что обязанность платить ренту отнюдь не создает никакой политической

зависимости, равно как и открытый кредит в любой лавке — и даже того меньше, особенно если говорить о договорах и условиях арендаторов Ренсселаров; всякий должник или кредитор в любой лавке обязан уплатить свой долг в каждый данный момент, когда того потребует его заимодавец, тогда как фермеры заранее знают срок и день уплаты и могут задолго готовиться к нему. Это чистый абсурд возмущаться арендными условиями и называть их отголосками феодализма; ведь, в сущности, эти условия гораздо выгоднее для арендаторов, чем для кого-либо другого. Как я тебе уж говорил, Хегс, многие из них были «бессрочные» или же «постоянные», не трудно понять, что чем длиннее срок условия, тем выгоднее для нанимателя: предположим, например, что два фермера сняли у некоего землевладельца землю один — на бесконечный срок, а другой — на пять лет. Который же из них, думаешь ты, будет более независим от политического влияния землевладельца? Конечно, тот, который заключил условие на бесконечный срок! Он, в сущности, настолько же независим от своего землевладельца, как и землевладелец от него, за исключением лишь обязательства уплачивать в определенный срок условную арендную плату. Но, погоди, главное-то еще впереди. Ведь я еще не рассказал тебе и половины всех тех ужасов, какие вызвал этот, в сущности, совершенно безосновательный протест.

— Что же еще случилось? Скажите, ради Бога, дядя!

— Вот видишь ли, все эти беспорядки, действительно, начались на землях Ренсселаров; но вскоре не преминуло обнаружиться, что эти злоупотребления феодальной системы простираются далеко за пределы владений господ Ренсселаров, и те же беспорядки возникли и в других местах штата. Открытое сопротивление закону и прекращение арендной платы происходило и на землях Ливингстонов и, наконец, в восьми или десяти других графствах. Образовались почти повсеместно какие-то сборные войска или, вернее, хорошо вооруженные шайки, открыто сопротивляющиеся власти сборщиков поземельной ренты и появляющиеся замаскированными индейцами повсюду, куда только являлись посланные правительством чиновники для взимания с должников следуемой от них ренты. Дело это дошло уж до того, что эти шайки не побоялись уложить на месте и ранить нескольких должностных лиц, — все признаки близкой междоусобицы были налицо.

— Но что же, ради Бога, делало в это время правительство?

— О, оно делало много таких вещей, которых ему, наверное, не следовало бы делать, и наоборот, не делало почти ничего из того, что ему следовало бы делать! Самое простое и вместе с тем и самое разумное было бы, конечно, вызвать порядочный по своей численности отряд войск, который бы появлялся повсюду, где только замечалось присутствие антирентистов с их пресловутыми инджиенс, как они называли свои ряженные шайки; тогда бы разбитые наголову нарушители общественной тишины не замедлили, утомившись от преследований, рассеяться, как пыль по ветру; но вместо того наше правительство буквально ничего не делало, вплоть до того момента, когда дело дошло уж до кровопролития и беспорядки эти стали не только позором для правительства, но и бичом для всех порядочных людей, не говоря уже о тех, права и собственность которых страдали в этом вопросе. И вот, только тогда власти наши, наконец, спохватились и обнародовали закон, гласивший, что всякий, появившийся в публике ряженным и вооруженным, будет считаться законопреступником и судиться как таковой. Однако мой поверенный мистер Деннинг сообщает мне, что в Делаваре уже теперь закон этот открыто нарушается и банды более тысячи человек инджиенсов, переряженных и вооруженных, выказали открытое сопротивление сборщикам арендной платы. Чем это может кончиться, знает один Бог!

— Неужели вы опасаетесь серьезной междоусобной войны?

— Трудно сказать, что из этого может выйти и куда могут привести подобные ошибки и заблуждения, когда им беспрепятственно позволяют развиваться в народе, да еще в такой стране, как наша родина. До сих пор эти бунтовщики, в сущности, не заслуживали ничего иного, кроме

презрения и пренебрежения, и всех их можно было бы, при некоторой энергии со стороны правительства, вразумить и привести к порядку менее чем за неделю, но наши власти только бездействуют. В некоторых отношениях наше правительство поступает прекрасно, но зато в других оно настолько пошатнуло и святость собственности, и личные права человека и гражданина, что едва ли эти ошибки легко можно будет исправить, если только вообще дело это еще хоть сколько-нибудь поправимо.

— Мне странно слышать это от вас, дядя, насколько мне известно, вы принадлежите ведь к той же партии и держитесь одних и тех же убеждений, что и те люди, которые теперь стоят у власти.

— Так что ж из этого? Когда ты видел, Хегс, чтобы я в силу своих политических убеждений и симпатий поддерживал или оправдывал то, что я считаю дурным или постыдным? — возразил дядя тоном, в котором слышался легкий упрек и укоризна. Затем он продолжал:

— Прежде всего, правительство взглянуло на этот вопрос совсем не так, как следовало, не разобрав, кто прав, кто виноват, и не поняв даже того, что все претензии и ропот арендаторов сводятся лишь к тому, что другой человек не желает им предоставить распоряжаться его собственностью по их усмотрению. Затем один из губернаторов был даже настолько гуманен, что предложил род компромисса, чтобы уладить это дело, что вовсе не входит в его компетенцию, так как для всякого рода тяжб существуют суды. Как бы там ни было, но этот господин предложил, чтобы Ренсселары получили от каждого из своих арендаторов, который того пожелает, известную сумму денег, доход с которой равнялся бы сумме, получаемой им с данной земли ежегодной арендной платы. Но вот некий гражданин, обладающий совершенно достаточным для него состоянием, не заботящийся нимало о приращении своих богатств, который дорожит своим поместьем вовсе не потому, что оно представляет собою известную стоимость, а потому, что с ним у него связаны многие дорогие для него воспоминания, он получил его от своих предков, он здесь родился, жил и надеялся умереть — и вдруг потому только, что его арендатор, поселившийся на его земле каких-нибудь шесть месяцев тому назад, облюбовал арендованную им ферму и не желает иметь над собою владельца, а желает, чтобы эта ферма стала его личной собственностью, губернатор великого штата Нью-Йорк становится почему-то на сторону этого нахала, вооружаясь против ни в чем не повинного наследственного владельца данного поместья, и предлагает ему без всяких рассуждений продать то, что тот вовсе не имеет желаний продавать, да к тому же еще за сумму, значительно меньшую против настоящей ценности этого участка. Разве это не возмутительно?!

— Хотелось бы мне знать, какое употребление посоветует после того его превосходительство сделать бывшему владельцу той земли, которая, по его настоянию, должна была быть продана, из тех денег, которые злополучный их экзземлевладелец выручит от этой насильственной продажи? Быть может, он посоветует ему купить другое поместье и построить там новый дом с тем, чтобы их у него снова отняли, как только какой-нибудь арендатор вздумает вопиять об аристократизме, доказывая свою преданность демократизму тем, что изгоняет неповинного ни в чем человека из его родного гнезда с тем, чтобы занять его место. Нечего сказать, хорошее положение!

— Я нахожу твои замечания, Хегс, весьма дельными, действительно, теперь землевладельцам остается только строить свои дома на колесах, для того, чтобы иметь возможность перемещать свое жилье с одного места на другое, в случае, если кому из арендаторов придет фантазия принудить его продать свой наследственный участок.

Вероятно, наш разговор на эту тему затянулся бы очень долго, если бы нас не прервал приход дядюшкиного банкира, который положил конец всем нашим размышлениям по этому вопросу.

Глава III

О, когда увижу я землю, где я родился? Прекраснейшее место на поверхности земли! Когда я пройду по этому театру любви, по нашим лесам, холмам, сквозь деревни и горы, с девушкой, гордостью наших гор, которую я обожаю.

Монгомери

Поистине, для каждого американца, прожившего долгое время вдали от своей родины, узнать о том, что там, в его родной стране, разыгрываются явления и сцены, достойные истории средних веков, было, конечно, немаловажной новостью! И это та самая страна, которая гордилась не только тем, что служит убежищем для всех обиженных и угнетенных, но и тем, что свято охраняет права каждого человека! Все то, что мне теперь пришлось узнать, огорчало меня до крайности. За все время моих скитаний по чужим краям я привык думать, что Америка — страна самой справедливости и передовой, образцовой внутренней политики, и теперь мне жаль было утратить эту иллюзию.

Между тем дядя и я безотлагательно решили вернуться на родину; это решение, кроме того, настоятельно предписывала нам и осторожность. Мне исполнилось недавно двадцать пять лет, тот возраст, когда я мог вступить в бесконтрольное управление и пользование всем своим состоянием. В письмах, полученных моим бывшим опекуном, а также и в некоторых газетах, упоминалось о том, что некоторые из арендаторов поместья Равенснест также примкнули к союзу антирендистов, делали взносы на содержание индженсов и становились настолько же опасными и ненадежными людьми, как многие другие в отношении всякого рода насилия, разрушения и уничтожения, хотя и продолжали еще покуда платить ренту за мои земли.

Согласно нашему решению мы тотчас же приняли все необходимые для того меры, чтобы могли выехать как можно скорее из Парижа, с тем, чтобы в последних числах мая быть уже у себя на месте.

— Стоит только подумать, — говорил дядя между разного рода распоряжениями и указаниями Анри и другим служащим, — стоит только подумать, до каких абсурдов могут доходить люди, когда они начинают в чем-либо пересаливать, будь то в политике, в религии или же даже просто в моде! Так, например, существуют журналы «свободного обмена», которые считают за великий грех прогресс в понятиях и взглядах препятствовать землевладельцу и арендатору заключать между собою те условия, какие для них более всего удобны и приятны, и возмущаются как чем-то чудовищным установлением таксы для извозчиков, чтобы оправдать принцип свободы и свободной торговли; по их мнению, несравненно лучше, чтоб нанимающий извозчика так же, как и извозчик, стояли и мокли под дождем, торгуясь относительно цены. Нет, положительно я не могу понять, как могут люди мириться с своею собственной непоследовательностью! Да, кстати о

непоследовательности! Я хотел сказать, что тебе следовало бы расстаться с одним странным украшением над твоим местом в церкви.

— Я не совсем вас понимаю, дядя!

— Да разве ты забыл, что над вашим фамильным местом в церкви святого Андрея, в Равенснесте, красуется род деревянного резного балдахина?

— Ах, да, теперь я вспоминаю; действительно, это весьма безобразное украшение; я всегда находил этот навес не только вычурным и ни к чему не нужным, но и лишенным всякого вкуса и смысла.

— По словам мистера Деннинга, в числе других сетований и претензий против тебя одной из причин является и твое место в церкви, украшенное в знак отличия от мест остальных прихожан этим громоздким балдахином. Конечно, если бы эта скамья, украшенная этим же балдахином, принадлежала, например, семье Ньюкем, никто не вздумал бы обращать на нее внимание, а в данном случае он порождает зависть — его считают атрибутом и проявлением твоей кичливости.

— Да ведь не я же его там поставил, мне даже в голову не приходило, что это знак отличия, я принимал его просто за украшение самого здания церкви!

— Но все же надеюсь, что и ты того мнения, Хегс, что в церкви и на кладбище не должно быть никаких светских отличий, так как и перед Богом, и перед смертью все люди равны. Я вообще всегда был против этого и возмущался всякого рода привилегиями в собрании верующих и среди прихожан одной и той же общины.

— Без всякого сомнения, дядя, я согласен с вами и отнюдь не прочь убрать этот старинный балдахин, но, тем не менее, я не могу понять, какое может быть соотношение между этим старым и безобразным украшением и вопросом ренты и нашими законными правами?

— Все дело в том, что когда причины безосновательны, то неизбежно приходится нагромождать аргументы всякого рода с исключительной целью сбить с толку логику. Но довольно об этом! Нам предстоит еще заниматься этим вопросом гораздо более, чем бы мы того желали. Ты знаешь, что в числе множества полученных мною писем есть также по письму от каждой из моих воспитанниц.

— А, это действительно отрадная для меня новость! — шутливо воскликнул я.

— Обе они, благодарение Богу, здоровы и едят очень мило; право, мне хочется похвастать тебе письмом Генриетты, которое поистине делает ей честь. Я сейчас принесу его тебе сюда; оно осталось в моей комнате на столе. — И с этими словами дядя направился в свой кабинет.

Теперь мне следует посвятить читателя в один секрет, имеющий некоторую связь с последующим. Перед моим отъездом из Америки мне очень настоятельно советовали помолвиться с одной из трех девиц, а именно: Генриеттой Кольдбрук, или Анной Марстон, или же Оппортюнити Ньюкем.

Мисс Генриетта Кольдбрук была дочь гордого, надменного англичанина, хорошей семьи, человека богатого, переселившегося вследствие каких-то политических веяний в Америку, которую он считал землей обетованной для всяких спекуляций. На самом же деле он сильно подорвал свои капиталы этими спекуляциями и, вероятно, разорился бы вконец, если бы только не умер вовремя.

Единственная дочь его наследовала, однако, после его смерти прекрасное поместье, которое, под добросовестной опекой и в руках деятельного опекуна, моего дяди Ро, стало давать не менее восьми тысяч долларов годового дохода. Это значительное состояние делало Генриетту

Кольдбрук весьма желанной невестой для большинства молодых людей. Из писем бабушки моей мне стало известно, что вследствие кое-каких деликатных намеков со стороны моего дяди в душе этой молодой девушки зародилось ко мне какое-то еще смутное чувство, которое я всецело приписал простому любопытству.

Мисс Анна Марстон была также не бедная наследница, но, конечно, не могла соперничать в этом отношении с мисс Кольдбрук; у нее было не более трех тысяч долларов ежегодного дохода и маленький, скопленный ею из процентов капитал. Два ее брата были кутилы и без толку мотали отцовское наследство, но мисс Анна была воспитана своей разумной матерью в прекрасных строгих правилах, и все отзывались о ней, как о девушке красивой, умной, скромной и во всех отношениях прекрасной.

Мисс Оппортюнити Ньюкем слыла красавицей Равенснеста, селения, расположенного на моей земле. Это была так называемая сельская красавица, с сельским образованием и воспитанием и сельскими манерами. Оппортюнити была дочь Овида, а Овид был сын Язона Ньюкема. Все они от отца к сыну наследовали небольшой домишко, построенный дедом теперешнего его владельца на моей земле, арендованной ими на долгий срок. Это жилище вот уже восемьдесят лет носило название дома Ньюкем, а его владельцы в течение всего этого времени арендовали у моих предков мельницу, шинок и ферму, ближайшую к селению Равенснест. При этом я прошу заметить, что семья Литтлпедж владела Равенснестом и всеми прилегающими к нему землями гораздо ранее, чем на одном из их участков поселилась семья Ньюкем. Я преднамеренно о том напоминаю читателю, так как в очень непродолжительном времени он будет иметь случай убедиться в том, что некоторые люди были весьма склонны забыть об этом.

У Оппортюнити был брат по имени Сенека, или Сенеки, как сам он выговаривал свое имя. Так как семья Ньюкем в течение трех поколений была близка нашей семье и так как молодой Сенека выбился в адвокаты и мог считаться до известной степени человеком с некоторым образованием, то мне иногда случалось бывать в обществе брата и сестры Ньюкем. Оппортюнити выказывала чрезвычайную привязанность к моей бабушке и моей, тогда еще маленькой сестренке, и, по-видимому, очень охотно бывала в «Nest», как в обыденном разговоре принято было называть наш дом в поместье Равенснест, от которого и само селение получило свое имя; мне нередко приходилось испытывать на себе чары мисс Оппортюнити, причем я принужден сознаться, что она никогда не упускала случая испробовать на мне свое искусство.

Но возвратимся к дяде и к письму мисс Генриетты.

— Вот оно! — весело воскликнул мой опекун, выходя с письмом в руке в нашу столовую, где я его все время ожидал. — Прелестное письмо, честное слово! Как бы охотно я прочел тебе его все целиком, но обе мои барышни заставили меня перед отъездом обещать им, что я не покажу их писем никому, то есть тебе. Но тем не менее я того мнения, что переписка этих молодых девушек стоит того, чтобы поинтересоваться ею, и мне кажется, что я сумею прочесть тебе небольшой отрывок из этого письма.

— Мне кажется, что лучше было бы этого не делать; ведь это, так сказать, измена, и я не желал бы быть в этом деле соучастником; если мисс Кольдбрук не желает, чтобы я читал ее письма, то она, вероятно, не пожелала бы, чтобы и вы их мне читали.

Дядя взглянул на меня при этом несколько укоризненно. Между тем, он все еще продолжал держать в руках развернутое письмо, пробегая глазами некоторые строки, то улыбаясь, то посмеиваясь себе под нос, то восклицая: «Как это остроумно!» «Как прелестно!» «Какая, в самом деле, милая девушка!» — как бы желая возбудить мое любопытство; но я по-прежнему оставался совершенно безучастен, и потому дяде пришлось волей-неволей умерить свой энтузиазм и отложить в сторону это письмо.

— Да, — сказал он по некотором размышлении, не лишенном известной доли недоумения, как я заметил, — я уверен, что эти барышни будут очень обрадованы нашим возвращением; в последнем письме я извещаю матушку о том, что мы вернемся осенью, приблизительно в октябре, ну а теперь окажется, что мы уже будем дома в начале июня.

— Я уверен, что сестра моя Патт будет в восторге; что же касается других девиц, то полагаю, что у них найдется такое множество знакомых и друзей, которые их теперь интересуют, что им навряд ли есть время думать о нас.

— Ты к ним несправедлив, Хегс; из их писем я вижу, что они относятся к обоим нам с живейшим интересом.

— Понятно! — воскликнул я. — Какая молодая девушка в наше время ожидает без некоторых радостных надежд возвращения пожилого и богатого друга?! — не без иронии уронил я.

Мой дядя возмутился.

— Ну, в таком случае ты, право, не стоишь ни одной из них!

— Благодарю вас, дядя!

— Твои слова не только глупы, но и дерзки, мой милый; кроме того, я думаю, что ни одна из двух тебя в мужья не пожелает, даже и в том случае, если бы ты вздумал завтра же предложить им себя в мужья.

— Я рад этому верить; в их же интересах, мне кажется, что было бы более чем странно, если бы они приняли предложение человека, которого они почти не знают, не видев с тех пор, как ему минуло пятнадцать лет.

Мой дядя рассмеялся, хотя и было видно, что он всем этим разговором сильно огорчен; так как я старика любил сердечно, то поспешил переменить тему разговора и весело стал обсуждать наш близкий отъезд.

— А знаешь, Хегс, какая у меня явилась мысль? — вдруг неожиданно воскликнул дядя; он в некоторых вещах имел нечто такое почти юношеское, что объясняется, быть может, тем, что он свою жизнь прожил беззаботным холостяком. — Мне вздумалось записаться на пароход под чужим именем, а людей наших мы можем отправить через Ливерпуль, не правда ли, это будет забавно?!

— Да, даже очень, — отозвался я, — так пусть же это будет дело решенное.

Два дня спустя наша прислуга, то есть дядин Джекоб и мой Губерт, отправились в Англию, а мы направились прямо в Гавр. У меня с дядей было большое фамильное сходство, и потому нас принимали без труда за сына с отцом, мистера Давидсона старшего и мистера Давидсона младшего из Мэриленда. В пути не произошло решительно ничего такого, о чем бы стоило упоминать, разве что только, перечитывая еще раз свои газеты и письма, дядя пришел к печальному заключению, что антирентическое движение приняло там, у нас на родине, гораздо более серьезные размеры, чем он предполагал вначале. Один из пассажиров, недавно побывавший в Нью-Йорке, сообщил нам, что землевладельцам положительно не безопасно появляться на своей территории, так как всякого рода оскорбления, насмешки, издевательства, личные обиды и даже смерть могли быть следствием подобной смелости со стороны землевладельца. Вне всякого сомнения, дело близится к серьезному и, может быть, кровавому кризису.

Обсудив надлежащим манером эти подробности, мы с дядей решили устроиться таким образом, чтобы согласовать наши материальные расчеты с требуемой данными условиями осторожностью.

Я поясню далее в нескольких словах, в чем именно состоял наш план: дело в том, что нам необходимо было лично побывать в Равенснесте, хотя это, конечно, могло быть опасно для нас, тем более, что сама усадьба наша находилась в самом центре поместья и добраться туда было в данный момент, при столь недоброжелательном настроении наших арендаторов, во всяком случае весьма рискованно.

Но обстоятельства благоприятствовали нам отчасти: нас ожидали не ранее осени, благодаря чему мы могли, быть может, незаметно добраться до нашего родового гнезда.

Путешествие наше с одного континента на другой продолжалось всего девять суток. В конце мая мы увидели однажды под вечер точно выплывшие из моря маяки, и вслед за ними весь красивый берег Нью-Джерси стал выплывать из-за тумана. Но вот навстречу судну выехали лоцманы, и дядя мой тотчас же договорился с одним из них, чтобы он нас немедленно доставил в город. В момент, когда мы сходили на берег, городские часы в Нью-Йорке били восемь. У каждого из нас было по собственному дому в городе, но нам не хотелось останавливаться там, прежде всего потому, что они оба были в настоящее время пусты, за исключением одного или двух слуг, которые, конечно, не приминули бы узнать нас, а этого-то нам и хотелось избежать.

Джек Деннинг, который, в сущности, был скорее нашим другом, чем поверенным, имел на Чембер-стрит небольшую холостую квартиру, а это было именно то, что нам требовалось, и потому мы с дядей направились прямо туда, избегая более шумных и людных улиц из опасения быть встреченными и узанными кем-либо из своих знакомых.

Глава IV

Т о л п а: Говори, говори.

Г р а ж д а н и н: Вы все решили лучше умереть, чем голодать!

Т о л п а: Решили, решили.

Г р а ж д а н и н: Вы знаете,

Кай Марк — главный враг народа.

Т о л п а: Мы это знаем, мы это знаем.

Г р а ж д а н и н: Убьем его, и тогда хлеб будет у нас по нашей цене.

«Политические этюды»

Надо сознаться, что Нью-Йорк хоть и большой, но жалкого вида город; меня он поразил своими резкими контрастами мраморных дворцов бок о бок с самыми жалкими деревянными лачугами и безобразнейшими тротуарами, содержащимися в страшном беспорядке. Город этот, бесспорно, может назваться выдающимся, как живое доказательство духа предприимчивости американцев, их грандиозных замыслов и массы крупных дел и денежных оборотов, но он не может стать наряду с Лондоном, Парижем, Веной и Петербургом по красоте и великолепию своего внешнего вида.

По пути дядя сказал:

— Знаешь ли, Хегс, если бы мы направились к кому бы то ни было другому, а не к Деннингу, то нам не было бы никакой надобности быть узанными прислугой, так как здесь никто прислугу не держал долее полугода, здесь слуг меняют поминутно; но Деннинг старого закала человек, он не захочет видеть перед собой чуть не каждый день новые физиономии, и у его дверей мы, наверное, не встретим какой-нибудь ирландской рожи, как это теперь бывает почти что в каждом доме здесь.

Спустя минуту мы были уже у дверей мистера Деннинга, и я заметил, что дядя не решался дернуть звонок.

— Вызовите швейцара! — воскликнул я. — Бьюсь об заклад, это какой-нибудь вновь прибывший детина.

— Нет, нет, не может этого быть, я знаю, Джек ни за что не расстанется со своим старым негром Гарри.

Мы позвонили. Скажу здесь к слову, что хотя выражения «аристократизм» и «феодалные обычаи» встречаются у нас, в Америке, в смысле насмешки или укоризны на каждом шагу, но во всей этой стране нет ни одного такого дома, в котором бы имелся швейцар, кроме только одного казенного здания, а именно городской ратуши в Вашингтоне. Но эта великая персона, этот царственный швейцар, или portier, часто отсутствует, а в те разы, когда он не отсутствует, то его прием отнюдь и не приветлив, и не царственен.

Мы ожидали около пяти минут, наконец, дядя обратился ко мне со словами:

— Как видно, старый Гарри вздремнул на кухне у своей плиты, но надо все же постараться разбудить его. — Мы сильно постучали, и после нескольких минут нового ожидания дверь отворилась.

— Что прикажете? — произнес этот совершенно не знакомый нам привратник, говоривший с сильнейшим ирландским акцентом.

Мой дядя даже вздрогнул, как будто перед ним стоял не человек, а привидение; наконец, он спросил:

— Дома ли мистер Деннинг?

— Так точно, дома!

— Что, он один или есть у него кто-нибудь?

— Так точно!

— То есть что же?

— Так точно, как вы изволили сказать!

— Я хочу знать: один он или есть у него гости?

— Так точно! Прошу пожаловать, они будут очень рады вас видеть. Это прекраснейший джентльмен, как вы сами изволите знать, и жить с ним, право, очень приятно, могу вас в том уверить.

— А сколько времени тому назад вы прибыли сюда из Ирландии, приятель?

— О, уж изрядно давно, ваша милость! — развязно ответил Барней. — Целых тринадцать недель!

— Ну, так идите же вперед и указывайте нам дорогу, — прервал словоохотливого камердинера мой дядя. — Вот это плохой признак, что Деннинг сменил своего старого слугу, почтенного, почтительного Гарри на эту долговязую болотную цаплю, которая взбирается по ступенькам, как будто он в жизни своей не видал ничего, кроме веревочных лестниц.

Мы застали Деннинга в его библиотечной конторе на втором этаже; удивление его при виде нас обоих было столь велико, что он в первый момент не нашел даже слов, чтобы нас приветствовать. Впрочем, по многозначительному жесту его мы поняли, что нам советуют молчать, и до того момента пока слуга не вышел, притворив за собой дверь, не было произнесено ни слова.

— Как видно, мои последние письма вызвали вас сюда, не так ли, Роджер?

— Да, и надо полагать, что здесь произошли громаднейшие перемены, судя по тому, что мне удалось узнать и что меня, признаюсь, очень смутило, так это то, что вы расстались со своим верным Гарри и заменили его этой ирландской цаплей.

— Ах, что поделаешь, старые люди, как и старые порядки и понятия, должны умирать! С неделю тому назад скончался и мой бедный негр.

— Да, с этим, конечно, приходится мириться; ну, а теперь прежде всего позвольте мне изложить вам мое дело, а после уж поговорим и о другом.

В кратких словах мой дядя передал ему свое желание сохранить на время инкогнито и высказал ему на то свои причины. Деннинг выслушал его, как бы не зная, одобрять ему или же порицать этот прием. Обсудив его в общих чертах, решено было рассмотреть этот вопрос более основательно впоследствии.

— Ну, а теперь скажите мне, мой добрый друг, что слышно об этом антирентистском движении, что оно, развивается или же затихает?

— По-видимому, оно как будто приостановилось, но, в сущности, оно все крепнет с каждым днем; надо готовиться теперь к тому, что эти пагубные теории и доктрины будут, пожалуй, облечены силой общеобязательного закона, став сами по себе законом.

— Но как может даже закон вмешаться в условия и договоры, уже раз существующие? Верховный суд Соединенных Штатов заставит признать нашу правоту и оградит нас от подобного насилия.

— Да, на это только и остается еще рассчитывать порядочным людям в нашей стране; но, в сущности, уже этому делу положено начало: поднят вопрос об обложении налогом ренты.

— Но ведь это акт возмутительной несправедливости, который может оправдать даже и явное сопротивление с не меньшим основанием, с каким было оправдано сопротивление наших предков по отношению к несправедливым налогам Великобритании.

— Конечно, и тем более, что ведь землевладелец уже платит известный налог с каждой фермы, который выводится из арендной платы и включен в первоначальное законное условие его с арендатором; этот поземельный налог уплачивает он, то есть землевладелец; ну, а теперь думают

обложить налогом еще и самую получаемую за свою землю арендную плату. И что обидно, что этот новый налог создается отнюдь не с целью увеличения общественных доходов, которые, по общему признанию, в этом отнюдь более не нуждаются, а с исключительным намерением скорее заставить землевладельца распрощаться со своими поместьями.

— Но осуществится ли этот проект нового обложения налогом самой суммы ренты? Хотя, в сущности, лично нас ведь это вовсе не касается, у нас условия сделаны все на три поколения.

— Так что же из этого? На такой случай имеется новый закон, гласящий, что впредь всем землевладельцам строго воспрещается закабалить людей более чем на пятилетний срок.

— Ах, Боже мой! — воскликнул я. — Да кто же будет так глуп, чтобы вотировать такой закон с целью уничтожения ненавистного аристократизма и дать какие-нибудь преимущества арендаторам?!

— Да, да, смейтесь, молодой человек, сколько вам будет угодно, — добавил Деннинг, — а только таков проект наших законодателей.

— Но целый мир считает условия на долгий срок благодеянием и облегчением для арендатора, и изменить это никто не в силах, да и к тому, где же смысл в этом проектированном налоге? Если я с каждых тысячи долларов получаемой мною ренты заплачу по пятьдесят пять центов, как того требует от меня новый налог, то кто же может полагать, что ради таких грошевых налогов я соглашусь расстаться со своими землями, доставшимися мне от моих предков, которые вот уже пять поколений владели ими?

— Прекрасно, милостивый государь, все это прекрасно! Но я вам от души советую никогда не говорить о ваших предках; в наше время ни один землевладелец не может безнаказанно упоминать о них.

— Да я ведь говорю о них только для того, чтобы напомнить о своих правах на родительские земли и имущества.

— И это было бы, действительно, веским аргументом, если бы вы были арендатором, но у землевладельца это означает лишь аристократическую гордость, которая не может быть терпима в Америке, стране свободы.

— Право, мне кажется, — заметил дядя Ро, — что у нас весь мировой порядок вещей опрокинут вверх дном и что у нас права какой-нибудь семьи не возрастают, а уменьшаются с течением времени.

— Да, без сомнения! — отозвался Деннинг. — И хотя мне не хочется предсказывать заранее результаты вашей поездки инкогнито в ваш Равенснест, но скажу вам прямо, вам многому придется поучиться!

— Посмотрим, но вернемся еще раз к вопросу о новом налоге: так как Ренсселаров, нас и многих других богатых землевладельцев, имеющих долгосрочные контракты и условия, этот пустяшный налог, как говорит Хегс, конечно, не принудит уничтожить эти условия и отказаться от своих земель, то в чем же цель этих господ, которые вотируют этот закон?

— Какая цель? Да никакой другой, как только заслужить почтенное звание друзей народа, а не друзей землевладельцев, что должно явствовать из того, что никто не станет облагать налогами своих друзей, когда, в сущности, в том нет ни малейшей надобности.

— Но что от этого выиграет та часть народа, которая представляет собою класс антирендистов?

— Да ровно ничего! И жалобы их, и их алчные вождения останутся все те же, если только не заговорят еще громче, так как решительно ничего из того, чего они желают, не может быть осуществлено никакими законными мерами. Нет надобности скрывать от самих себя непреложную истину, что у нас ко всякому делу неизбежно примешивается такое дьявольское чувство беспощадного эгоизма, которое так превозносится и так часто призывается, что, право, каждый человек, руководствующийся каким-нибудь принципом нравственности, положительно кажется смешным.

— Да, это так! А знаете ли вы, чего, в сущности, желают арендаторы Равенснеста? — спросил мой дядя.

— Они желают получить в полное свое владение все земли Хегса и более ничего, могу вас в том уверить.

— А на каких условиях? — любопытно спросил я.

— На самых льготных для их пустых кошельков; понятно, впрочем, есть некоторые, которые предлагают и высшую цену.

— Да я вовсе не желаю продавать свои земли ни за разумную, ни за неразумную цену. Что мне прикажете делать с вырученными деньгами? Приобрести новые земли? Но к чему же, когда я предпочитаю всякому другому поместью то, которым теперь владею!

— Вы, милостивый государь, не имеете никакого права в свободной и либеральной стране, — насмешливо возразил Деннинг, — предпочитать одну собственность другой, в особенности, когда другие имеют на нее свои виды. Ведь ваши земли арендуются честными трудящимися фермерами, которые могут обедать и ужинать и не на серебре и предки которых...

— Позвольте! — прервал я, смеясь, своего милого собеседника. — Ни один человек не вправе говорить о своих предках в такой либеральной стране, как наша.

— Да, совершенно верно, ни один человек из числа землевладельцев; но арендаторы — это особая статья, им позволено вести свой род хоть от Мафусаила или Мельхиседека и вести свою генеалогию хотя бы через тысячи поколений, и знайте, что каждый арендатор имеет право требовать, что бы его фамильные чувства всеми были уважены; так, например, его отец насадил эти овощи, эти деревья, и ему нравятся яблоки этого сада несравненно больше всех остальных существующих в мире яблок. Дед его уваживал, обрабатывал эту землю и сделал из нее настоящее золотое дно, а его прадед, прекраснейший, честнейший человек, взял эту землю совершенно невозделанной, в первобытном состоянии и своими руками вырубил лес и посеял хлеб.

— За что он был вознагражден сторицей, иначе он бы за это дело не взялся! Я тоже имел прадеда, надеюсь, что это не будет чрезмерно аристократично, если я об атом упомяну, и этот прадед мой, также прекраснейший и честнейший человек, отдал другому, себе подобному прекраснейшему и честному человеку, в аренду свою землю и в продолжение целых шести лет не брал с своего арендатора ни гроша арендной платы, чтобы бедняга мог надлежащим образом обзавестись хозяйством и обжиться прежде, чем начать уплачивать владельцу столь незначительную годовую ренту, как сикспенс, или шиллинг с акра, причем земля эта оставалась за ним в трех поколениях.

— Ну, уж довольно говорить об этом! — воскликнул дядя Ро. — Всякий и так уже знает, что белое — белое, а черное — черное! Скажите-ка мне лучше, Джек, какие вы имеете известия о наших барынях и о моей уважаемой матушке?

— Она в настоящую минуту находится в Равенснесте, а так как барышни не соглашались отпускать ее туда одну, то все они отправились туда же вместе с нею.

— Как же вы могли допустить, Деннинг, чтобы они одни поехали туда, где все кругом находится в полнейшем возмущении? — с упреком обратился к нему дядя.

— Я не поехал с ними по той простой, но основательной причине, что не имел желания быть вымазанным дегтем и осыпан перьями note 3 .

— Так вы предпочли, чтобы так надругались над ними вместо вас? — уже с негодованием воскликнул дядя.

— Нет, Ро, вы можете сказать все, что вам только вздумается дурного об этих мнимых друзьях и сторонниках народа и свободы, стремящихся во что бы то ни стало лишить нас всякой свободы, но даже и о них нельзя сказать, чтобы женщине могла грозить в Америке какая бы то ни было серьезная опасность, даже в том случае, если это — американцы и антирентисты или даже сами переряженные краснокожие. Не подлежит сомнению, что, в сущности, ни ваша мать, ни барышни не рискуют ничем, но тем не менее редкая женщина не побоится отправиться в среду всех этих недовольных и в душе ненавидящих ее людей. Я убежден, что женщин, обладающих такой смелостью, найдется немного в целом нашем штате, а женщин ее возраста, пожалуй, ни одной, а также и нашим молодым девушкам это делает большую честь. Вся наша городская молодежь в отчаянии от мысли, что эти три прелестных создания живут теперь в такой среде, где им ежеминутно грозят обиды и оскорбления. Ведь ваша матушка уже вызывалась в суд, вы слышали об этом, Ро?

— Вызывалась в суд?! Моя мать?! Да разве она кому должна хоть грош? И что она могла сделать, чтобы навлечь на себя этот срам?

— Да ровно ничего! На днях я узнал то же и о Ренсселарах: один из них был обвинен в том, что взял займы деньги, чтобы уплатить перевозчику-лодочнику, перевозившему его на другой берег реки, протекающей у самого его дома, а его жена была призвана в суд за какой-то картофель, который она якобы покупала на улицах города Олбани.

— И что это за чушь! — воскликнул я. — Конечно, никому из Ренсселаров нет надобности у кого бы то ни было занимать деньги, чтобы заплатить какой-нибудь грош лодочнику-перевозчику, да, наконец, этот последний всегда поверил бы ему этот пятак в кредит, зная, что мистер Ренсселар заплатит ему втрое. Точно так же и ни одна из его дам не пойдет покупать на улицу картофель, так как их огромные огороды и плантации поставляют им в избытке всякие овощи и зелень.

— Вы, как я вижу, захватили с собой из Европы некоторую долю логики, но здесь у нас этот товар совсем ни к чему не пригоден. Из письма madame Литтлпедж мне стало известно, что на нее подали в суд за какие-то двадцать семь пар ботинок, якобы доставленных ей каким-то сапожником или башмачником, которого она никогда не видела и о котором даже никогда не слыхала.

— Так вот их новые приемы — беспокоить землевладельцев с целью заставить отказаться от своих земель!

— Именно так!

Немного погодя дядя спросил опять:

— Так моя матушка в настоящее время переехала в Равенснест, чтобы глядеть прямо в лицо врагу?

— Да, и прекрасные и благородные барышни также все три последовали туда за ней.

— Все три? Неужели и Анна Марстон тоже?

— Да, и она.

— Это меня очень удивляет: Анна Марстон, так любящая мир, тишину и спокойствие, как она не предпочла остаться со своей матерью, что было бы вполне естественно?!

— И все же она поехала в Равенснест. И вы, я полагаю, сами знаете, Ро, на что способен этот кроткий и мирный женский пол, когда они приняли какое бы то ни было решение.

— Писала ли вам моя матушка после того, как поселилась среди этих филистимлян?

— Да, три раза я получал от нее письма; зная о моем намерении посетить ее в Равенснесте, она писала мне, чтоб я туда не ехал, предупреждая, что мое присутствие может вызвать бурные сцены и не принесет никому никакой пользы. Ввиду того, что арендные платы должны быть выплачены не ранее осени и что теперь господин Хегс должен будет уж лично вступить в свои права и должен вскоре вернуться и сам заняться своими делами, я не видал никакой надобности рискнуть испробовать на своей шкуре деготь и перья.

— А Марта писала вам?

— О, прелестная Пэтти пишет мне очень часто; ведь мы с ней издавна самые искренние друзья.

— Не пишет ли она чего-нибудь о нашем старом негре и индейце?

— Да, как же, и Джек, и Сускезус оба живы, и я даже не так давно их видел лично.

— Ведь этим старикам, наверное, более ста лет каждому; я знаю, что они участвовали в войне с французами.

— О, негр и краснокожий крепко цепляются за жизнь и очень живучи, если только они не пьяницы! Оба старца часто навещают Равенснест, и Марта мне пишет, что честный индеец до крайности возмущен этим пошлым и недостойным маскарадом, подражающим его расе и незаслуженно порочающим ее. Я даже слышал, будто Джек поговаривает о том, что намерен со своим приятелем выступить в поход против этих ряженых. Наиболее ненавистной для них личностью является Сенека Ньюкем.

— Как, и он в числе антирентистов?

— Да, он один из главных зачинщиков всякого рода беспорядков и смут.

— Что же теперь нам остается думать об Оппортьюнити? — спросил я. — Неужели она не принимает никакого участия в этом народном движении?

— О, даже очень деятельное. Она самая яркая антирентистка, но желает оставаться в наилучших отношениях с своим землевладельцем. Это значит пытаться служить сразу двум господам: и Богу, и мамоне. Впрочем, она одна из тысячи ей подобных, двуличных в этом деле особ.

— Поосторожней, Джек, наш юный мистер Хегс питает восторженное чувство к мисс Оппортьюнити, — заметил Деннингу мой дядя, — вам следует быть более воздержанным в ваших характеристиках, мой милый друг. Ну, а наш современный Сенека, конечно, страшно восстает против нас?

— Сенека хочет пробраться в законодательный совет, и потому весьма естественно, что он на стороне избирателей. Кроме того, ведь родной брат его арендует вашу мельницу, да и сам он заинтересован в земле, а потому имеет желание стать собственником, точно так же, как его брат.

— Ну, полно, Джек! Займемся чем-либо другим, а именно средством пробраться в наши владения, не будучи замеченными, так как я решил бесповоротно повидать и познакомиться поближе с этими безумными людьми, впавшими в самые печальные заблуждения вследствие своей ненасытной алчности. Я хочу лично их послушать и постараться понять их поведение и их мотивы.

— Смотрите, берегитесь их бочек с дегтем и мешков с перьями! — засмеялся, поддразнивая дядю, Джек Деннинг.

Затем мы принялись основательно обсуждать на свободе этот сложный вопрос. В обычный час мы разошлись по своим комнатам, а на другое утро Деннинг принялся деятельно хлопотать для нас и о нас. В числе его знакомых было не мало людей, причастных к театру, а потому он без особого труда раздобыл для каждого из нас по парикю. Было решено, что сэр Хегс Литтлпедж старший примет на себя, ради этого случая, роль старого немца — торговца дешевыми часами и золочеными серьгами, брошками, браслетами и тому подобными вещами, а сэр Хегс Литтлпедж младший — роль странствующего музыканта. Скромность моя воспрещает мне упомянуть о том, на что я был способен в качестве музыканта, но все же я могу сказать, что в отношении и музыки, и пения я был не без таланта.

В течение дня все было приготовлено, устроено, улажено, и я немало посмеялся, глядя на себя в своем новом наряде, стоя перед зеркалом Деннинга. Однако мы с дядей сохраняли нерушимым закон, которым воспрещалось быть переряженным и вооруженным. Мы не имели при себе ничего, кроме котомки с золочеными безделушками и часами, представлявшими собой товар дяди, и моего музыкального инструмента.

* Глава V

Ее улыбки неведомы на земле; они рождаются, чтобы исчезнуть, и исчезают, чтобы возродиться вновь, они приходят и уходят, играя беспрестанно, и когда уходят, скрываются в ее глазах.

Вордсворт

На другой день я с раннего утра вырядился в свой костюм и отправился в библиотеку Деннинга, где достал там запертые гусли и принялся играть на них с большим одушевлением мотив гимна святому Патрику. В момент самого разгара увлечения вдруг скрипнула дверь библиотеки, и вытянувшаяся костлявая рожа ирландца Дарей просунулась в щель, разинув рот чуть не до ушей.

— Откуда это вас черт принес? — проговорил ирландец, причем мускулы как-то странно сдвигались и раздвигались, изображая на его лице не то улыбку, не то гримасу. — Да ради этой песенки вы мне желанный гость; добро пожаловать. Но каким образом попали вы сюда?

— Я прибил аус Halle in Preussen, — добродушно ответил музыкант, — а фаш фатерлянд какой?

— Да что ты жид, что ли?

— Nein! О, nein! Я тобрая христианка, котите, я фам играет янки тудель?

— Янки! Гром и молния! Да вы разбудите моего господина! Ах, если бы не это, я бы вам позволил с утра до ночи играть то, что вы сейчас играли. Отраднo слушать этот напев здесь и вспоминать при этом, что старая Ирландия за тридевять земель отсюда!

Веселый смех неслышно приблизившегося Деннинга прервал этот диалог ирландца и принудил его удивительно быстро куда-то скрыться. И в этот день мы уже больше не видали его, так как за завтраком у стола, по приказанию Деннинга, нам прислуживал молодой мулат. Нет надобности говорить, что, очутившиеся на улицах Нью-Йорка в наших непривычных для нас нарядах, и я, и дядя, мы чувствовали себя не совсем-то удобно, а дядин сосредоточенно серьезный вид до крайности смешил меня.

На пароходе мы заняли довольно приличную каюту под предлогом сохранить в целости дядюшкины товары. Затем мы принялись бродить по палубе, шныряя между пассажирами с тем удивленно любопытным видом, который и приличествовал нашему теперешнему положению.

— Я уже видел около дюжины знакомых, — весело сообщил мне дядя, — и сейчас только разговаривал с четверть часа со своим бывшим школьным товарищем; никто меня не узнает! Я даже убежден, что в этом виде меня и матушка моя не сумеет узнать.

— Тем лучше, дядя, — подхватил я, — мы можем воспользоваться этим, чтобы пошутить и с нашими домашними, когда мы доберемся до Равенснеста. Что касается меня, то я лично того мнения, что нам следует сохранить нашу тайну вплоть до последнего момента; это будет забавнее и притом много осторожнее.

— Молчи! Вон идет и сам Сенека Ньюкем! Смотри, ведь он идет прямо сюда.

Действительно, то был Сенека, он шел медленно, приближаясь к носовой части судна, где стояли мы. Дядюшка вздумал вступить с ним в разговоры с намерением выпытать у него кое-какие сведения, которые бы облегчили нам предстоящее путешествие в Равенснест. С этой целью мнимый торговец достал из своей котомки дешевые часы и робко предложил их молодому судье со словами:

— Купить, пожалуйста, этот часи, mein Herr!

— Хм! Что такое?! Часы? — небрежно кинул Сенека таким пренебрежительно надменным тоном, который сразу выдает пошлую напыщенность по отношению к низшим себя и бессильную злобу ко всему, что выше. — Аа, так это у вас часы! А откуда вы сами, приятель, из какой страны?

— Меня быть немца, ein Deutscher!

— А, немец! .. Ну, да, а ейнэ Тейтшер — это, вероятно, то местечко или город, откуда вы родом?

— Oh, nein, nein! .. Ein Deutscher — это быть немец.

— Да, да, теперь я понимаю. А сколько времени вы в Америке?

— Твенадцать месяц.

— Так давно! Да этого срока почти достаточно, чтобы зачислить вас американским гражданином; где вы живете?

— Никте, mein Herr! Мене шивет, где мене есть сей минут, сейчаси стись, сейчаси там.

— А, понимаю, вы не имеете постоянного местопребывания; ведете, так сказать, кочующую жизнь. Много у вас этих часов?

— У меня есть такой двадцать штуки и дешево как песку и смотрит тошно часи на городской Rathhaus.

— Что вы хотите взять за эти?

— О, dieses hier? Ви мошет имейт фюр восем доллар; всякий фам будут сказать, это самый настоящий золотой.

— А, так они не золотые? Ведь вы и меня чуть было не провели! Не уступите ли вы их мне подешевле?

— О, я думал, это будет мощно, если mein Herr мене давайт одна добри совети.

— О, что касается добрых советов, то я всегда готов служить! Но отойдите же немного в сторону, чтобы нам можно было говорить наедине. Какого рода ваше дело? Вам требуется, может быть, взыскать убытки или же есть у вас в суде какое-нибудь дело?

— Nein, nein! .. Мене нет никакой процесс, мене шелал полушить одна совети.

— Ну, да, совет часто влечет за собой процесс!

— Та, та... — весело засмеялся торговец, — это бувайт, aber мене кошет просить у ви, кде есть такой место, мене хорошо продавайт моя товара, часи и разни вешш, ни большая город, а кте такой теревни?

— Да, да, я понимаю. Так вы говорите, что хотите мне уступить эти часы за шесть долларов? Хм! Это недешево за такой хлам, но все равно я друг бедняков и презираю аристократию.

Сенека воображал, что презирает то, что, в сущности, он просто ненавидел. Аристократами он называл огульно всех истинно порядочных людей.

— Я всегда готов быть полезен каждому хорошему доброму человеку, и если вы согласны уступить мне эти часы даром, то полагаю, что сумею вам указать такое место, где вы остальные девятнадцать выгодно продадите менее чем за неделю.

— Ну, пускай будэт, как ви шолает, берет его, — он була ваша, но показывайт мене того город, кде я бул продавайт моя товары.

— Так решено! Я оставляю у себя эти часы, как вы того желаете, а вам взамен я укажу то место, где вы сумеете продать все остальное.

— Так, так! Что я шелает это одна совета, а вы шелает одна часи! — весело рассмеялся дядя.

И с этого момента мы оставались с Сенекой в отличных отношениях. В течение всего остального пути он нас при встрече каждый раз награждал покровительственными взглядами и улыбками, ясно свидетельствующими о том, что, несмотря на его крайне демократические принципы, он все же не желал ставить себя на одну доску с людьми, по его мнению, стоявшими ниже его. Но тем не менее, прежде чем расстаться с нашим судном, он дал нам несколько советов и условился с нами, где нам должно встретиться на следующее утро, и почти дружески простился с нами, когда мы, наконец, остановились у мола города Олбани.

Олбани — город весьма привлекательного вида; но, в сущности, он не что иное, как небольшой провинциальный городок. Со своими гуслиями под мышкой я брел следом за дядей, который тут же, по дороге, прежде чем мы успели добраться до заезжего дома, продал одну пару часов.

Понятно, что мы не направились к одной из лучших гостиниц, где бы нас, вероятно, не приняли в таком виде, в каком мы странствовали теперь, а обратились в какую-то второстепенную гостиницу, где, как и следовало того ожидать, мы чувствовали себя довольно плохо, в качестве людей, привыкших ко всякого рода изысканному комфорту.

На другое утро мы взяли билет на ту железную дорогу, которая идет на Саратогу, через Трою. Какому классику пришло на мысль вызвать в этих местах воспоминания о старике Гомере? — спрашивал себя я каждый раз, бродя по улицам этого веселенького городка. Тени погибшего Ахиллеса, Гектора и Гекубы смущали мой душевный мир.

Именно в этой современной американской Трое я дебютировал в качестве кочующего музыканта под окнами главной гостиницы этого города. Хотя о моем инструменте нельзя сказать ничего лестного, но тем не менее сам музыкант, как видно, был не лишен таланта, так как вскоре в окнах гостиницы показалось около десятка разных лиц, и в том числе особенно остановили на себе мое внимание отец и дочь, судя по фамильному сходству молодой девушки и пожилого господина.

Отец, как видно, принадлежал к духовному сословию. В приятном, добродушном лице его я прочел нечто похожее на любопытство, которое заставило меня подойти ближе. Я сделал несколько шагов, чтобы приблизиться к окну, а затем господин этот сделал мне знак, приглашая меня войти в гостиницу. Признаюсь, мне с непривычки показалось странным, что меня приглашают, и я готов был не исполнить желания старика, но во взгляде светлых глаз и во всей позе и манерах молодой девушки было нечто такое, что против воли заставило меня войти, и я повиновался. Девушка эта, будучи, в сущности, очень хорошенькой, обладала, однако, такой красотой, которую нельзя было назвать блестящей, бьющей в глаза; но выражение ее лица, улыбки, глаз, все это придавало ей какую-то необычайную прелесть кротости, нежности и чисто женской грации, которая как-то сразу привлекла все мои симпатии. Вскоре я очутился в зале гостиницы, но в этой зале в данный момент не было никого, кроме молодой девушки и ее отца.

— Войдите, молодой человек, войдите, — ласково заговорил ее отец,

— меня заинтересовал ваш инструмент; скажите, как вы его называете?

— Гусли, — ответил я.

— А-а... ну, а откуда вы сами? Если не ошибаюсь, вы иностранец?

— Я ис немецкой сторона аус Прейссен, где король Кениг Вильгельм управляет.

— Что он говорит, Молли? — переспросил отец.

Итак, эта прелестная девушка звалась Молли, то есть Мария! И как мне нравилось это простое уменьшительное имя Молли! К тому же, в наше время это положительно признак хорошего происхождения и хорошей семьи, когда у девушки обыкновенное, невychурное имя; в другой семье ее бы непременно назвали «Мелисса» или «Миранда».

— Это понять не трудно, — возразил голос, подобного которому я в жизни своей еще не слышал; то был необычайно нежный, музыкальный, певучий голос, казавшийся еще прелестнее от легкой вибрации сдерживаемого смеха. — Он говорит, что прибыл из Германии, из Пруссии, где царствует добрый король Вильгельм.

— А этот инструмент называется гусли? Что здесь написано, вот на этой дощечке? — продолжал любопытствовать отец молодой девушки.

— О, это был насафание фабрикант; Хохштейль fecit.

— Fecit! — возразил почтенный господин. — Это слово не немецкое.

— О, nein, nein, это быть Latein facio, feci, factum, facere feci, facisti, fecit. Это значит сделал, вы знает?

Пастор взглянул на меня с удивлением, окинул взглядом мой наряд, переглянулся с дочерью и улыбнулся.

— Вы умеете по латыни? — спросил он.

— О, немношки, ошень немношки. В моя родин кашдая шеловек долшна быть зольдат на фрема, а хто понимала латейн, тот мошно быть делайт сержант и капорал.

— У вас многие изучают латынь? Я слышал, что в Венгрии все образованные люди знают этот язык.

— Ми все ушил чего-нибудь, но ми ушил не всякий вешш.

При этом я заметил, что легкая улыбка скользнула на губах прелестной девушки, но она тотчас же поспешила согнать ее с лица, хотя в глазах ее во все время этого нашего свидания не пропадало выражение веселого и добродушного лукавства.

— Да, я знаю, что в Пруссии прекраснейшие школы, и правительство ваше очень следит за нуждами всех классов населения; но все же я не могу достаточно надивиться на то, что вы так основательно изучали латынь. Даже у нас, где все так хвастаются и гордятся...

— Oh, ja! — воскликнул я. — В этой земля все ошень много хвастает, все хвастает...

Мэри на это рассмеялась от души, почти по-детски, но ее отец сдержанно выждал, когда я кончу свои слова, и продолжал:

— Вот видите ли, я хотел сказать, что у нас, где все гордятся своими школами и тем благотворным влиянием, какое они оказывают на умственное развитие народа, весьма редко встретите вы людей вашего сословия, изучавших мертвые языки.

— О, это быть мое созловие, вас удивляйт! Мой папаша быть короши дшентелэмэн, она мене давал такой обрасофания, какая Кениг наша давайт свой кениглихен принц.

Желание казаться в глазах Мэри выше, чем того можно было ожидать, судя по моему наряду, вовлекло меня даже в некоторую неосторожность. Конечно, я нимало не затруднился объяснить, каким путем молодой человек, получивший образование, столь же блестящее, как и принц крови, вдруг дошел до того, что ходит со своими гусями по улицам американской Трои. Мысль быть в глазах этой прелестной девушки человеком из низшего класса и без всякого образования казалась для меня положительно нестерпимой. Своей, не совсем-то правдоподобной, но все же возможной историей я спас себя от этого стыда и даже мог заметить, что после моего рассказа отец и дочь относились ко мне с еще большим участием и доброжелательством; в особенности в чудных глазах Мэри я читал глубокое сочувствие, и это несказанно радовало меня.

— Но, если так, мой молодой приятель, — продолжал отец молодой девушки, — то вам следует, и даже весьма возможно, добиться здесь лучшего положения, нежели то, какое вы занимаете сейчас. Например, греческий язык вам сколько-нибудь знаком?

— Да, да; гретшеский много ушить в немецкая сторона.

— А новейшие языки не изучали?

— Я говорит на пять главных языки Европа.

— На пяти главных языках, какие же это, Мэри? — обратился он к дочери!

— Я полагаю, что это французский, немецкий, испанский и итальянский.

— Но ведь это всего четыре, а пятый-то какой?

— Баришни позабыл английский, английски это быть пяти.

— Ах, да, английский! — не без лукавства, как бы спохватясь, воскликнула плутовка, закусив губу, чтобы не рассмеяться мне в лицо.

— Действительно, я позабыл английский, но это потому, что мы привыкли считать этот язык не исключительно европейским. Но я полагаю, что английским вы владеете менее свободно, чем остальными?

— Oh, ja!

Молодая девушка не в силах была подавить мимолетную улыбку.

— Я вам, как иностранцу, очень сочувствую и весьма сожалею, что встретил вас в пути с тем, чтобы снова потерять из виду, и потому ничем не могу быть вам полезен. Куда же теперь лежит ваш путь, мой молодой германец?

— Теперь я ехать буду в одно место — Равенснест, корошо мест, где продавайт часы.

— Как в Равенснест? — переспросил отец.

— В Равенснест? — повторила за ним Мэри.

— Ведь Равенснест то самое местечко, где мы живем, ведь это мой приход, в котором я состою священником епископальной и протестантской церкви, — пояснил мне мой приветливый собеседник.

Итак, я видел перед собой мистера Уоррена, священника, вступившего в исполнение обязанностей приходского священника в нашей родовой церкви святого Андрея в Равенснесте как раз в то время, когда я уехал из Америки. Марта часто упоминала в своих письмах о нем и о его дочери. Сам мистер Уоррен был человек из хорошей семьи и с всесторонним образованием, но без средств. Он стал священником по призванию и против желания своей семьи, которая совершенно отвернулась от него с того времени, но он не унывал, находя счастье в своем ребенке, которого любил со всей нежностью одинокого отца. Из писем Марты было известно, что мистер Уоррен вдов, а Мэри, его единственное дитя, что он человек до крайности религиозный, простого сердца, с сильной волей и пронизательным умом, любивший ближнего столько же в силу принципа, сколько и по внутреннему сердечному влечению.

О дочери его сестра писала мне, что это девушка необычайно милого характера, скромная, кроткая и большая умница, получившая прекрасное образование и украшавшая своим присутствием не только дом своего отца, но и весь Равенснест.

Марта писала, что пребывание в этом старинном родовом гнезде стало для нее вдвое приятнее с тех пор, как с ними по соседству поселилась прелестная Мэри Уоррен. Порою мне казалось даже, что эта девушка ей больше по душе, чем обе воспитанницы дяди, которые, по правде говоря, тоже были милы и хороши, каждая в своем роде.

Все эти воспоминания с быстротой молнии проносились у меня в мозгу, в то время, как мистер Уоррен мне дал понять, кто он такой.

— Как это странно! — вымолвил он. — Что может вас привлекать в Равенснесте?

— Они сказала моя дядя, это короша место — продавайте часы.

— А, так у вас есть дядя? Ах, да, я, кажется, его и вижу, он как раз предлагает какому-то господину часы. Ваш дядя — такой же лингвист, как вы, и получил такое же образование, какое, по вашим рассказам, получили вы сами?

— О, да, да! Он была немного больше и дшентельмэн, чем та господин, котори покупайт сейчас часы.

— Это должно быть, те самые два... два господина, о которых нам говорил мистер Ньюкем, которые имели намерение посетить наш Равенснест.

— Да, ты права, тем более что мистер Ньюкем нам говорил, что они должны встретиться именно здесь, в Трое, и что затем мы вместе должны будем отправиться до Саратоги. А вот идет сюда и Оппортюнити Ньюкем, вероятно, и брат ее здесь где-нибудь поблизости.

Действительно, почти в ту же минуту в комнату вошла моя бывшая хорошая знакомая Оппортюнити Ньюкем.

Ее походка и манера отмечались какой-то деланной небрежностью, которую она, как видно, принимала за достоинство, и вся ее фигура дышала самонадеянностью и самодовольством.

Одну секунду я боялся быть узнанным ею; мне казалось, что ее страстное желание стать владелицей всех богатств Равенснеста и столь усердное старание увлечь меня в свои сети должны были настолько ознакомить ее со всеми даже неуловимыми особенностями моего лица, что это сразу помогло бы ей узнать меня даже и в этом странном наряде. Но опасения мои оказались напрасными, эта девица даже не обратила на меня никакого внимания.

Глава VI

О! Она несла свою голову с такой гордостью и так надменно заставляла колыхаться перо на своей шляпе!

Видели ли вы когда-нибудь более блестящую пастушку, бегающую, смеясь, по зеленому лугу?

Аллан Куннингам

— Ах, какие прелестные французские виньетки! — воскликнула Оппортюнити, подбегая к столу, на котором были разложены лубочные раскрашенные картинки, изображающие главнейшие добродетели в образе тучных женщин с необычайно мясистыми, обнаженными руками. Под

этими картинами красовались французские надписи: *La vertu, la solitude, la charite*, которые она, не без некоторого самодовольства, тотчас же бойко перевела на свой родной язык. Из писем мне уже была известна эта новая претензия мисс Оппортюнити на знание французского языка, которым, в сущности, она владела далеко не в совершенстве. Я не мог удержать улыбки, по случаю этих *grands-airs'*ов m-lle Ньюкем; Мэри, позволившая себе ту же безмолвную критику на ее счет, случайно встретилась со мной глазами, прочла в них ту же мысль. Эта случайность несказанно радовала меня, она как будто устанавливала между нами род тайного сообщничества, которое мне было как-то особенно приятно. Между тем Оппортюнити, довольная тем, что успела выказать свои знания во французском языке, обернулась в мою сторону, чтобы разглядеть мою физиономию, но, очевидно, она осталась не совсем довольна своим осмотром, так как, момент спустя, она подвинула себе стул, села ко мне спиной и принялась выкладывать свои новости, не обращая ни малейшего внимания на мою особу, ни даже на желание и вкусы своих собеседников. Ее резкий, самонадеянный тон, манера говорить отрывисто и непоследовательно — все это как-то резало мне ухо. Признаюсь, что лично я вижу несравненно больше прелести для женщины в приятном, мягком звуке голоса, в манере говорить сдержанно и красиво, чем даже в самой красоте. И эти впечатления удерживаются дольше, сильнее действуют на наши нервы и даже находятся в тесной связи с самим характером данной личности. В наше время распушенности и привычек, и речей, и вольности, и непристойной развязности манер и обращения — манера говорить более, чем что-либо, характеризует воспитанного и действительно порядочного человека.

— Сенн, право, создан лишь для того, чтобы приучать людей к терпению! — досадливо воскликнула Оппортюнити. — Через каких-нибудь полчаса мы должны выехать из Трои. Мне надо сделать здесь еще несколько визитов к *mademoisell'*ям: Джонс, Лебрен, Леблан, Левер и несколькими другим, а я никак не могу его дожидаться!

— Но отчего же вам не пойти одной? — возразила Мэри. — Отсюда до большинства ваших приятельниц всего каких-нибудь несколько сот шагов, и вы никоим образом не рискуете заблудиться. Впрочем, если вы никак не решаетесь идти без провожатого, то, если желаете, я могу пойти с вами.

— О, я, конечно, не заблужусь здесь! Я воспитывалась не в Трое, чтобы могла заблудиться на улице. Но согласитесь, что это так странно видеть молодую девушку на улице одну без кавалера! Я не желала бы даже пройтись по комнате без кавалера, а уж тем более по улице. Нет, если Сенн не вернется вскоре, я не буду иметь возможности повидать моих подруг. Выйти на улицу без кавалера! Я никогда этого не сделаю!

— Не желаете ли, чтобы я вас проводил, m-lle Оппортюнити? — предложил мистер Уоррен. — Я был бы очень рад оказать вам услугу.

— О, Боже! Мистер Уоррен, неужели вы в ваши годы еще мечтаете разыгрывать роль кавалера? Ведь всякий сразу видит, что вы духовное лицо, и в таком случае я могла бы точно так же пойти одна. Арамента мне еще недавно писала самым настоящим образом, чтобы я никогда не проезжала через Трои, не повидавшись с ней, а Кэтрин Кикимильд мне говорила, что вовек мне не простит, если хоть раз пройду мимо ее порога. Но Сенн, он так же мало интересуется моими подругами, как и нашим молодым патроном. Я готова поклясться, мистер Уоррен, что Сенн непременно сойдет с ума, если антирентистам не удастся осуществить их планы; поверите ли, он с утра до ночи только и делает, что говорит о рентах, об аристократии, о феодальных правах и обычаях.

И я, и Мэри, да отчасти и сам пастор, мы не могли сдержать слабой улыбки, слыша грубую ошибку этой высокообразованной особы на слове «феодальный»; но ошибка эта не имела большого значения, так как, в сущности, m-lle Ньюкем отлично понимала значение этого слова.

— Ваш брат занимается, очень естественно, самым насущным вопросом данного времени, имеющим громадное значение для той общины, членом которой он состоит. От решения этого вопроса, несомненно, зависит, по моему мнению, вся будущая нравственность и будущая судьба Нью-Йорка.

— Я, право, удивляюсь, я едва верю своим ушам, слыша от вас такие вещи, ведь вы слывете человеком, крайне враждебным этому движению. Сенн уверяет, что все идет прекрасно, что он убежден, что арендаторы добьются своего и получат земли во всем штате Нью-Йорк; по его словам, этим летом у нас в Равенснесте будет множество индейцев, и что приезд старой госпожи Литтлпедж страшно взволновал умы всей окрестности.

— Но почему же ее приезд мог быть причиной подобного волнения умов? Что тут такого странного или необычайного, что эта уважаемая женщина вздумала провести лето в поместье своего родного внука, в том доме, где она провела лучшие годы своей жизни?

— О, да ведь вы — епископальной церкви, а все мы знаем, какого мнения придерживаются в этом вопросе последователи епископальной церкви; что же касается лично меня, то, право, я не вижу, чем Литтлпеджи лучше Ньюкемов и уж ни в коем случае не лучше вас. Так почему же они требуют от правительства больше, чем другие?

— Я убежден, что они ничего более других не требуют не от правительства, ни от закона и уж, наверное, получают гораздо меньше.

— Сенн говорит, что положительно не видит причины, почему он обязан платить ренту господину Литтлпеджу, а не Литтлпеджам.

— Мне очень грустно слышать, что ваш брат не видит достаточной причины, почему именно это так, а не иначе; ведь ваш брат пользуется землей, принадлежащей мистеру Литтлпеджу, вот почему он должен платить ему за его землю, а если бы господин Литтлпедж пользовался землей вашего брата, то, конечно, платил ту же ренту вашему брату.

— Но почему же эти Литтлпеджи, которые ничем не лучше нас, из рода в род, из поколения в поколение остаются нашими владельцами? Пора чтобы все это изменилось! Всему конец бывает.

— Да, давно пора, — как видно, не без лукавства, стараясь подавить улыбку, поддакнула ей Мэри, — чтобы кое-что изменилось.

— О, вы так дружны с этой Мартой Литтлпедж, что я не придаю никакого значения тому, что вы думаете, если говорите на этот счет. Но что правда, то правда! Я не имею никаких причин жаловаться на молодого Хегса Литтлпеджа; он то во всяком случае не задирает нос и не считает себя выше других.

— Мне кажется, никто из семьи не заслуживает подобного упрека, — заметила Мэри.

— Ах, что вы! Как можете вы говорить такие вещи! Эта Марта Литтлпедж до крайности антипатичная особа со всем своим несносным и глупым чванством.

— Но я желал бы знать, какие основания вы имеете, m-lle Ньюкем, чтобы быть такого мнения об этой молодой девушке?

— Ах, Боже мой, да все же в один голос так отзываются о ней; если бы эта маленькая Марта Литтлпедж не считала себя выше и лучше других, то она поступала бы, как остальные, а не держалась особняком от всех.

Мистер Уоррен хотел на это возразить, но приход Сенеки прервал на этом месте разговор. Я не мог не заметить, что он вошел в шляпе и все время не снимал ее с головы, несмотря на присутствие двух молодых девушек и такого почтенного лица, как мистер Уоррен.

Как того надо было ожидать, Оппортьюнити не преминула пробрать порядком брата за его неготовность играть роль кавалера при ее особе; но все ее слова пропали даром, так как он, по-видимому, не обращал на них никакого внимания. Сенека казался очень в духе и, расхаживая взад и вперед по комнате, с довольным видом потирал руки.

— Как видно, происходит нечто такое, что очень радует нашего Сенна. Я бы желала, Мэри, чтобы вы заставили его сказать, в чем дело, вам-то он ни в чем не откажет.

Трудно себе представить, насколько это замечание неприятно подействовало на меня. При одной мысли, что Мэри Уоррен могла иметь какое-то влияние на такого человека, как Сенека Ньюкем, огорчало меня более, чем я могу сказать. Я внутренне желал, чтобы Мэри с негодованием отстранила от себя это обращенное к ней воззвание и намек, но нет! Она при этом не выразила ни удовольствия, ни негодования, и на ее лице я не прочел решительно ничего, кроме полнейшего холодного равнодушия.

— Да, — заговорил Сенека помимо всякой просьбы со стороны молодой девушки, — да, есть нечто такое, что меня очень радует, и я, пожалуй, даже буду доволен, если и мистер Уоррен о том узнает. Дела наши идут прекрасно, и вскоре антирентисты добьются всего, чего они желают.

— Но я желал бы быть уверен в том, что они добьются лишь того, что им следует по праву! — вставил свое слово мистер Уоррен.

— Мы с каждым днем набираем больше силы в среде политических деятелей; теперь уж обе партии заискивают перед нами, и недалеко уже то время, когда самый смысл наших основных постановлений проявится в полной своей силе.

— Мне весьма приятно это слышать, так как в духе наших основных постановлений закона лежит стремление к подавлению всяких незаконных вождедений, безграничного эгоизма и всякого рода мошенничества и вымогательства, и к поощрению всего, что справедливо и строго законно!

— заметил почтенный пастор.

— А-а — вот и мой приятель, торговец всякого рода золотыми безделушками! — вдруг выкрикнул Сенека, раскланиваясь с моим дядюшкой, который, со шляпой в руках, почтительно остановился у порога общей залы. — Войдите, войдите, мистер Давидзон, позвольте вас познакомить с нашим достопочтимым священником мистером Уорреном; а вот и мисс Уоррен и m-lle Оппортьюнити Ньюкем, моя сестра, которая, конечно, будет очень рада взглянуть на ваши безделушки.

Дядя вошел и поставил на стол свой ящик, вокруг которого сгруппировались все присутствующие.

Между тем Сенека продолжал начатый им разговор.

— Да, мистер Уоррен, я почти уверен, что мы теперь добьемся, что более не будет существовать никаких привилегированных каст, по крайней мере, во всем штате Нью-Йорк.

— Конечно, это будет громадной победой над всякого рода злоупотреблениями, — заметил все так же невозмутимо священнослужитель,

— поскольку до сих пор все те, которые более всего исказили истину и более других способствовали распространению всякой лъстивой лжи, пользовались в Америке неслыханными преимуществами.

Сенека, по-видимому, был не совсем доволен этим оборотом разговора, но, очевидно, он успел уже привыкнуть к правдивости мистера Уоррена.

— Но все же я полагаю, что вы не станете отрицать того, что в настоящее время среди нас существует привилегированный класс людей?

— О, да, конечно, с этим нельзя не согласиться, так как это уж слишком очевидно.

— А если так, то я был бы вам очень благодарен, если бы вы мне назвали этот класс людей для того, чтобы я мог судить, согласуются ли наши мнения.

— С моей точки зрения, демагоги представляют собою у нас очень привилегированный класс; редакторы различных газет и журналов образуют другой привилегированный класс, который позволяет себе такие неслыханные вещи в наше время, которые противны всякому закону, закону государственному и закону приличий, противны чувству справедливости, противны всякой истине и нагло попирают самые священные права своих граждан. Самовластие этих двух классов неизмеримо велико, и, как во всех подобных случаях, где слишком много власти и никакой ответственности, оба эти класса страшно злоупотребляют своей силой.

— Ну, в таком случае я с вами не согласен. Я называю привилегированным классом у нас класс тех людей, которые не довольствуются разумным и лично им потребным количеством земли, а желают обладать ею в несравненно большем количестве, чем остальные их соотечественники.

— Я положительно не знаю никаких таких привилегий, которыми бы пользовались землевладельцы преимущественно перед всеми остальными.

— А вы не называете это привилегией, что один какой-нибудь человек имеет право владеть всеми землями, находящимися в пределах целой общины! Ну, а по-моему, так это такого рода преимущество, которое никоим образом не может быть терпимо в свободной стране. Другие тоже желают иметь свои земли, как и ваши Ван-Ренсселары и ваши Литтлпеджи! Зачем у них должно быть то, чего у меня нет?

— Да, но в таком случае всякий, кто имеет чего-либо больше, чем его сосед, может быть назван привилегированным. Даже и я, при всей своей бедности, тоже имею такого рода преимущества, каких вы не имеете, мистер Ньюкем; я имею в виду подрясник и два облачения и еще несколько тому подобных вещей, которых вы не имеете. И мало того, я еще имею право надевать эти вещи, а вы, даже и в том случае, если бы вы их приобрели, не могли бы надеть их без того, чтобы не стать смешным в глазах людей.

— О, да, это такие привилегии, за которыми никто не гонится; на что мне ваши подрясники и ваши облачения?! Да и то, если бы я захотел, то взял бы, нацепил на себя все эти ваши подрясники, потому что, в сущности, закон этого нам не воспрещает.

— Нет, извините, закон воспрещает вам надевать мои вещи без моего согласия и разрешения.

— Ну, хорошо, не будем спорить о таких вещах. Я не имею ни малейшего желания наряжаться в ваши подрясники и облачения.

— А, в таком случае я вас понимаю! Вы называете привилегией, которая не может быть допущена законом, только обладание тем, что вы желали бы иметь сами.

— Нет, право, мистер Уоррен, мы, кажется, никогда не сговоримся с вами по этому вопросу об антирентизме, и я весьма сожалею об этом; мне бы особенно хотелось быть одного мнения с вами (при этом он многозначительно взглянул на Мэри). Но, увы, я стою за принцип прогресса и движения, а вы — за принцип застоя.

— Да, я консерватор, мистер Ньюкем, во всех тех случаях, когда движение и прогресс выражаются в том, чтобы отнять у человека то, чем он владеет по праву и на законном основании, и отдать кому-бы то ни было, лишь бы только не тем, кто на эту собственность имеет право. Нет, за такой прогресс я не могу стоять.

— Очень, очень жалею, но в этом вопросе мы не можем сойтись с вами, мистер Уоррен. — Затем, обращаясь к моему дяде тем тоном самодовольного превосходства, в который так легко впадают люди, мало воспитанные, Сенекка продолжал: — Ну, а вы, друг Давидзон, что вы на это скажете? Стоите вы за ренту или против ренты?

— Oh, ja, mein Herr! Я всегда говорит — на тебе плата, когда я уехал от какой дом, кфартир и сад; короша чесна шеловеки всегда любил платить своя долги, — плотить мне карошо, ошень карошо — это всегда надо.

Ответ этот невольно заставил улыбнуться священника и его дочь, а мисс Оппортюнити как-то громко и шумно засмеялась по этому поводу.

— Нет, как хочешь, Сенн, а тебе ничего не удастся поделаться с твоим новым приятелем голландцем, ведь он тебе говорит, что ты обязан платить ренту! Ты слышишь?! Ха, ха, ха! ..

— Я полагаю, что господин Давидзон не совсем хорошо понимает, в чем дело, — сказал Сенекка, — насколько мне помнится, вы говорили, что приехали в Америку с тем, чтобы пользоваться светом просвещения и благами либерального правительства, не так ли?

— О, ja! Дфорянстви и фэодале привилегии это быть все это корош сторона, где шесна чиловек мошно имейт то, что он достал — и можно сохраняйт всегда, и кто у него не отымайт, что быть его собственность... да, ja, вот што я говорила.

— Ну, да, теперь я вас прекрасно понимаю; вы прибыли сюда из такой страны, где богачи вырывают изо рта кусок у бедняка и жиреют за его счет, с тем, чтобы поселиться в стране, где закон равен для всех и все равны перед законом, где вскоре ни один гражданин не посмеет похвалиться своими владениями и поместьями и тем самым оскорблять тех, у кого их нет. Вы слишком много насмотрелись в Европе на зло, причиняемое дворянством и гнетом феодализма, чтобы желать увидеть то же самое и здесь!

— Oh, ja! Дфорянстви и фэодале привилегии это быть совсем не хорошо! — угрюмо произнес мнимый Давидзон.

— А-а! Я был уверен, что вы такого мнения; вот видите ли, мистер Уоррен, не один человек, проживший некоторое время под гнетом феодальной системы, не может иначе относиться к ней.

— Да, но какое нам-то дело до феодальной системы, мистер Ньюкем? Что общего между нашими землевладельцами и феодальным дворянством Западной Европы, между нашими арендными условиями и феодальными повинностями?

— Как, что общего? Да все... помилуйте, да между тем как наше правительство само предписывает нам перерезать друг другу горло...

— Да полноте же, мистер Ньюкем, — прервала его Мэри Уоррен, — наше правительство, напротив того, предписывает не перерезать друг другу горла.

— Нет, вы меня не понимаете, мисс Мэри, но я уверен, что мы вскоре и вас, и батюшку вашего превратим в самых искренних антирентистов. Вы говорите, какое сходство между нашими землевладельцами и феодалами, да не то ли же самое, когда наши вольные и честные арендаторы обязаны платить им дань за право жить на той земле, которую они сами возделывают в поте лица.

— Но, мистер Ньюкем, — сказала не без некоторой мягкой иронии Мэри Уоррен своим обычным ровным спокойным тоном, — ведь вы сами тоже сдаете в аренду земли, которые, в сущности, даже не ваши, но которые вы арендуете у мистера Литтлпеджа.

Сенека был, видимо, пойман врасплох; прокашлявшись слегка, скорее для того, чтобы собраться с мыслями, чем для того, чтобы прочистить голос, он, наконец, нашел ответ.

— Вот в этом-то и есть одно из зол настоящей арендной системы, мисс Мэри. Вот если бы я был владельцем этой земли, то те два-три поля, которые я бы не в состоянии был обработать сам, я бы мог их продать другому, а ведь теперь это для меня совершенно невозможно, так как я не могу располагать по своему усмотрению этими землями. И вот едва только умер мой дядя, как и все эти земли, мельницы, фермы, леса и все остальное отойдет обратно к молодому Хегсу Литтлпеджу, который теперь жуирует, катаясь по Европе. Вот тоже одно из зол нашей феодальной системы: оно позволяет одному человеку, проводя жизнь в лености и бездействии, растрачивать свое состояние и доходы по заграницам, тогда как другие принуждены сидеть у себя по домам да гнуть спины над плугом да над тачкой.

— Что касается меня, папаша, — вставила свое слово Мэри, — то я нахожу весьма странным, что наши власти не предусмотрели в своих постановлениях того, о чем сейчас только упомянул мистер Ньюкем; действительно, ведь крайне обидно, что мистер Сенека Ньюкем не имеет права продавать, смотря по своему желанию, земли мистера Хегса Литтлпеджа.

— Я не столько возмущен этим, — поспешно продолжал Сенека, не заметивший иронии в словах молодой девушки, — я не столько возмущен этим, мисс Мэри, как тем, что все мои права на эти земли должны прекратиться со смертью моего дядюшки. Относительно этого вы должны согласиться, мисс Мэри, что это очень обидно.

— Ну, хорошо, но предположим, что ваше арендное условие продолжалось бы еще несколько лет, ведь вам пришлось бы платить опять ренту!

— О, я на это не стал бы жаловаться. Если бы мистер Деннинг хотя на словах обещал, что нам возобновят наш контракт на тех же условиях, я не сказал бы ни слова.

— Так вот вам первое доказательство того, что эта наша теперешняя система имеет свои хорошие стороны и свои выгоды, — весело заметил мистер Уоррен. — Я очень рад, что слышу от вас, что среди этого денежного класса есть люди простого слова, которого вполне достаточно, чтобы всякий положился на него, как на документ. Надеюсь, что такой хороший пример не пропадет даром. Кроме того, мистер Ньюкем сейчас, сам того не замечая, сделал очень отрадное для меня признание своей готовностью и желанием возобновить оканчивающийся контракт на тех же условиях. Он доказал, что контракт этот был для него выгоден.

Несмотря на то, однако, что слова эти были сказаны очень просто, они сильно кольнули Сенеку Ньюкема. Чтобы выйти из затруднительного положения, он перевел разговор на другой предмет.

— Однако я убежден, что вы, мистер Уоррен не можете считать приличным, какого бы мнения ни была на этот счет мисс Мэри, это торжественное украшение, этот громадный балдахин, осеняющий места семьи Литтлпедж в церкви святого Андрея в Равенснесте. Его обязательно следовало бы убрать и уничтожить.

— Вот видите ли, я опять-таки не совсем согласен с вами даже и в этом, хотя и полагаю, что дочь моя того же мнения, как и вы. Не так ли, Мэри?

— Да, я от души желала бы, чтобы этого украшения не было; мне кажется, что это было бы лучше, — тихо, почти робко выговорила она.

С этой минуты я внутренне решил, что удалю это бесполезное украшение тотчас, как только буду иметь возможность сделать соответствующее распоряжение.

— Ах, люди добрые! — воскликнула Оппортюнити, которая все это время была занята рассматриванием золоченых безделушек. — Я бы очень желала, чтоб кто-нибудь раз хорошенько крикнул «Долой ренты!» и чтобы уж затем никто об этом не говорил! Как только вам не надоест и говорить, и слушать все одно и то же! Взгляните, Мэри, какой прелестный карандашик, я еще никогда не видала ничего более красивого из этого рода вещиц, и стоит он всего четыре доллара; право, Сенн, я очень бы желала, чтобы ты хоть на момент оставил в покое эти ренты и подарил мне этот карандашик.

Но Сенн, очевидно, не имевший никакого желания быть столь щедрым, сдвинул свою шляпу набекрень и, посвистывая, вышел из комнаты. Между тем дядя воспользовался этим случаем, чтобы предложить мисс Оппортюнити принять эту вещицу от него в дар.

— Не может быть, вы шутите! Да неужели?! — весело защебетала она, покраснев от радости и удовольствия. — Но ведь вы только что сказали, что эта вещица стоит четыре доллара, да и то я нахожу, что это дешево.

— Это цена стоит вешш для другой, а для ви он нишего не стоит; мы вместе будет ехать, и когда ми будем приехать Равенснести, ви мене будет сказал, где такой дом, я может продафайт все эти вешши и все моя часи.

— О, да, конечно, я непременно рекомендую вам хороших покупателей.

Выбрав тем временем хорошенькую печатку настоящего золота, украшенную топазом, дядя Ро преподнес ее Мэри Уоррен. Я с беспокойством следил за каждым движением и выражением молодой девушки, желая видеть, какое впечатление произведет на нее эта любезность старика; Мэри краснела и улыбалась как-то сконфуженно, она, казалось, была в затруднительном положении и не знала, что делать и как ей поступить. Мне показалось даже, будто один момент она сомневалась в своем решении, но, наконец, она тихонько отстранилась и ласково отклонила подарок, стараясь в то же время ободрить и не обидеть своим отказом старика. Теперь только я понял, что ее смутил поступок Оппортюнити, которая поступила как раз наоборот, а Мэри из скромности также не захотела привлечь ее внимание на эту тему; вот почему она так молча отстранила от себя эту хорошенькую вещицу, не объяснив ни одним словом причины своего отказа.

Мистер Уоррен, казалось, тоже был доволен поведением своей дочери и, желая отвлечь внимание всех присутствующих от торговца безделушками, предложил мне сыграть что-нибудь на моем инструменте.

Если за мной можно признать какой-нибудь талант, то это именно талант к музыке; я играл в совершенстве и в данном случае постарался выказать все свое искусство. Я сыграл несколько прекраснейших вещей и сыграл их, действительно, мастерски.

Я видел, что и Мэри, и ее отец поражены моей игрой, что они от меня не ожидали такого исполнения; Мэри, казалось, была положительно в восторге от моей музыки.

Так как было условлено, что мы отправимся далее все вместе, то наше свидание продолжалось вплоть до момента нашего отъезда из Трои, да и тогда мы тоже не разлучались. Мэри и Оппортюнити сидели рядом в омнибусе, а мистер Уоррен предложил мне место рядом с собой, несмотря на неудобное соседство моих гуслей. Мы поместились против молодых барышень, а дядя мой, сидя в другом углу каретки, все время беседовал с Сенекой Ньюкемом о волнениях антирентистов.

Мистер Уоррен много расспрашивал меня о разных странах и местностях Европы, а главным образом о Германии; я отвечал ему, нередко путая его своими ответами, стараясь говорить хотя и ломаным английским языком, но все же как человек образованный и интеллигентный. Вскоре я заметил, что Мэри, сидевшая как раз против меня, внимательно прислушивалась к каждому слову нашего разговора. Между тем Оппортюнити некоторое время читала какую-то газету или листок, затем жевала яблоко, а все остальное время посвятила сну. Но путь от Трои до Саратоги не велик, и вскоре наше путешествие окончилось.

Глава VII

Если вы дадите мне того, чего у вас немного, то есть терпения, я скажу вам, что отвечает желудок.

Менений Агриппа

Мы расстались у источников Саратоги. Мистер Уоррен и его спутники нашли здесь себе экипаж, который брался доставить их до места; что же касается моего дяди и меня, то мы условились, что доберемся, как сумеем, и прибудем на место, то есть в Равенснест, днем или двумя позже нашей компании.

— Ну, знаешь, — сказал мне мой дядя, как только мы остались одни,

— я должен тебе сказать об этом господине Сенекке, или Сенне, как его называет его элегантная сестрица, что это самый отъявленный мерзавец во всем штате. Ты, вероятно, заметил, что этот господин с самого нашего отъезда из Трои и вплоть до настоящего момента все время занимался прениями.

— Конечно, я видел, что язык его ни минуты не оставался в покое, но что он собственно говорил, я не знаю.

— Главной темой его разговора был, конечно, антирентизм, смысл которого он всячески старался мне объяснить, как иностранцу. Этот господин не побоялся даже предложить нам с тобой вступить в состав этих ряженных краснокожих.

— Как, он намеривался завербовать и нас? Неужели они все еще упорствуют и, вопреки закону, поддерживают эту организацию?

— О, Господи! Закон! Что такое закон в такой стране, как эта? Кто же прибегнет к этому закону против них? С какой стати двум тысячам избирательных голосов стесняться с законом, ведь он в их руках?! Даже если бы они дошли и до убийства, то и тогда это осталось бы, вероятно, без последствий.

— Неужели же вы думаете, что власти будут умышленно закрывать глаза на преднамеренное преступление и поругание закона?

— Это будет зависеть от отдельных личностей; некоторые, быть может, и не захотят потворствовать такому открытому сопротивлению законам, но большинство найдет это более для себя удобным. Провинись ты или я, мы, конечно, тотчас же получили бы законное возмездие, но массе, вероятно, все преступления ее пройдут совершенно безнаказанно. Те два-три человека, которые присоединились в пути к Сенеке, только что прибыли из антирентистских мест и рассказывают положительные чудеса. Видя меня с их приятелем, они ничуть не стеснялись меня. Один из них, как оказалось, оратор-проповедник этой идеи антирентизма.

— Как, разве у них есть и свои проповедники?! Я полагал, что газет и журналов вполне достаточно для распространения их идей.

— О, что такое газеты и журналы! Они все перегрызли друг другу горло; теперь считается фешенебельным не верить газетным статьям. В настоящее время великим рычагом нашей нации является живое слово.

— Но ведь и проповедник может лгать не хуже любой газетной статьи!

— Понятно, я и сам успел в этом убедиться, что эти люди позволяют себе большие вольности с истиной.

— А вы уже их ловили на лжи?

— О, и не раз! Мне, как человеку, хорошо знакомому с настоящей историей всех этих арендных условий и контрактов, это было весьма легко. Но что за нахальство предложить нам пристать к этой ватаге негодяев!

— И что же вы ответили ему?

— Понятно, я не согласился. Не так же мы с тобой глупы! Один Бог знает, чем все это может кончиться.

На этом мы прервали наш разговор, зайдя в один из наиболее скромных заезжих домов, весьма сносно, однако, приспособленных для людей нашего класса. Сезон посещения вод Саратоги еще не наступил, и потому около источников бродило лишь несколько отдельных личностей, которые, по-видимому, действительно нуждались в их целебном действии. Впрочем, мы воспользовались тележкой, возвращавшейся в Санди-Хилл (Песчаный Холм), куда мы прибыли вечером и где заночевали. В том доме, где нам пришлось провести ночь, мы много слышали о пресловутых «краснокожих», которые, как говорили, показались уже на территории поместий господ Литтлпедж, причем происходили горячие споры о вероятных результатах их новой экспедиции.

Утром мы снова двинулись в путь со случайными попутчиками и к вечеру прибыли в село Мусридж, где и остановились на ночлег в сельской гостинице. Поужинав, мы более часа просидели под навесом вроде портика, примыкавшем к главному корпусу этой гостиницы, довольно затейливого по своей архитектуре строения. Тут же собрались некоторые из жителей села, с которыми мы имели случай сойтись и побеседовать. Дядюшка мой продал одному из них часы, а я, чтобы развеселить и ознакомить с собой эту компанию, сыграл им несколько вещей на моих гусях. После такого предварительного знакомства наш разговор, понятно, сам собою перешел на самый насущный вопрос — антирентизм. Главным разговаривающим лицом являлся некий молодой человек, лет двадцати шести или около того, по имени Хеббард, полукрестьянин-полуджентльмен, который, как впоследствии оказалось, был местным поверенным и ходоком по делам, так сказать, сельским адвокатом. Другой его собеседник был некий Холл, он был ремесленник или мастеровой, с открытым правдивым лицом.

Оба уселись на соломенные стулья, прислонясь спиной к стенке и поставив стулья таким образом, что передние ножки их оставались на весу, так что стул держался на одних задних ножках, упираясь спинкой в стенку.

Эта поза, хотя и весьма не живописная, однако столь обычная для американского простонародья, что никто даже не обратил на это ни малейшего внимания. Как только Холл установил в надлежащем равновесии свой стул, он казался совершенно довольным своим положением, но Хеббард казался беспокойным, глаза его тревожно, даже грозно бегали по сторонам, как бы ища чего-то. Он достал из кармана острый нож и, озираясь кругом, готов уж был встать со своего места, когда хозяин гостиницы подошел к нему и подал ему небольшую еловую дощечку. Хеббард взял эту дощечку и тотчас же принялся стругать ее своим ножом, вырезая на ней какие-то рисунки; он, казалось, испытывал при этом несказанное удовольствие. Этой страстью вырезать вензеля, эмблемы и фигуры страдает большинство американцев, простолюдинов, и, судя по столбам портика, предусмотрительность хозяина, предлагавшего своим посетителям дощечки, была далеко не лишняя, а даже положительно являлась необходимостью, если только он не желал, чтобы крыша его дома в один прекрасный день обрушилась на его голову.

Колонны портика и даже бревна стен свидетельствовали о явной опасности, грозившей зданию в том случае, если предоставить полную волю этим усердным резчикам. Орлы с распростертыми крыльями, американский национальный флаг, всякого рода надписи и инициалы, целые имена и всевозможные патриотические эмблемы были глубоко вырезаны повсюду, куда только можно достать рукой. Но наиболее достопримечательным памятником искусства посетителей гостиницы могла быть названа одна из колонн, поддерживавших здание, да еще как раз угловая, и, следовательно, самая необходимая для целостности самого здания.

И эта колонна была буквально надрезана до половины своей толщины, причем следует заметить, что эта глубокая рана была довольно тщательно отделана, так что сразу можно было убедиться, что над нею потрудились.

— Что же это? — спросил я у содержателя гостиницы, указывая на громадную зияющую рану у главной колонны его портика.

— О, это — это все наши резчики забавляются! — отвечал хозяин, улыбаясь.

Нет, решительно наши американцы прекраснейшие и добродушнейшие люди в мире: вот вам человек, дом которого готов обрушиться на его голову, и он, говоря об этом, улыбается, как Нерон, игравший на арфе во время пожара Рима.

— Aber, — возразил я, — эти шеловеки сделают упасть ваша дом на ваша голова! Зачем ви позволяйт?

— О, мы ведь в свободной стране, и здесь каждый делает все, что ему хочется, и все, что ему вздумается. И я не препятствовал им забавляться, покуда это было возможно без особой опасности для меня и моей постройки; но теперь уже время было прибегнуть к дощечкам, потому что не прошло бы еще и недели, как этот столб должен был бы неминуемо рухнуть, и моя крыша вместе с ним.

— О, я думайт, я не позволяйт быть делала так на моя дом, моя дом быть моя дом, и я пускайт делала такая штука!

— Да, но, допуская эту резьбу, я лучше зарабатываю, — добродушно засмеялся хозяин гостиницы, — так что видите ли, иногда есть расчет допустить портить свои столбы и бревна.

— Вы, я вижу, здесь чужой человек, приятель? — добродушно обратился ко мне Хеббард, так как в это время он уже успел придать своей дощечке какую-то форму и теперь уже начинал ее

обделывать по всем правилам своего искусства. — Мы, американцы, не так чувствительны к этого рода вещам, как это бывает у вас, в некоторых странах Старого Света.

— О, та, я это фидит, aber, этот колонн и этот дерефо стоит деньги в Америка.

— О, конечно, стоит, и даже немало, я полагаю, долларов десять.

По этому случаю завязался спор; я не мог не заметить, что большинство этих людей выражались прекрасно, последовательно, ясно и вполне правильно. Особенно меня поражал в этом отношении Холл, он говорил, как человек, прекрасно знающий не только свой родной язык, но как человек, получивший образование.

— О, я, пошалуи, думайт, это так портил колонн индейц — дикий шеловек, но американский кражданин, oh, nein! Я так не думал.

Эти слова мои опять навели разговор на антирентиизм и его волнения.

— Как видно, дело это все еще продвигается вперед! — заметил таинственно Хеббард.

— Тем хуже, тем стыднее! — воскликнул Холл. — Одного месяца было бы совсем достаточно, чтобы положить всему этому конец; это позор, что в цивилизованной стране терпят такие безобразия!

— Но вы согласитесь, однако, сосед, что это было бы огромным улучшением быта арендаторов, если бы им удалось променять свои арендные условия на купчие крепости и стать землевладельцами.

— О, конечно, и если бы каждый из моих поденщиков и мастеровых стал владельцем моей мастерской и лавки, то это тоже было бы огромным улучшением их быта. Но не в этом дело, дело в том, имеет ли правительство право принудить человека продать его собственность, если он того не желает. Хороша, нечего сказать, свобода, если бы мы были домовладельцами при таком управлении и таком законодательстве!

— Но ведь, в сущности, это так и есть, — возразил сельский адвокат. — В тех случаях, когда государство нуждается в каком-либо участке земли для общественной надобности, то оно вправе взять этот участок взамен известного определенного вознаграждения.

— Да, для общественной надобности это другой вопрос. Если участок нужен для дороги, под укрепление, канал или другое сооружение такого рода, то, в силу существующего закона, этот участок может быть отобран у владельца взамен известной уплаты за стоимость земли; но уверять, что будто государство имеет право нарушать законное условие или контракт двух частных лиц лишь на том основании, что одна из сторон возымела желание устроиться еще более выгодно для себя, это не резон, точно так же, как странно выставлять тому причиной то, что таким путем легче будет удовлетворить недовольных, чем принудив их повиноваться требованиям закона. В таком случае, должно быть, легче закупать или откупаться от воров и идти с ними на компромиссы, чем засаживать их в тюрьмы и подвергать соответствующим наказаниям.

— Да, но в силу необходимости приходится иногда делать многое.

— О, да, но вот в том-то и беда, что слово «необходимость» прикрывает очень многое. Конечно, никто не сомневается, что штат Нью-Йорк легко может справиться с этими антирентистами; я надеюсь, что он на верное справиться с ними. Значит, никакой другой надобности потакать им нет, кроме той неизменной надобности, какую ощущают наши демагоги заручиться наибольшим количеством избирательных голосов.

— Но при всем этом избирательные голоса довольно-таки сильное оружие в народном правлении.

— О, я этого не отрицаю и потому-то именно и говорю, что ни в каком случае не следует злоупотреблять правом подачи голосов.

— Насколько мне известно, вы, приятель, всегда стояли за всеобщую подачу голосов.

— Да, я за это и теперь стою, но лишь при том условии, что люди, пользующиеся правом голоса, будут все люди честные и порядочные; но я отнюдь не имею желания, чтобы власти, которым я, в качестве доброго гражданина, обязан покориться и повиноваться, избирались такими людьми, которые до тех пор будут вечно чем-нибудь недовольны, покуда не сумеют запустить свои руки в чужие карманы! От таких людей нельзя ждать ничего доброго. Пусть в нашу конституцию внесут такого рода параграф, что каждый голос, село, деревня, графство или община, проявившие явное неповиновение или нарушение закона, за таковое преступление лишаются на определенное время права подачи голосов; это живо убавило бы спеси всем этим самовольным нарушителям закона.

Было ясно, что только что предложенный прием поразил всех присутствующих своей новизной. Некоторые тотчас же открыто одобрили его, другие принялись обсуждать и размышлять на эту тему, кто вслух, кто про себя.

— Но как определите вы размер того участка, который должен быть подтвержден этому наказанию? — осведомился Хеббард.

— Понятно, его законными границами; если закон нарушен одним городом, то пусть этот город будет лишен права подачи голоса в течение известного периода времени; если же в том самом виновны несколько городов, то пусть это наказание распространится на эти несколько городов, и так далее.

— Но ведь таким образом вы наказываете вместе с виновными также невинных?! — заметил Хеббард.

— Да, но ведь это для общего же блага; к тому же вы согласитесь, что невинные наказываются наравне с виновными на тысячи различных ладов в нашем жизненном обиходе, это уже неизбежный порядок вещей, не нами созданный.

Разговор этот продолжался еще более часа. Холл энергично развивал свою мысль, излагал и отстаивал свои политические взгляды. Я слушал его с истинным удовольствием и не без некоторого удивления. В сущности, думал я, вот он настоящий-то, истинный гражданин нашей родины — нерв и пульс этой страны, и в штате, наверное, есть сотни и тысячи таких людей, так почему же они должны будут покориться своеволию распущенной, разнузданной толпы? Неужели же, в самом деле, все честные и разумные люди вечно остаются пассивными, а люди испорченные и развращенные находят в себе достаточно сил и энергии, чтобы всем орудовать?!

Когда я высказал эти мысли дяде, он мне отвечал следующее:

— Да, это всегда было так, и я боюсь, что оно и всегда так будет. Вот видишь, — сказал он мне, указывая на кучу газет, лежавших на столе, — вот эта язва нашей страны.

— Но ведь в газетах есть же и много хорошего.

— Не спорю, но от этого только еще хуже. Если бы эти журналы и газеты не содержали решительно ничего, кроме явной лжи, люди бы скоро отвернулись от них и не стали бы им верить; но скажи мне, много ли есть таких людей, которые безошибочно могут отличить хорошее от дурного и ложь от истины, там, где они так хитро сплетены!

— Но, однако, мне помнится, что знаменитый Джефферсон сказал, что если бы ему пришлось выбирать между правительством без газет или газетами без правительства, то он предпочел бы последнее.

— О, Джефферсон говорил не о таких газетах и журналах, каковы они стали теперь; я уже достаточно стар и могу судить о разнице тогдашних и теперешних газет. В его время две-три наглых лжи окончательно погубили бы любую газету, а теперь никто и целой тысячей не поперхнется.

В общем, дядя Ро, конечно, иногда заблуждался и ошибался, но все же я должен сознаться, что очень часто он бывал прав.

Глава VIII

Я еще вижу тебя; память, верная своему призванию, вызывает тебя из могилы во всей твоей красе; ты являешься при свете утра; ты около меня во тьме ночи; в моих сновидениях я встречаю тебя, как и прежде: твои прекрасные руки тогда обвиваются кругом моей шеи, и твой нежный голос шепчет мне на ухо; память пробуждается во всех моих чувствах. Я еще вижу тебя.

Спраг

На следующий день, около десяти часов утра, мы были в виду нашего старого родового гнезда Равенснест. Я назвал этот громадный барский дом старым потому, что в Америке каждое строение, простоявшее около полустолетия, неизбежно принимает старинный внушительный вид. Для меня же он, действительно, казался старым, так как с ним были связаны даже самые отдаленные мои воспоминания о родной семье. Здесь я провел мое детство, я привык смотреть на эти стены, как на свое будущее постоянное жилище, как на свой родной дом, каким он раньше был и для моего деда, и его семьи, и даже для прадеда. Все эти земли, которые теперь расстились перед нами, были моей собственностью и сделались они таковой без всякой неправды или несправедливости по отношению к кому бы то ни было, даже и к краснокожим, которые не могли назвать этот участок своей собственностью, потому что не имели на него никаких документов, но и те не были изгнаны с нее, как это делалось повсюду в то время, а первый из нашего рода, поселившийся здесь, откупил эту землю у этих людей, о чем свидетельствовал и Сускезус или, как его звали, краснокожий Равенснеста.

Мой дядя Ро также не мог смотреть без некоторого душевного волнения на наше родное жилище. И он тоже родился и вырос в этом доме, и он вспоминал с радостью и умилением, что наш род был единственным владельцем всех этих земель с самого основания Равенснеста.

— Так как же, Хегс, вот мы и дома, но что нам делать? Дойти ли нам до деревни, которая еще в четырех милях отсюда, и там позавтракать и отдохнуть, или же мы попытаем счастья проверить одного из наших арендаторов, или же мы сразу погрузимся *in medias res*, попросив приюта и убежища у моей матушки и твоей сестры?

— Этот последний шаг может иметь для нас весьма печальные последствия, — заметил я.

— Ах, да, почему бы нам не зайти и не заглянуть в вигвам *note 4* Сускезуса и узнать от него подробности всего того, что происходит вокруг?! Этот индеец тонкий имышленый наблюдатель, от него ничего не укроется, и он, вероятно, сумеет посвятить нас во все тайны его мнимых собратьев.

Это соображение заставило нас решиться направить наши шаги к хижине индейца и его друга негра. На краю обрыва ютилась его маленькая, бревенчатая хижина, носившая название вигвама, осененная с одной стороны громадными тенистыми деревьями девственного леса, и окруженная с другой — небольшим палисадником с цветником. Здесь уже много лет жили вдвоем два существа различных рас и вкусов, и характеров, отдаленный отпрыск низко павшей африканской расы и гордый потомок диких аборигенов этой страны. Хижина их начинала принимать какой-то старый, сгорбленный вид, но ее обитатели были, конечно, несравненно старше ее. Эти примеры долголетия, что бы о том ни говорили теоретики, весьма нередки среди негров и американских туземцев, причем негры отличаются этим в еще большей степени. Принято уверять, будто преклонный возраст, зачастую приписываемый этим людям, объясняется не столько истинным долголетием их, сколько тем обстоятельством, что никому в точности не известно время их рождения. Но все же люди, в очень преклонном возрасте, так часто встречаются среди негров и индейцев, в особенности в сравнении с незначительной численностью этих рас, что факт их долголетия не подлежит никакому сомнению.

Ни одна большая проезжая дорога не вела к вигваму, но так как хижина эта была построена на земле Равенснеста, то туда вела хорошенькая тропинка. Кроме того, к вигваму можно было добраться и по узенькой проселочной дороге, ведущей множеством извилин от барского дома к хижине старцев и проложенной нарочно для того, чтобы бабушка моя и сестра могли во время своих прогулок навещать своих старых друзей в их жилище.

По этой-то именно дороге мы приблизились к вигваму и уже издали увидели обоих старцев.

— Вот они оба! — воскликнул дядя. — Греют на солнышке свои старые кости. Знаешь ли, Хегс, что я никогда не мог их видеть, не испытывая известного чувства умиления и нежности к ним. Оба они были друзьями моего деда, несмотря на то, что один из них был его рабом, и с тех самых пор, как я начал себя помнить, это были уже пожилые, почти что старые люди, так как оба они старше моего покойного деда. Взгляни на этих двух стариков! Оба они остались верны своим привычкам и вкусам, несмотря даже на то, что они так долго прожили вместе; вот Сускезус сидит на камне, прислонив свое ружье к яблоне с полным презрением к труду, тогда как Джек копается в садике и если на самом деле и не делает никакого настоящего дела, то все же воображает, что занят работой, как бывший раб.

— Ну, а который из них, думаете вы, более счастлив, тот ли, который работает, или тот, который празднует свои дни?

— Я полагаю, что каждый из них находит счастье в том, что сохраняет свои исконные привычки. Индеец от природы ненавидит и презирает всякий труд, и я помню, по рассказам отца, как он был счастлив, узнав, что ему позволят проводить жизнь в полной праздности, не имея даже надобности плести корзины.

— Видите, дядя, Джек смотрит на нас, не лучше ли нам прямо подойти к ним?!

— Джеб как ни глядит, все же и половины того не увидит, что видит индеец; этот последний обладает во всех отношениях гораздо лучшими способностями, чем негр. Он человек очень разумный, симпатичный и в высшей степени проникательный. От него в былые годы ничто не могло укрыться. Однако надо, действительно, подойти к ним.

Мы решили сохранить и здесь строгое инкогнито и выдержать до конца свою роль. В тот момент, когда мы подходили к хижине, Джеб медленно поднялся от своей грядки и побрел к тому месту, где сидел индеец. Из этих двух представителей далекого поколения черный человек, если только его еще можно было назвать черным, так как лицо его было скорее темно-грязно-серого цвета, изменился сильнее, чем индеец. Что же касалось Сускезуса, или Бесследного, то его наполовину обнаженное тело (он был в своем национальном наряде) казалось вылитым из темной, немного потускневшей бронзы. Вся его фигура, хотя и слегка высохшая, напоминала собою окаменевшую мумию, одаренную, однако, своими жизненными способностями и, по-видимому, даже полную энергии. Только цвет кожи старого индейца стал менее ярким и менее блестящим, чем прежде.

— Саго, саго, — приветствовал индейца дядюшка, не видя никакой для себя опасности в употреблении этого обычного приветствия индейцев. — Корошеньки день! — обратился он к негру, — это ни моя разговор быть, guten Tag!

— Саго, — отозвался Бесследный своим звучным грудным голосом, тогда как старый Джеб только пошевелил своими большими отвислыми губами как бы для того, чтобы показать свои все еще прекрасные, крупные белые зубы, но не произнес ни звука. Как бывший раб Литтлпеджей он смотрел на разносчиков и странствующих музыкантов, как на низший класс людей, и относился к ним свысока. Прежние рабы — негры так сильно свыклись с семьей своих владельцев, в которых они часто были даже и рождены на свет, что они считали себя чем-то нераздельным с ними.

— Саго, — почтительно, но вместе с тем с полным чувством своего достоинства повторил еще раз индеец.

— Ошень коротенькая день! — вымолвил дядя, спокойно усаживаясь на кучу бревен, сложенных тут же, возле хижины, и отирая лоб платком. — Как ви називайт это место?

— Это? — не без некоторого презрения отозвался Джеб. — Это колония Йорк; а вы-то сами откуда, приятель, что этого не знаете?

— Мы с немецки сторона, короша сторона, мой сторона.

— А-а... — протянул негр.

— Кто быть шить в этот большая каменни дом? — продолжал расспрашивать дядя.

— О, всякий видит, вы не Йоркский житель, по вашему вопросу. Кто же не знает, что здесь живет генерал Литтлпедж!

— О, я думать, он быть давно умер.

— Да что же из этого! Это его дом и усадьба и все поместье! И старая, и молодая барыня, и дети — все здесь живут.

В роду Литтлпеджей было три поколения генералов. Третий и последний из них был мой дед Мордаунт Литтлпедж.

— А кто сейчаси хозяин этот большая дом?

— Генерал Литтлпедж, я вам говорю! Мой властелин мистер Мордаунт Литтлпедж, мой молодой барин, вот кто! — торжественно и не без гордости пояснил он. — Теперь негры становятся уже редки здесь, в этой части света, я здесь один теперь, — добавил он.

— И индейцы тоже, я полагайт, нет Польше Красни Кож! Но быть скоро прийти много, много, — заметил я.

При этих словах индеец вскочил на ноги и уставился на меня испытующим взором; движение его было поистине прекрасно и величественно. До этой минуты он не проронил ни слова, кроме своего приветствия, но теперь я заметил, что он намеревался сказать что-то.

— Новое племя? — произнес он. — Как вы их называете? Откуда они пришли?

— Ja, ja, это быть Красни Кож, антирентистки. Вы не видайт? Не видайт инджиенс?

— А... да, они меня навестили... Рожи в мешках! .. Какие люди! Бедные краснокожие, бедные, славные, честные, краснокожие воины!

— Ah, ja, это не корош инджиенс, я такой инджиенс не любил. Как вы их называет?

Сускезус только покачал на это головой, затем еще раз взгляделся в дядю, после чего медленно перевел свой взгляд на меня. Несколько раз я замечал, что он смотрел попеременно то на меня, то на дядю, затем опустил глаза медленно в землю, не сказав ни слова.

Я взялся за свои гусли и сыграл на них одну из очень популярных среди негров песенок. Сускезус как-будто вовсе даже не слушал моей музыки, но я заметил, что по лицу его скользнуло выражение, похожее на тень презрительности; но Джеп весь как-будто ожил при звуках этой песни, даже ноги его поводило какое-то характерное движение, говорившее как нельзя более ясно, что он готов хоть сейчас пуститься в пляс, а сморщенное, изборожденное морщинами лицо негра улыбалось только ему одному свойственной, широкой, не то грустной, не то веселой улыбкой, освещавшей все его лицо каким-то особенным внутренним светом.

Вдруг раздался вблизи хижины стук или вернее, шум катившихся по песку колес, и легкий, очень знакомый мне экипаж, запряженный парой превосходных лошадей, обогнув сарай и навес, примыкавшие к хижине, остановился шагах в десяти от того места, где мы сидели на бревнах. Бабушка моя, сестра моя Марта, две воспитанницы дяди Ро и прелестная Мэри Уоррен сидели в экипаже. Привлекательная, конфузливая, но вместе с тем умненькая и живая дочь священника, казалось, была в этом обществе совершенно своим человеком и чувствовала себя там совершенно как дома. Она заговорила первая, обращаясь к моей сестре:

— Вот видите, Марта, это те самые две личности, о которых я вам уже говорила; теперь вы услышите прекраснейшую игру на флейте.

— Я буду очень рада его послушать, хотя сомневаюсь, чтобы он мог играть лучше Хегса. Но все же он, вероятно, своей музыкой напомнит мне отсутствующего брата.

— Послушаем музыку, дитя мое, это всегда приятно, но нам вовсе нет надобности в ней для того, чтобы напомнить нам о нашем дорогом мальчике, ведь он и без того всегда живет в нашем воспоминании. Добрый день, Сускезус! Надеюсь, вы довольны этой прекрасной погодой? — обратилась она к индейцу.

— Саго, — произнес Сускезус, делая рукой движение, полное грации и гордого достоинства, причем он не поднялся с места. — Да, Великий Дух добр, он дал нам добрый день сегодня, добр ли он и ко всем вам?

— Благодарю, мы все, слава Богу, чувствуем себя прекрасно. Добрый день, Джеп, — обратилась она к негру, — как чувствуете вы себя в эту чудесную погоду?

Джеп, пошатываясь, поднялся со своего места, почтительно и низко поклонился и отвечал своим обычным почтительным и в то же время немного фамильярным тоном верного долголетнего слуги.

— Спасибо вам, мисс Дуз (он все еще по старой памяти называл бабушку ее уменьшительным девичьим именем). От всего сердца благодарю вас. Я чувствую себя прекрасно, а вот только ваш старый Суз, он вот стареет и слабеет с каждым днем.

Эта спица в чужом глазу, представлявшаяся бревном старому Джепу, показалась всем настолько забавной, что все присутствующие невольно улыбнулись; я особенно был в восторге от смеющихся лучистых глаз прелестной Мэри Уоррен, где промелькнуло выражение чисто детской шаловливой веселости, несмотря на то, что она не произнесла при этом ни единого слова.

— Скажите-ка мне, мисс Дуз, — продолжал Джеп, — правда ли это, что в Сатанское построили город?

— Нет, Джеп, намерение такое было, и даже сделана была попытка, но мне кажется, что из Сатанское никогда ничего, кроме отличной фермы, не выйдет.

— Тем лучше! — решил негр. — Это хорошая, очень хорошая земля; один акр той земли лучше двадцати акров здешней.

— Мой внук был бы весьма обижен вашим мнением, если бы он мог вас слышать теперь, Джеп.

— Ваш внук, — засмеялся недоверчиво старый негр, — что вы, мисс Дуз, я помню, что у вас недавно родился маленький ребенок, но ведь у этого дитяти не может быть детей.

— Ах, друг мой Джеп, все мои дети давно уже стали взрослыми мужчинами и женщинами, и теперь уже все они немолоды: один из них уже переселился раньше меня в лучший из миров, а его сын теперь ваш молодой владелец, а эта барышня — его сестра, и ей было бы очень обидно думать, что вы ее забыли, Джеп.

Дело в том, что Джеп оказался в весьма затруднительном положении, благодаря одному недостатку, довольно часто встречающемуся у людей старых; память его удерживала только давно прошедшее, а все новейшие события он никоим образом не мог удержать в своей памяти, они как-то сливались и пропадали. Однако, несмотря на то, что в данный момент он совершенно забыл о моем существовании, а также забыл и моих покойных родителей, он все же отлично знал и помнил мою сестру, которая частенько навещала его. Каким образом он привел в связь в своем уме существование этой девушки с нашей семьей, я не могу себе представить, но он знал ее и в лицо, и по имени, и даже по какому-то бессознательному чутью.

— О! .. — с необычным для его возраста оживлением и поспешностью воскликнул Джеп. — О, я хорошо знаю мисс Пэтт! Я никогда не забывал мисс Пэтти; она такая красавица! Она каждый раз, когда я ее вижу, все красивее и красивее. Яу! Яу! Яу! — захохотал старый негр; смех его звучал как-то даже жутко, но вместе с тем, как и смех всякого негра, он отличался каким-то своеобразным весельем. — Яу! Яу! Яу! .. О, мисс Пэтти, она писаная красавица, совсем похожа на мисс Дуз. Я думаю, что мисс Пэтт родилась в год смерти генерала Вашингтона.

Так как этот срок рождения сделал бы нашу маленькую Пэтт более чем вдвое старше ее действительного возраста, то все молодые девушки невольно рассмеялись. Выражение, похожее на слабую улыбку, мелькнуло и по лицу важного и молчаливого индейца; очевидно, он лучше старого Джепа помнил хронологию событий всей нашей семьи.

— Какие у вас гости сегодня, друзья мои? — осведомилась бабушка, приветливо кивая в нашу сторону; мы поспешили встать, чтобы ответить низким поклоном на ее приветствие.

— Это, как видно, разносчики, мелкие торговцы, при них есть ящики с каким-то товаром, и этот молодой человек играет на таком инструменте, какого я никогда раньше не видал. Послушайте, молодой человек, сыграйте что-нибудь для барышни, — что-нибудь такое, от чего бы старому негру захотелось плясать, как давеча.

Я только что взял свои гусли и начал уж было наигрывать на них ритурнель, как вдруг был прерван столь приятным мне нежным, мягким голосом, казавшимся еще более мягким и ласкающим вследствие некоторой поспешности.

— О, нет, не это, не это! Возьмите флейту, флейту! — воскликнула Мэри Уоррен, покраснев до ушей от своей собственной смелости с того момента, как она заметила, что я услышал ее слова и уж готовился ей повиноваться.

Почтительно поклонившись, я отложил в сторону свои гусли, достал из футляра свою флейту и стал исполнять на ней отрывки из новейших, только что вошедших в моду опер. Едва я успел сыграть несколько тактов, как заметил, что яркая краска румянца залила прелестное личико моей сестры, и по отразившемуся в ее чертах волнению я понял, что моя музыка живо напомнила ей брата. Добрая бабушка моя слушала меня с величайшим вниманием, а все четыре барышни остались в восторге от моего исполнения.

— Музыка ваша заслуживает того, чтобы ее послушать в гостиной, а не на улице, — ласково обратилась ко мне бабушка, когда я окончил. — Надеюсь, что мы услышим ее сегодня вечером в нашем доме, если только вы рассчитываете еще пробыть здесь некоторое время; а теперь мы будем продолжать нашу прогулку.

Говоря это, бабушка милостиво наклонилась ко мне и протянула мне руку с ласковой, приветливой улыбкой. Я подошел к ней ближе и, приняв из ее руки доллар, который она мне подала, приник к ее руке не только почтительным, но и горячим поцелуем. Экипаж тронулся, но все же я успел прочесть на почтенном лице моей дорогой бабушки выражение удивления и недоумения. Моя горячая благодарность, очевидно, поразила ее. А дядя Ро поспешно отошел в сторону, желая скрыть душившие его слезы умиления, и Джек последовал за ним по направлению к дверям хижины, в которой они оба тотчас же и скрылись.

Я остался один со старым индейцем.

— Почему было не поцеловать в лицо свою родную бабушку? — спросил тот своим обычным, спокойным, ровным голосом.

Если бы в этот момент над моей головой разразился с безоблачных небес оглушительный удар грома, то он поразил бы меня менее, чем эти слова старика.

Как, этот парик, этот наряд, который мог обмануть глаз самых близких мне людей, который ввел в заблуждение лукавого и проницательного Сенеку, не мог обмануть зорких глаз этого проклятого индейца?!

— Возможно ли, Сускезус, что вы меня узнали? — воскликнул я. — Неужели вы так хорошо помните мои черты? Я полагал, что наряд и парик делают меня совершенно неузнаваемым для всех знавших меня людей.

— Понятно, что я сразу, как только увидел, узнал молодого господина; я знал его отца, его мать, знал и деда, и бабушку, знал и прадеда, и его отца, как же мог я не знать или забыть молодого господина?!

— Неужели вы узнали меня раньше, чем я поцеловал руку бабушки, или же я этим себя выдал?

— Я узнал вас, как только вас увидел, и вас, и вашего дядю. Добро пожаловать!

— Но вы не скажете никому о том, что вы нас узнали? Бесследный, ведь мы всегда были друзьями, и я на вас надеюсь!

— Конечно, мы всегда были друзьями, — подтвердил торжественно индеец. — К чему же старому, седовласому орлу заклевывать молоденького голубя? Никогда еще топор не врубался в тропу между Сускезусом и кем-либо из племени обитателей Равенснеста. Теперь я слишком стар, чтобы вновь вырыть свой топор.

— У нас на то есть самые основательные причины, чтобы нас здесь никто не знал в течение некоторого времени, Сускезус, вы меня понимаете?

Индеец утвердительно кивнул головой.

— Арендаторам надоело платить нам следуемую за наши земли арендную плату или так называемую ренту; они желают заключить теперь совсем иные, более выгодные для себя условия, в силу которых они бы стали хозяевами тех ферм, которые они теперь арендуют.

Нечто похожее на волнение отразилось в чертах мрачного индейца, губы его дрогнули, но он не сказал ни слова.

— Слыхали вы об этом что-нибудь, Сускезус? — спросил я.

— Маленькая птичка пела мне эту песню на ушко, — ответил он, — но я не захотел ее слушать.

Он, очевидно, намекал на мою сестру или кого-либо из молодых барышень из нашего дома.

— А про этих индейцев, вооруженных ружьями и закутанных в красный коленкор, вы слыхали?

— Какого они племени, эти инджиенсы? — спросил Бесследный с необычайной живостью и воодушевлением, которого я никак не ожидал встретить в нем. — Что они делают, эти люди? Они идут по тропе войны по всей этой стране, э-э!

— Они принадлежат к племени антирентистов, слыхали вы о таком народе?

— Бедные, бедные инджиенсы! К чему было явиться так поздно? Почему было не прийти тогда, когда еще ноги старого Сускезуса были легче крыльев птицы? О, зачем они дождались, покуда бледнолицые не стали многочисленнее листьев на деревьях наших лесов или снежинок, выпадающих зимой? Сто лет тому назад, когда этот дуб был еще молод, племя инджиенсов еще что-нибудь значило, а теперь — ничего!

— Но, Суз, вы сохраните, друг мой, нашу тайну, не так ли? Не говорите никому ни слова о том, кто мы, ни даже вашему старому приятелю негру.

Бесследный утвердительно кивнул головой, затем как будто впал в какое-то раздумье или же просто дремотное состояние, очевидно, не желая долее продолжать этот разговор. Тогда я подошел к дяде и передал ему о всем случившемся. Он был, понятно, не менее меня удивлен, несмотря на то, что проницательность старого индейца и его способность к наблюдению были ему давно знакомы. Понятно, что опасаться быть выданным им кому бы то ни было не было никакой надобности, на честность и рыцарские качества, а также на благородство натуры этого человека можно было всегда смело рассчитывать.

Он видит коттедж, с двумя флигелями, коттедж богатых людей; и дьявол радуется, так как его любимый грех это гордость, как обезьяна, подражающая смирению.

«Мысли дьявола»

Нам предстояло решить теперь важный вопрос: куда нам следует направить отсюда свой путь? Поразмыслив, мы решили посетить некоторые дворы в поселке, расположенном вблизи нашего родового гнезда, усадьбы Равенснест, а не идти еще сегодня на село, отстоявшее более чем в четырех милях отсюда. Затем мы намеревались приискать себе более или менее подходящее помещение для ночлега где-нибудь по соседству с барским домом. Дядюшка считал необходимым сохранять до поры до времени самое строгое инкогнито для всех, не исключая даже и наших родных, чтобы иметь возможность разузнать вполне настоящее положение дела и намерения антирентистов.

Итак, мы скоро распрощались с индейцем и его сожителем, старым негром, пообещав им побывать у них еще раз в течение завтрашнего дня, и побрели каждый со своей ношей по той тропинке, что вела на ферму. Там мы надеялись встретить хороший прием, так как на этой нашей ферме уже с давних пор работал и хозяйничал некий Миллер со своей семьей, состоявшей из него самого, его жены и шести или семи человек детей, по большей части подростков.

— Том Миллер, сколько помнится, был прежде славный человек, на которого можно было положиться, — заметил дядя, когда мы стали подходить к овину, в котором работал сам Миллер и его семья. — Но во всяком случае будет лучше, если мы не откроемся ему.

— Я вполне того же мнения, дядя, — ответил я. — Как знать, в самом деле, не возымел ли он того же желания, как и все остальные, присвоить себе ту ферму, на которой он теперь живет и работает. Ведь несмотря на то, что он ее у нас не арендует, а обрабатывает для нас за известное вознаграждение, все же он имеет на нее те же права, как и все остальные, не так ли? А любовь к деньгам и наживе — такой всемогущий источник зла, что когда эти чувства овладевают человеком, то никогда нельзя поручиться за него, что он того-то или того-то не сделает.

— Ты прав, Хегс, ты прав, но вот мы подошли уже так близко, что они нас могут слышать; пора опять стать немцами.

— Guten Tag. Guten Tag, — проговорил дядя, входя в овин, где Миллер, два его старших сына и несколько работников натачивали свои косы, готовясь к покосу, — порядочно шарко! Этот короша день.

— Здорово! Здорово! — весело отозвался Миллер, окинув нас бойким, проворным взглядом. — Что вы продаете? Духи, помаду, эссенции какие.

— Oh, nein! Часи, солоти вешши разни, — ответил дядя, раскрывая свой ящичек, — вы, мошет, будет покупайт корош часи?

— А они чистого золота? — осведомился Миллер.

— Nein, nein... не шисти солот, nein, это я не мошет сказывать, это быть не чисти солот, но это быть ошень корош вешши для простой человек, как ви и я, а совсем не для таких важных бар, как эти знатные господа, там.

— Да, эти вещи, конечно, не были бы достаточно хороши в большом доме! — воскликнул с едкой насмешкой в голосе один из работников, которого, как я узнал впоследствии, звали Джошуа Бриггам. — Так, значит, вы свой товар предназначаете исключительно бедным людям, не так ли?

— Я мой товари преднаснашает для всякой человек, какой дала за него деньги, — ответил продавец. — Желает ви имейт часи?

— И очень бы желал — и не только одни часы, но еще и целую ферму в придачу, если бы только я мог получить дешево и то, и другое, — ответил Бриггам тем же злобным голосом. — Почем вы нынче продаете фермы? — добавил он.

— Я не имейт ни какой фэрм; я продавайт часи и разни солотой вешши, а не фэрм, я продавайт што я имейт, што я не имейт, я не продавайт.

— О, у вас будет все, чего вы только пожелаете, если вы пробудете подольше в этой стране! Ведь эта страна свободная, и самое подходящее место для бедного человека, — продолжал Бриггам, — и если это не совсем так сейчас, то вскоре будет так, как я вам говорю, как только мы избавимся от всех этих землевладельцев и аристократов.

На это дядя, приняв самый простодушный вид, сказал:

— Ай, ай, а я слыхайт, што в Америку не быть никакой барон, ни аристокрад, што здесь не быть ни одна граф на всей сторона.

— О, и здесь есть всякого рода люди, как и везде, — заметил Миллер, спокойно усаживаясь на валявшийся на земле обрубок, для того, чтобы открыть и рассмотреть часы, которые он держал в руках. — Но этот Джошуа, которого вы видите перед собой, называет аристократами всех, кто сколько-нибудь стоит выше него, хотя сам он отнюдь не хочет называть себе равными тех, которые ниже него.

Эти слова степенного Миллера очень понравились мне, особенно же тот спокойный, решительный тон, которым они были сказаны. Судя по этому тону его можно было видеть, что это человек, смотрящий правильно на вещи и не желающий ни перед кем скрывать своего мнения. Я видел, что и дядя остался весьма доволен и тоном, и словами своего собеседника и, очевидно, намеревался продолжать с ним разговор.

— Снашет, в Америку нэт никакая благородная дфорян?

— О, как же, у нас здесь много таких важных господ и бар, как вот наш Джошуа, которому до того хочется вскарабкаться повыше других, что он был бы не прочь добраться и до графа, и до герцога, лишь бы никого не было выше его. А я ему все и говорю: дружище, ты больно прытко лезешь вперед, нехорошо, брат, корчить барина, пока еще не отучился в кулак сморкаться! Ха, ха, ха! — добродушно подшутил он.

Джошуа, казалось, был немного сконфужен этим замечанием, высказанным ему человеком его же класса, стоявшем почти что на одном уровне с ним и всеми уважаемым, тем более, что внутренне он признавал, что тот был прав. Но в него вселился какой-то неугомонный демон, он себя уверил, что он поборник какой-то священной идеи, не менее великой и святой, чем самая свобода, и потому не хотел сдаваться.

— Возьмем хоть этих Литтлпеджей, ну, чем они лучше других?

— Мне кажется, что лучше о них совсем не говорить, Джошуа, так как ты эту семью совсем не знаешь.

— Да мне и знать ее не надо, на что мне, я их презираю!

— Нет, милый мой, ты их совсем не презираешь, ты им завидуешь, а тем, кому мы в чем-либо завидуем, тех мы не можем презирать. О людях, которых мы, действительно, презираем, мы никогда не станем говорить с такой горечью. Что вы хотите за эти часы, почтеннейший? — обратился он к дяде.

— Шетыре доллара, — ответил продавец.

— Четыре доллара, — повторил как-то не то удивленно, не то недоверчиво Том Миллер, — я боюсь, что часы эти, пожалуй, не очень важные, — добавил он, начиная сомневаться в их достоинствах, вследствие непомерно дешевой цены. — Дайте-ка, я еще раз взгляну на механизм.

Замечательно то, что ни один человек никогда не купил часов, не посмотрев предварительно некоторое время с должным вниманием на механизм, хотя, собственно говоря, судить о достоинствах или недостатках механизма по взгляду может только механик, да и то еще не всякий. Итак, Том Миллер поступил на этот раз точно так же, как поступают все в этих случаях. Внешний вид часов да и до крайности дешевая цена их очень прельщала его. То же самое действие произвело это обстоятельство и на Джошуа.

— Что стоят вот эти часы? — спросил он, беря в руки точно такие же часы, как те, которые держал Миллер.

— Сорок долларов! — резко ответил дядя.

Оба покупателя удивленно уставились на продавца при этих словах; они, казалось, положительно не верили своим ушам. Миллер, не проронив ни слова, взял из руки своего работника часы и внимательно разглядывал их, сравнивая их с теми, которые он раньше держал в руках, после чего он снова обратился к дяде и спросил о цене.

— Для ви, тот или другая все рафно шетыре доллара, — ответил продавец.

Это подало повод к новому удивлению. К счастью, однако, Бриггам приписал всю эту странность простой ошибке или оговорке иностранца.

— А-а мне слышалось, что вы сказали сорок, четыре — это дело другое.

Но Миллер понял, что тут дело не в ошибке вовсе, и потому решил удалить своего работника.

— Джошуа, друг мой, вам с Питером уже пора пойти и позаботиться об овцах; сейчас будут сзывать к обеду, а если ты захочешь приторговать себе часы, то можешь это сделать, когда вернешься. Идите, ребята, живо!

Несмотря на эту бесцеремонность и простонародный разговор, Миллер, очевидно, умел приказывать, как настоящий хозяин своим рабочим. Он отдал свои распоряжения спокойным, дружественным тоном, но так, что не было никакой возможности его послушаться. Минуту спустя оба его работника, отложив в сторону свои косы, вышли из овина.

— Ну, теперь, — сказал он, — вы, быть может, назначите мне настоящую цену за эти часы?

— Я гофорила, шетыре доллар, што я гофорила одна рас, то сегда бывает.

— Ну, в таком случае я их возьму, хотя я, право, желал бы, чтобы вы у меня спросили вдвое дороже, несмотря на то, что четыре доллара для меня далеко не лишние в кармане; ведь я

человек небогатый, семья большая; но, право, уж это больно дешево за такие часы, так что меня даже сомнение берет на этот счет. Но будь, что будет, попробую рискнуть на этот раз; вот получите ваши деньги, все новенькой монетой,

— весело добавил он.

— Благодарстите, mein Herr, благодарстите... а ваш дами не пошеляйт купил какое-нибудь прош, прослети, колешки?

— О, если вы хотите таких дам, которые покупают браслеты и колечки, так это вам придется искать не у меня на ферме. Моя жена не знала бы, что ей делать с такими украшениями, она у меня не смеет корчить барыню, она простая баба и пусть ею и будет, и всякий разумный человек ей в уважении за это не откажет. Вот этот парень, что сейчас пошел к овцам, это — единственный важный барин у меня на ферме.

— Ja, ja, это быть большой барин, в грязная сорошка, ха, ха, ха! .. Пошему он имела такой високая шувства о себе, о своя персон? ..

— Да потому, что хочет задрать рыло выше своей головы и каждый раз выходит из себя, когда ему встречается какое-нибудь препятствие. У нас в стране немало таких парней развелось теперь, от них только одно беспокойство и досада. Знаете ли, дети, мне, право, кажется, что этот Джошуа состоит в числе индженсов.

— Я это знаю наверное, — сказал старший из сыновей Миллера, мальчик лет восемнадцати — девятнадцати, — иначе куда бы он мог пропадать каждую ночь после работы, а в воскресенье его целый день никто не видит; уж, верно, он ходит на их сходки и потому приходит каждый раз все злее и злее на людей. Да и что это за сверток бурого коленкора, что я наемдни видел у него под мышкой, помнишь, отец, я ведь еще тогда же говорил об этом.

— Да, что-то помнится, но я тогда не придал этому никакого особого значения; но теперь, если я узнаю, что это в самом деле так, Гарри, то он немедленно уберется отсюда. Я не хочу, чтобы у нас здесь были индженсы.

— О, я думает, я фидел там одна штараая индеец в избушечка, у самы лес.

— О, это Сускезус, наш старый онондаго, это настоящий индеец; он старый, знатный воин, а у нас здесь целые толпы всяких негодяев и воров, выряженных индейцами, рыскают по стране и проделывают всякие безобразия. Закон, конечно, против них и правда также, и все истинные сторонники свободы в стране тоже должны были бы быть против них.

— А стесь, в Америку, сакон тоше тает больше покровительство богаты шеловек, шем бедны? И ви имейт сдесь такой аристократ, который никакой подать и пофинность не плотил, а плотил все одни бедни? И у фас богати забирал себе все корош долшности и брал на свой карман казенни деньги, да?

Миллер расхохотался, отрицательно качая головой.

— Нет, нет, приятель, ничего такого у нас, слава Богу, нет и не было. У нас люди богатые редко занимают какие-нибудь должности, что же касается налогов и податей, то и богатые платят их наравне с бедными, если только не вдвое больше; вот хотя бы Литтлпеджи, они сами платят казенную подать или казенный налог за эту ферму, и она оценена вдвое выше любой другой фермы на их земле.

— Но это не быть справедливо!

— Несправедливо! Да кто же беспокоится об этом; я своими ушами слышал, как сборщики и оценщики между собой рассуждали: это богатый человек, он в состоянии платить и вдвое больше, а тот вон, бедный, у него семья, ему ведь трудно. Не то, так другое, они всегда найдут такую оговорку, чем оправдать свою несправедливость.

— Но федь у фас есть закон! Он мошет шаловаться на суд!

— О, суд! Что такое у нас суд! Присяжным может быть всякий, и эти люди решают самые важные вопросы по своему капризу или усмотрению, нимало не справляясь даже и с чувством справедливости. И редкий состоятельный человек выигрывает свою тяжбу или свое дело в суде, у нас уже такой порядок, и всякий его знает.

— О, так этот богат шеловек совсем не аристокрад, ни-ни...

— Не знаю, право, но так у нас называют всех землевладельцев, а я хотя часто слышу и читаю об аристократах, но хорошенько не знаю, что это слово значит. Может быть, вы об этом знаете?

— Oh, ja, oh, ja! Аристокрад, то быть шеловек котори имеют всякой власти в стране и в прафительство.

— О, да по-нашему это называется король! Ну, а у нас вся власть в руках людей, которые называются «демагогами», а те, которых у нас называют аристократами, у тех нет власти ни на грош. У нас было за последнее время много сходок, на которых ужасно много говорилось о правах фермеров на владение возделываемыми ими фермами, об аристократах и феодальных повинностях. Не знаете ли вы, что это за штука эти феодальные повинности?

— Oh, ja! Этого быть ошень много в Deutschland, в моя сторона. Это быть главная штука, такой, што каждая фассал долшна разная услуга и повинность для свой господин. В моя сторона этот фассал — это быть вашна господин, она долшна быть на война и платить деньги свой король или принц.

— Ну, а нести в уплату ренты вместо денег курицу, вы это не называете там феодальной повинностью?

И дядя Ро, и я, мы оба от души расхохотались на это.

— О, если господин имела прафо придет и взять, сколько он хошет курицы или зипленка и ходить так шасто, как он то хошет, о, тогда это быть покош на феодальни прафо, но ешли ви долшен кашний год дать ваша господин десять или двадцать курица и зипленка, то это все равно, как деньги, рента.

— Мне кажется и самому, что это так, но у нас многие считают для себя крайне унижительным нести на кухню землевладельца определенное число дворовой птицы, оговоренное в условии.

— О, он мошет посылал какой маленьки мальшик или девошек, если он сами не хотел ходить на кухня.

— Ну, да, конечно! — обрадовался Миллер. — Запомните-ка это, дети, чтобы я мог сказать это самое за ужином нашему Джошуа.

— А если сама господин долшна своя портной или своя сапошник, он тоше долшна ходить до его лавка и отдавайт деньги!

— Конечно, это правда.

— Так отшего ше эти шеловеки быть недовольная?

— Да они недовольны тем, что им приходится платить ренту, они полагают, что следовало бы принудить землевладельцев продать им те фермы, которые они у них доселе арендовали, или, что еще того лучше, принудить их уступить арендаторам все свои земли безвозмездно.

— Но если землефладелес не шелает продафайт свой ферма, как может это его заставляйт продавайт? Тошно так как никто не мошет заставляйт продафайт арендатора его овсы, баран и швинья, если он не шелайт их продафайт.

— Мне кажется, что он прав, что вы думаете, дети? Как ваше имя, приятель? Мы, вероятно, еще будем видаться с вами, так вы уж скажите мне ваше имя.

— Мене совут Грейзембах и я родом с Прейссен.

— Так вот же, мистер Грейзембах, вы спрашиваете, чем эти люди недовольны? Они недовольны еще надменностью старой госпожи Литтлпедж, которая со своими барышнями никогда не посещает бедных людей.

— О, ну што же делайт, если у шеловека нету добрая сердце, нету шалости к бедная, несчастная люди, это не корошо...

— Да нет же, таких-то бедных они навещают и помогают им больше, чем кто-либо, этого нельзя не сказать, а вот я говорю о тех бедных, которые ни в чем не нуждаются.

— О-о-о... — протянул мнимый немец. — О такой бедни не ошень шалко и для мене... котори нишего не нушдается. Ви мошет думает, этот старий мадам не шелает иметь компании с такой людей, котори не такой богати, как он сам и не такой важни?

— Да, да, именно это я и хотел сказать, и знаете, я должен в том сознаться, что в этом есть доля правды; эти барышни никогда не навещают, например, хоть мою Китти, а она, право, такое милое существо, какого нет второго во всей окрестности.

— А ваша Китти навещайт тот барышня, што шивет тот дом на пригорка? — спросил мой дядюшка, указывая на убогую хижину бедного однодворца.

— Нет, Китти моя не гордячка, но я бы не желал, чтобы она там часто бывала.

— О, о! Так ви быть аристокрад! Ви не пускайт ваша дош к дош эта бедная шеловек.

— Нет! Ко только я вам говорю, что моя дочь не будет ходить к дочери старого Стевена.

— О, ну-у... он мошет делайт, как он шелайт, ваш дош, но я полагайт, и мамзели Литтлпедж мошет делайт, как он шелайт.

— Барышень Литтлпедж всего одна, а остальные, которых вы сегодня утром видели, это — две барышни из Йорка и дочь нашего сельского священника Уоррена.

— А, этот мистер Уоррен, этот священник быть богати шеловек?

— О, нет, он только тем и живет, что получает с прихода.

— И этот мамзель Уоррен быть подруг от мамзель Литтлпедж?

— Да, самая закадычная ее подруга. Еще набивается к барышне Литтлпедж в подруги одна девица, мисс Оппортюнити Ньюкем, но ей далеко не тот почет в большом доме, как Мэри Уоррен.

— А какой быть богаше?

— Которая богаче? Да у Мэри Уоррен гроша нет за душою, а мисс Ньюкем считается не менее богатой, чем мисс Пэтти Литтлпедж; но ее там не жалуют.

— О-о-о... так знашет, мамзель Литтлпедж делала себе подруга не с богата девушка, так, мошет быть, он не такой аристокрад, как ви думает, хэ?!

Этот аргумент, очевидно, поразил Миллера.

— Да, — сказал он по некотором размышлении, — мне кажется, пожалуй, что вы правы, но и жена моя, и Китти об этом совсем иного мнения... И хотя я лично ни в чем не жалею на Литтлпеджей, а все же и я считал их до сих пор заклетыми аристократами.

— Oh, nein! Фот тот, котори ви называйт демагог, фот тот аристокрад у вас, в Америку.

— А, право, черт возьми, ведь это, может быть, так и есть на самом деле! — весело воскликнул Миллер.

— А этот важный мадам Литтлпедж ласково принимайт те, кто к ней пришел гости?

— О, да, конечно, она всех принимает очень ласково и приветливо, лишь бы те, кто к ней приходит, были вежливы с ней, а то вот я сам видел недавно, как самые простые люди входили прямо в комнату старой госпожи Литтлпедж и, не поздоровавшись с нею, подвигали кресло к огню, жевали табак и плевали прямо и на пол, и на ковры, не подумав даже снять шляпы. А люди эти очень чувствительны во всем, что только касается их личной важности, а о чувствах других они нисколько не справляются. Уж такой народ пошел...

На этом месте наш разговор был прерван шумом колес; оглянувшись, мы увидели экипаж бабушки, остановившийся у ворот фермы. Миллер счел нужным подойти к экипажу, чтобы осведомиться, не его ли желает видеть барыня по какому-нибудь делу. Мы с дядюшкой шли за ним.

Глава X

Хотите ли вы купить ленту или кружево к вашему плащу, идите взглянуть на разносчика. Деньги это посредник, сближающий всех людей.

«Зимние сказки»

В экипаже сидели две девушки, все они были почти красавицы, каждая в своем роде; в Америке удивительно редко можно встретить молодую женщину, которая была бы, так сказать, положительно дурна собой.

На пороге дома стояла Китти, и она была почти красавицею в своем роде — это был пышный, полный расцвет яркой здоровой красоты и молодости.

Все эти красивые живые глазки заблестели и весело заискрились, когда я появился со своей флейтой в руках, но ни одна из девушек не произнесла ни слова.

— Купите часы, мадам, пожалуйста, — обратился к бабушке дядя Ро, раскрывая перед ней свой ящичек и приподняв из вежливости шляпу.

— Благодарю, мой друг, — ласково отозвалась она, — благодарю, но у нас у всех есть уже часы.

— Моя часы очень дешево.

— Я вам верю, — возразила, улыбаясь, бабушка, — хотя обыкновенно дешевые часы не всегда хороши, но вот этот хорошенький карандашик, он золотой?

— Oh, ja, мадам, он быть шиста золотой.

— А сколько он стоит?

Дядя назвал настоящую стоимость предмета, которая равнялась пятнадцати долларам.

— Так я беру его, — сказала бабушка, опустив в ящик вышеупомянутую сумму и затем, обратившись к Мэри Уоррен, она просила ее принять от нее на память эту хорошенькую безделушку.

Прелестное личико Мэри покрылось ярким румянцем, и она приняла предложенную ей вещицу, хотя с минуту мне казалось, что она не решалась на этот шаг, вероятно, смущенная значительной стоимостью вещи.

— Смотрите, мадам Литтлпедж, — добродушно воскликнул Том Миллер, — какой странный этот наш торговец; он просит пятнадцать долларов за эту безделушку, за маленький карандашик и всего только четыре доллара вот за эти часы, смотрите! — И он протянул бабушке свою покупку.

Та взяла из его рук часы и некоторое время внимательно разглядывала их.

— Мне кажется, мой друг, что это до крайности дешевая цена! Я удивлена этим не менее, чем вы, — добавила она, бросая на продавца недоверчивый взгляд. — Я знаю, — продолжала она, — что там, в Европе, эти вещи изготавливаются по крайне недорогой цене, но все же четыре доллара уж это что-то чересчур дешево.

— У менэ, мадам, быть часы на всяки цени.

— Я бы желала купить очень хорошие дамские часы, но боюсь решиться купить их где бы то ни было, кроме какого-нибудь известного, с хорошей прочной репутацией, магазина.

— О, не сомневайтесь мадам, я обмануть не будет такой короши дам.

Бабушка все еще как будто колебалась.

— Но все эти часы не такого металла, как я бы желала, — заметила она, — я бы желала часы чистого золота и хорошей работы.

В ответ на это дядя достал из кармана прелестнейшие дамские часики, купленные в Париже за пятьсот франков у Блонделя, и подал их своей почтенной покупательнице.

Та не без удивления прочла на крышке имя фабриканта и, тщательно осмотрев прелестные часики, осведомилась о цене.

— Сто доллар, мадам; и это быть очень дешево за такой часи.

При этих словах Том Миллер взглянул на свои часы, затем на те, которые бабушка держала в руках, такие маленькие, точно игрушечные, и, очевидно, молча, подумал о разнице, делаемой торговцем для бедных и богатых покупателей.

Но бабушка несколько не удивилась этой высокой цене, хотя еще раз или два как будто недоверчиво взглянула на торговца.

— Так вот, если хотите, — сказала она, — принесите мне эти часики сегодня вечером вон в этот большой дом, я там живу; тогда я вам уплачу эти сто долларов, сейчас я не имею при себе всей этой суммы.

— Ja, ja, recht gut, recht schon, мадам! .. Ви можете оставить себе эти часы, я приходите за этот деньгами после, когда я будет покушал тут, где-нибудь недалеко.

Бабушка, понятно, на это согласилась, и часики стали переходить из рук в руки, и все решительно любовались и восторгались ими.

— Милая Мэри, тот карандашик я позволила себе предложить вам покуда, лишь до того времени, когда бы мне представилась возможность получить хорошенькие дамские часики, которые я вам предназначала на память за ваше милое, геройское отношение ко всем нам в последнее, столь неприятное и тяжелое для нас время, когда антирентисты вдруг сделались так наглы и назойливы. Прошу вас, не откажите принять от меня эту вещицу на память.

Мэри казалась чрезвычайно сконфуженной, она, по-видимому, совершенно растерялась. Яркая краска мгновенно разлилась по ее личику и вслед затем сменилась внезапной бледностью. Я не видал еще ни резу в своей жизни такой прелестной картины — молодой девушки в минуту затруднительного положения. Она хотела и не смела отказаться от этого подарка, она хотела и не смела также принять его.

— О, madame Литтлпедж, — воскликнула она, любуясь и дивясь предложенному ей подарку, — не может быть, чтобы вы мне предназначали эти прелестные часики, не может этого быть! Мы так бедны, а эти часы выглядят так роскошно, так богато, что мне кажется даже, что они едва ли подходят к моему скромному общественному положению.

— Я уважаю ваши чувства и сомнения, дорогое дитя мое, и вполне могу их оценить, но все же скажу вам, что вы мне окажете большое одолжение и очень порадуете меня, старуху, если примете от меня этот подарок...

— Но, право, дорогая madame Литтлпедж, я не знаю ни как мне отказаться, ни как мне решиться принять такой ценный подарок; позвольте же мне посоветоваться прежде с моим отцом!

— Да, хорошо, дитя мое, совет отца всегда должен быть дорог дочери, — сказала бабушка, пряча в карман хорошенький футляр с часами.

— Кстати же, мистер Уоррен обещал обедать сегодня с нами, так что мы, прежде чем идти к столу, сумеем уладить это дело. Да, вот вы говорили об обеде, — обратилась бабушка к дяде, — так если вы и ваш товарищ хотите последовать за нами вон в этот большой дом теперь же, то я вам уплатила бы и за часы, и сверх того получите и обед.

Мы были очень обрадованы этим предложением, которое приняли, рассыпаясь в благодарностях. Когда экипаж отъехал, мы остались еще несколько минут для того, чтобы распрощаться с Томом Миллером.

— Когда вы там закончите ваши дела в большом доме, — сказал нам на прощание этот славный человек, — то заверните еще разочек к нам; я бы желал, чтобы моя жена и Китти взглянули на все ваши красивенькие безделушки, прежде чем вы их окончательно унесете на село.

Пообещав ему зайти еще раз, мы направились к тому зданию, которое все здесь в округности для краткости называли Нест (то есть гнездо), вместо Равенснест (Воронье гнездо). Все вокруг и около красивого большого дома усадьбы было в большом порядке, и этот-то порядок и несколько затейливый стиль архитектуры более всего другого способствовали тому, что на старинный дом наш в Равенснесте смотрели как на аристократическое гнездо и резиденцию завязанных аристократов. Впрочем, и слово, и понятие «аристократ» и «аристократический» получили у нас, в Америке, за последнее время необычайно широкое применение. Так, например, тот, кто жевал жвачку (табак), называл аристократом каждого, кто считал его привычку дурной и неприятной; так же точно тот, кто горбился или же был сутуловат, называл аристократом того, кто держался прямо, то есть не так, как он, и так далее. Кроме того, я, действительно, имел случай встретить человека, который утверждал, будто это до крайности аристократично сморкаться не пальцами, а в платок. Не далеко то время, когда даже утверждать истину латинской пословицы *de gustibus non disputandum* note 5 будет также считаться в высшей степени аристократичным.

В тот момент, когда мы подходили к подъезду дома, как кучер с экипажем отъезжал к конюшням. Все три молодые девушки, за исключением Мэри Уоррен, скрылись в доме, нимало не интересуясь приближением таких людей, как мелкий торговец и уличный музыкант, но Мэри стояла подле бабушки на крыльце и поджидала нас.

— Клянусь честью, — шепнул мне дядя на ухо, — мне кажется, что добрая матушка моя имеет какое-то предчувствие нашего настоящего положения, судя по тому уважению, которое она оказывает нам.

— Очень благодарю, очень благодарю, сударыни, ви прафо очень милостиф, што изволил ожидайт таки маленьки люди на крыльцо.

— Вот эта молодая особа сообщила мне, что она от вас узнала, что вы люди с образованием и по происхождению своему принадлежите к более высшему классу, а потому я не могу к вам относиться как к простым торговцам; я понимаю, что должны испытывать люди, претерпевшие различные превратности судьбы.

Затем нас пригласили войти в дом и объявили нам, что для нас накрывают стол; вообще с нами обходились радушно и приветливо, но сдержанно, как с людьми, стоящими ниже по положению. Между тем дядя устраивал свои дела: он получил следуемые ему сто долларов и выставил на вид все те действительно ценные вещи, которые были привезены им специально для подарков этим молодым девушкам. Барышни подошли поближе и увлеклись прелестными вещицами, тогда как Мэри Уоррен одна стояла поодаль от других, рядом со своим отцом, которого мы уже застали в гостинной. Очевидно, Мэри успела спросить его совета, и хорошенькие часики уже красовались у нее на поясе.

— Приветствую вас в Равенснесте, — произнес мистер Уоррен, дружески протянув мне руку. — Мы прибыли сюда немного раньше вас, и с тех пор мой слух и мое зрение постоянно открыты в надежде увидеть вас и услышать еще раз вашу флейту. Я даже надеялся увидеть вас на пути к церковному дому, так как ведь вы мне обещали посетить меня в моем доме.

— Я фам очень благодарни, mein Herr, мы теперь имеют очень много время для немношко музик. Я может съиграйт «Янки Дудль» note 6, «Hail Columbia» и «Звездное Знамя» — эти вещицы всегда имеют успех в Америку, на улис и в гостинис, и в трактэр, весде, весде.

Мистер Уоррен улыбнулся и, взяв у меня из рук флейту, стал разглядывать ее с большим вниманием.

Я всем телом дрожал за свое инкогнито. Флейта эта была уж у меня давно, и все домашние, конечно, знали ее. Как быть, ежели Пэтти или же бабушка ее узнают? А между тем флейта моя

переходила их рук в руки и очутилась, наконец, у моей сестры. Но Пэтти была так занята теми прелестными золотыми вещичками, которые ей показывал дядя, что не обратила особого внимания на мой инструмент.

— Смотрите, бабушка, вот она — та флейта, о которой вы говорили, что лучшей по звуку вы еще не слышали никогда.

Бабушка взяла флейту из рук Пэтти и вздрогнула, поправила очки, взгляделась в нее ближе, окинула меня тревожным, пытливым взглядом и вдруг вся побледнела. Минуту спустя она медленно удалилась из комнаты; пройдя очень близко мимо меня и окинув меня еще раз все тем же испытующим взглядом, она вышла в вестибюль. Отойдя несколько шагов от двери, она остановилась и сделала мне знак, чтобы я следовал за ней. Я тотчас же повиновался; пройдя несколько комнат, мы очутились в маленькой приемной, примыкавшей к бабушкиной спальне; тут она грузно опустилась в первое стоявшее ближе от входа кресло, потому что едва держалась на ногах.

— О, не терзайте меня сомнением! — воскликнула она с таким волнением в голосе, что я не в силах его передать. — Скажите, ради Бога, скажите мне, верны ли мои догадки и предположения, скажите, я не ошибаюсь?!

— Нет, дорогая бабушка, вы не ошиблись! — ответил я. И оба мы очутились в объятиях друг друга.

— А тот торговец, — после некоторого молчания спросила бабушка, — неужели это мой сын Роджер? Неужели?

— Да, он, никто иной, мы с ним пришли вас повидать инкогнито.

— Так это из-за смут и волнений?

— Да, мы хотели все видеть своими глазами и считали, что было бы неосторожно явиться сюда в нашем настоящем виде.

— Мне кажется, что вы поступили благоразумно; настоящее ваше имя никоим образом не должно быть известно здесь кому бы то ни было — это необходимое условие вашей безопасности; эти герои дегтя, пуха и пера, проявляющие свою доблестную храбрость и мужество при нападении большинства на меньшинство, пришли бы в несказанное волнение, узнав о вашем возвращении. Нет сомнения, что горсти смелых и решительных людей, хотя бы всего в десять человек, было бы вполне достаточно, чтобы обратить в постыдное бегство целую сотню этих бродяг, потому что все они трусливы, как воры, и наглы только там, где чувствуют на своей стороне силу.

— То же самое слышал я и от других, но будем осторожны, мне кажется, что я слышу шаги кого-то из барышень. Сюда идут!

В тот же момент дверь распахнулась, и на пороге появилась Марта, а позади ее три другие барышни. Марта держала в руке прелестнейшую золотую цепь редкой работы, купленную дядей во время наших путешествий и предназначенную им моей будущей супруге, кто бы она ни была. Очевидно, он имел неосторожность показать барышням эту редкую вещь, и Марта была от нее в восторге. Увидя меня в комнате бабушки, все молодые девушки немало удивились, однако ни одна не сказала ни слова.

— Взгляните, бабушка, — воскликнула еще с порога Пэтти, — взгляните, видали ли вы когда-нибудь что-либо более изящное и более прелестное, чем эта цепь? А вместе с тем этот торговец не соглашается продать ее нам.

— Быть может, ты предлагаешь ему слишком низкую цену, дитя мое, ведь эта вещь должна стоить очень больших денег. Быть может, мне удастся уговорить вас изменить свое решение? — приветливо обратилась к продавцу бабушка. — Я была бы так рада побаловать немного внучку, подарив ей эту прелестную цепочку, которая, судя по всему, так сильно нравится ей.

В ответ на это торговец подошел ближе и, почтительно целуя руку бабушки, отвечал, что если бы он мог изменить свое решение для кого-либо, то, конечно, сделал бы это для такой прекрасной, приветливой и доброй дамы, как она, — «но, я поклялся, што эта вешш я дала шене моя сына, когда он будет шенить себе на какой-нибудь хорошенькой американски девешек, и фот пошему мне никак не мошно откасать от свой слов!» — проговорил мнимый торговец.

Бабушка улыбнулась, но, убедившись, что эта вещь действительно предназначается для моей будущей невесты или супруги, не стала более настаивать.

— А вы, — обратилась она ко мне, — имеете ли тоже желание, что и ваш батюшка? Ведь это очень богатый подарок для таких бедных людей.

— Ja, ja! .. Aber, хоть это быть ваши прафда, aber, когда давайт свой сердце любовь, то такой вешш, как солот, имайт тогда не большой цен.

— Ну, что же делать, — вздохнула хорошенькая Пэтти, — приходится мириться с этой маленькой печалью и огорчением, хотя я, право, никогда еще не видала такой хорошенькой цепочки.

— Но я ничуть не сомневаюсь, что рано или поздно найдется такой человек, который поднесет вам цепочку не менее, если еще не более красивую, чем эта! — не без некоторой колкости сказала Генриетта Кольдбрук.

Это замечание ее очень не понравилось мне, и я тут же решил, что эта цепочка никогда не будет принадлежать мисс Генриетте, несмотря на то, что она была очень хороша собой и что такого рода решение неизбежно должно было огорчит дядю Ро.

К немалому моему удивлению, я заметил, что щечки моей Пэтти покрылись при этих словах легким румянцем, и тут только мне вспомнилось имя некоего Бикмена. Взглянув на Мэри Уоррен, я ясно мог заметить, что и она чем-то огорчена и только потому, что Марта была затронута, так как другой какой-либо причины к огорчению у нее в данное время не было, да и быть не могло.

— Голубушка, да и вы не огорчайтесь, я уверена, что ваша бабушка найдет для вас подобную цепочку, когда поедет в город, и это заставит вас забыть вот эту! — успокоительно шепнула она на ухо моей сестре.

Марта улыбнулась и горячо поцеловала свою прелестную подругу. Однако любопытство бабушки было затронуто, и ей хотелось узнать еще кое-что.

— Итак, вы, милый друг, решили бесповоротно поднести эту цепочку вашей будущей супруге?

— Oh, ja, мадам, oh, ja!

— И что же, ваш выбор уже сделан? — полюбопытствовала она, многозначительно поглядывая в ту сторону, где стояли обе воспитанницы дяди.

— Nein, madam! — ответил я, смеясь. — В Америку быть так много красива мадам, што я не ошень торопляется.

— Так вот, милая бабушка, — прервала меня Пэтти, — так как никто из нас не может получить этой прелестной цепочки, то мы решили утешиться вот этими вещицами, всего на двести долларов; вы ничего против этого не имеете?

— Ну и прекрасно, что вы утешились; сейчас мы рассчитаемся, а вы нам не мешайте, идите в зал.

Все вышли, чтобы не мешать бабушке расплачиваться с продавцом, а, в сущности, это был лишь предлог, чтобы остаться с сыном наедине.

Глава XI

Наша жизнь изменилась. Другая любовь начала обвиваться вокруг ее одинокой нити жизни, но между моим сердцем и сердцем сестры была вплетена золотая нить.

Уиллис

Полчаса спустя мы сидели уже за отдельным столом так же спокойно, как если бы мы были в гостинице. Прислуживающий у стола лакей был старый слуга нашей семьи, проживший в доме более двадцати пяти лет в одной и той же должности. Понятно, он не был американцем родом, потому что ни один американец не остается в течение стольких лет в одном и том же низшем положении; если за ним водятся какие-либо хорошие качества, за которые его согласились бы держать его хозяева, то можно с уверенностью сказать, что он пойдет все выше и выше; если же за ним их нет, то хозяева его не дорожат им и не хотят подолгу держать у себя. Европейцы же — менее прогрессивные и менее самолюбивые люди, и часто можно между ними встретить человека, который всю свою жизнь прослужил конюхом или лакеем и ни разу не мечтал о возможности достичь более высокого общественного положения.

Так Джон, хотя и прослужил много лет в нашем доме и во многом сроднился с нашей семьей, все же сохранил кое-какие лакейские чувства и отношения к людям, которых он считал ниже себя по положению. Ему казалось, что для нас будет слишком много чести, если он останется у стола прислуживать нам, и потому, подав первое блюдо, он подвинул его к дяде и, указав ему на большой нож, как бы желая сказать этим «управляйтесь сами», вышел из комнаты.

Как и следовало ожидать, обед наш не представлял собою ничего особенно изысканного, хотя мы слышали, как бабушка впоследствии приказывала прибавить к нему кое-что полакомее; так, между прочим, нам подали бутылку хорошего вина, что было не совсем по чину людям нашего звания, но это отчасти объяснилось тем, что поданное нам вино было рейнвейн, так что бабушка хотела как бы польстить этим нашему патриотическому чувству.

— А, право, ведь это была прекраснейшая мысль приказать подать бутылку этого рудельсгеймера, не правда ли, мой друг? Матушка моя, право, прекраснейшая и разумнейшая женщина, какую я только знаю, и как она прекрасно сохранилась! Но если старая хозяйка здесь прелестна, то ведь и молодые ее помощницы тоже не дурны, что ты на это скажешь?

— Да, я с вами во всем согласен, дядя, и должен признаться, что давно уже не встречал нигде двух таких прелестных девушек, как здесь.

— Двух? Черт возьми! А мне казалось бы, что и одной покуда было бы вполне достаточно. Но кто же они, эти две счастливицы?

— Да моя сестра Пэтти и Мэри Уоррен. Другие две тоже очень милы, но много хуже этих.

Дядя Ро, казалось, остался очень недоволен моим ответом и некоторое время не говорил ни слова, сделав вид, что очень занят едой. Однако для человека благовоспитанного уйти всецело в свою тарелку с рыбой или мясом на более продолжительный срок является очень нелегкой и непривычной задачей, и потому ему пришлось заговорить опять.

— Кажется, здесь все спокойно, — заметил он. — Конечно, эти антирентисты принесли громадный и несомненный вред своей пропагандой и взволновали все умы, но, очевидно, еще не произвели до настоящего времени никаких опустошений и уничтожений.

— Да ведь это не входит в их расчеты, дядя; все урожаи — их собственность, а так как они рассчитывают стать владельцами и самих ферм, то какой же смысл уничтожать и портить то, на что они уже привыкают смотреть, как на свою собственность?! Что же касается собственно моего гнезда, то они еще, пожалуй, согласны предоставить его мне до поры до времени, если только я не воспрепятствую им овладеть всем остальным.

— Да, до поры до времени, помни это, потому что уступками никогда ничего нельзя выиграть, и люди никогда не довольствуются своим наделом, сколько им не дай, когда им кажется возможным захватить все. Однако оставаться здесь на ночь не дело; это все равно, что сразу выдать наше настоящее имя, столь уважаемое и любимое некогда и столь ненавистное теперь.

— Ну, нет, до этого еще дело не дошло, — возразил я, — да мы и не сделали ничего такого, за что бы мы заслужили ненависть.

— Тем более нас будут ненавидеть. Когда оскорбляют человека, ничем не заслужившего этого оскорбления, то поневоле начинают всячески клеветать на безвинно оскорбляемого, чтобы оправдать свой дурной поступок, и чем более оскорбитель сознает свою неправоту, тем глубже он ненавидит свою жертву.

Здесь беседа наша была прервана появлением торжественной фигуры Джона, пришедшего посмотреть, окончили ли мы свой обед, и пересчитать серебряные ножи, вилки и ложки, — предосторожность, которую он считал не лишней с людьми нашего сорта. Дядя тотчас же вступил с ним в разговоры.

— Этот дом — все это быть принадлежал генерал Литтлпедж?

— Нет, это поместье принадлежит не генералу Литтлпеджу, который уже давно скончался, а его внуку, молодому мистеру Хегсу.

— А где он быть, этот мистер Хегс?

— Он в настоящее время находится в Европе, то есть в Англии! — По представлению Джона, почти вся Европа была занимаема Англией.

— О, это быть ошень шалко, я слыкал, сдесь быть много фолнений и скферни инджиенс.

— Да, это правда, — глубокомысленно отвечал Джон, который, в качестве важного слуги, мнил себя чем-то в роде министра внутренних дел, причем испытывал всякий раз громадное удовольствие, когда мог перед кем-нибудь похвастать своим обширным образованием и распространиться насчет своих идей и воззрений, — что касается меня, то я никогда не хожу в

деревню без того, чтобы не поговорить об этом с кем-нибудь из них, и каждый раз в таком духе, чтобы образумить их и обратить на истинный путь. Я преимущественно беседую об этом с мистером Ньюкемом; он что-то в роли адвоката или судьи. Вы, кажется, здесь иностранцы, вероятно, из Старого Света?

— Oh, ja, ja... ми из немецки сторона, ми сдесь совсем чужой.

— Чего вы хотите, говорю я мистеру Сенекке Ньюкему, не можете же вы все стать собственниками и землевладельцами? Кто-нибудь да должен же быть арендатором, и если вы не желали быть арендаторами, то каким же образом вы ими стали, ведь никто же вас к тому не принуждал. Земли здесь много, и она не дорога, так почему же вы не купили себе земли, а предпочли брать ее в аренду у мистера Хегса? А теперь вы жалуетесь на то, чего вы сами желали.

— О, ви говорит корош резон; и он быть согласни на фаш рэзон, herr Ньюкем?

— Ну, нет, он никогда не согласится с тем, что против его теорий, разве только по неведению.

— Ви ошень смелая шеловек, мой друх, ошень смелая, когда ви сказать такой вешши; я слыхала, здесь в Америку шеловек может сказал всяки вешш, какой он думала, только не мошет сказал прафда, а все другой мошет!

— Да, да, это верно, у нас теперь можно все говорить, только кроме правды. Кроме того, я говорил еще этому мистеру Ньюкему: «Вы, мистер Ньюкем, очень смелый человек, когда говорите против королей и знатных господ и черните, и поносите их, как только можно, потому что вы знаете, что они не могут вам причинить ни малейшего зла; но вы никогда не посмели бы встать здесь перед лицом народа, вашего настоящего господина и сказать ему в глаза то, что вы о нем, в сущности, думаете, и что я от вас слышал с глазу на глаз». О! Я порядком-таки его отчитал, могу вас в том уверить! — не без некоторого самодовольства добавил Джон.

В сущности, это обвинение, брошенное молодому Ньюкему в том, что он имеет два особых мнения и взгляда на одну и ту же вещь, одно, которое он высказывает при посторонних, и другое — лично для себя, — тот же самый упрек мог быть обращен почти к каждому демагогу, так как любой из них, живи он под монархическим правлением, был бы самым покорным и приниженным сторонником людей, стоящих у власти, и был бы готов становиться на колени перед теми, кто стоит близко к особе монарха.

Приход бабушки положил конец разглагольствиям Джона, который, под предлогом какого-то приказа или распоряжения, был выслан из комнаты. Бабушка пришла сказать мне, что Марте известна тайна моего инкогнито и что она сгорает от нетерпения прижать меня к своей груди. Не считая возможным лишиться этой радости, бабушка распорядилась устроить нам свидание таким образом, чтобы ни у кого не могло явиться ни малейшего подозрения на этот счет.

Рядом со спальней Марты имелась хорошенькая гостиная совершенно в стороне от других комнат; тут-то и должно было произойти наше свидание.

— Пэтти и Мэри Уоррен уже там и ждут твоего прихода, Хегс! .. — сказала бабушка.

— Как, и Мэри Уоррен? Разве и ей уже известно, кто я на самом деле?

— Нет, нисколько, она даже и не подозревает ничего.

— А что, бабушка, мой наряд не придает мне уже чересчур отталкивающего вида?! Быть может, даже и для сестры это будет не совсем приятно...

Бабушка весело рассмеялась.

— Нет, нет, несколько, ты очень мил, и только, дитя мое, — ответила она, — хотя я думаю, что ты, конечно, был бы лучше в твоём натуральном виде, чем в этом парике. Я ещё в самом начале сказала Марте, что в выражении твоих глаз и в твоей улыбке есть что-то, что мне очень напоминает Хегса. Но наши барышни уже ждут тебя, пойдём! Мэри такая страстная любительница музыки и, кстати говоря, так тонко понимает её, что осталась положительно в восторге от твоей игры. Генриетта и Анна менее пристрастны к музыке; они пошли в оранжерею собирать себе по букету цветов, чему я очень рада: они наверно вернуться в дом нескоро.

Когда мы с бабушкой вошли в маленькую гостиную сестры, её там не было. Мэри Уоррен была одна. Марта ушла на минуту в свою комнату, чтобы справиться там со своим волнением. Бабушка предложила мне не ожидать прихода Марты и тотчас же приступить к музыке, которую можно было слышать и из соседней комнаты, куда отправилась и бабушка.

Я играл уже более десяти минут, когда, наконец, в комнату явилась моя сестра и с нею бабушка; они обе, как видно, только что плакали. Но Мэри Уоррен, увлеченная моей музыкой, решительно ничего не заметила. Спустя некоторое время бабушка воспользовалась маленьким антрактом для того, чтобы увести Мэри, которая повиновалась ей, по-видимому, с большой неохотой и, как говорится, скрепя сердце.

— Если желаешь, то пусть этот молодой человек сыграет тебе ещё одну какую-нибудь вещьцу, — сказала бабушка, уходя из комнаты и увлекая за собой, видимо, опечаленную Мэри Уоррен.

Я продолжал играть на флейте до тех пор, покуда, по моему расчету, меня можно было слышать из соседних комнат, но затем, отложив в сторону свой инструмент, кинулся в объятия моей дорогой Пэтти, которая, прижавшись к моему плечу, плакала слезами радости.

Когда она успела немного оправиться, мы с ней присели рядом на диванчик и, глядя в глаза друг другу, стали говорить о том, что нас обоих волновало и занимало в данную минуту.

— О, Боже, Хегс! В каком наряде и в каком виде явился ты повидать после стольких лет свой родной дом и нас!

— Но мог ли я прийти иначе? Та ведь знаешь положение дел в нашей стороне! Вот он, этот прекрасный плод нашей столь восхваляемой свободы; сам владелец не может появиться безнаказанно на своей земле, не рискуя при этом своей жизнью!

При этом Марта опять страстно прижала меня к своей груди, как бы желая этим высказать, что понимает ту опасность, которой я подвергаюсь.

После нескольких вопросов и расспросов, обычных при свидании близких людей после столь продолжительной разлуки, Марта с улыбкой заговорила о том, что ни одна из барышень не подозревает, кто я на самом деле.

— Ни даже Генриетта, — добавила она, — а ведь она считает себя особенно проницательной; но на этот раз и она попалась, как все другие.

— Ну, а мисс Уоррен тоже считает меня уличным музыкантом и никем более? — спросил я.

— Ну да, ну да, и она много говорила нам о тебе, когда вернулась. Анна и Генриетта много подтрунивали и шутили над её необычайным уличным музыкантом из немецких аристократов, которого они в шутку прозвали «Herzog von Geige» note 7.

— Я весьма им благодарен за их остроты! — довольно сухо ответил я, так что Марта даже немного удивилась.

— Ну, а этих Уоррен ты любишь? — спросил я.

— Ах, очень, и обоих, как отца, так и дочь. Он — настоящий священник, человек умный и прекрасной души, разумный и приятный собеседник и сердцем прост, и бесхитростен, как дитя.

— Да, кстати, скажи мне, как относится духовенство различных сект к этому вопросу об антирентизме?

— Я не могу тебе сказать об этом ничего положительного, за исключением одного только мистера Уоррена. Он раза три-четыре говорил проповеди о святости всех денежных и иных светских обязательств, добровольно принятых на себя, о неприкосновенности всякой чужой собственности, причем избрал текстом десятую заповедь. Понятно, что он ни разу не упомянул собственно об антирентистах и их стремлениях, то есть не называл их по имени, но каждый из них сам применил к себе те истины, которые им пришлось услышать из его уст. И все антирентисты уверяют, что он подразумевал именно их и что этого не потерпят.

— Ну, понятно; когда заговорит в человеке совесть, то ему кажется, что именно его называли по имени, хотя говорили о других.

Затем наш разговор вдруг перешел на совсем иную тему.

— Хегс, — сказала вдруг Марта, весело смеясь, — теперь я понимаю, почему этот странный торговец не соглашался мне продать ту цепь, которая мне так понравилась и которую он предназначает для твоей будущей жены. Скажи мне, милый, как ее будут звать, Генриетта или Анна?

— Почему же ты не спрашиваешь, не будут ли звать ее Мэри? Почему ты исключаешь одну из трех твоих приятельниц?

Пэтти вздрогнула и удивленно взглянула мне в лицо: щечки ее покрылись румянцем, и хотя выражение ее глаз все еще оставалось удивленное, я мог заметить, что это скорее радостное удивление, чем что-либо иное.

— Разве я уже опоздал? — осведомился я. — Скажи мне правду, Марта, ты должна это знать, скажи мне, есть у нее какой-нибудь поклонник?

— Ого! Да это, кажется, становится серьезным! — воскликнула она, смеясь. — Ну, чтобы вывести тебя из заблуждения, я тебе скажу, что мне известен только один такой поклонник: это Сенек Ньюкем, брат прелестной Оппортюнити, которая все еще бережет себя для тебя.

Я улыбнулся.

— И поверишь ли, — продолжала сестра, — что эта Оппортюнити, действительно, задирает нос перед Мэри Уоррен и дает почувствовать ей свое превосходство. Как это тебе нравится?

— А как же Мэри Уоррен переносит от нее эти дерзости?

— Да как и всякая разумная и воспитанная молодая девушка, с невозмутимым спокойствием и полным равнодушием.

Затем у моей Пэтти явилось вдруг желание хоть одну минуту взглянуть на меня в моем естественном и натуральном виде, и она стала упрашивать меня снять опять мой парик. Я согласился, и тогда она вдруг кинулась ко мне, радостно восклицая: «О, брат мой! Дорогой мой, мой хороший, мой ненаглядный Хегс!» Затем вся эта сцена окончилась слезами, прослезился и я, тронутый этой чистой и искренней любовью моей сестры; немного успокоившись, мы торопливо принялись приводить мой костюм в порядок, парик был снова надет, и я вновь стал уличным музыкантом.

— Ну, все теперь, мне кажется, в порядке, — сказала Пэтти, оглядывая меня со всех сторон, — а все же это большая неосторожность с твоей стороны, что ты сюда явился. Неприятности, которые здесь поминутно стараются причинить бабушке, ужасны, но что касается тебя, то, может быть, они тебя бы даже не оставили живого.

— Значит, и сама страна, и весь народ ужасно изменились за эти пять лет; я знаю, что наше население до настоящего времени не имело никакого расположения к убийствам; да, деготь, пух и перо испокон веков было излюбленным их оружием, но не ножи!

— Ах, Хегс, существует на свете что-либо такое, что так могло бы изменить и исказить характер и нравы народа, как жажда овладеть чужой собственностью?! Да, помнишь, ты мне сам писал когда-то, что все, что делает или думает в наше время американец, все это имеет своей целью наживу — деньги.

— Да, помню, я это писал, но в том смысле, что теперь, при данных условиях, наша страна не представляет никаких других средств, возбуждающих самолюбие человека, кроме скопления богатств, и в этом-то все горе! А в сущности, я считаю американца менее корыстным, чем любой европеец, и убежден, что в каждой из стран Европы гораздо легче подкупить деньгами двух человек, чем у нас одного. Быть может, это отчасти объясняется и тем, что здесь каждому человеку несравненно легче добывать себе средства к жизни и даже благосостояние, чем там. Однако осторожность требует, чтобы мы теперь расстались с тобой, — вдруг спохватился я. — Мы с тобой еще увидимся не раз, прежде чем покинем с дядей наши владения, а тогда тебе будет не трудно вновь присоединиться к нам на водах Саратоги, когда мы найдем нужным покинуть эти края.

Мы еще раз расцеловались перед тем как расстаться. Я по пути не встретил ни души и, не замеченный никем, вышел во двор, где стал гулять около портика и по газону под окнами библиотеки. Вскоре меня заметили и попросили войти.

Между тем дядя Ро распродал все свои настоящие драгоценности, привезенные им нарочно для подарков своим воспитанницам. Расчеты за все эти покупки должна была произвести, конечно, бабушка, но само собой разумеется, что рассчитывать ей вовсе не пришлось. Как после мне говорил дядюшка, он остался крайне доволен этим способом распределения подарков, предпочитая этот прием произвольной раздачи их, по своему личному усмотрению, так как этим путем он мог быть уверен, что каждая из барышень выбирала себе согласно своему вкусу и, следовательно, была довольна приобретенной ею вещью.

Так как наступало время обеда для хозяев этого дома, мы с дядей стали прощаться; понятно, что не обошлось без приглашений побывать еще раз перед нашим отъездом из этих мест, на что мы, в свою очередь, отвечали сердечной благодарностью и обещанием непременно посетить еще раз этот гостеприимный дом. Выйдя во двор, мы тотчас же направились опять на ферму, согласно обещанию, данному Тому Миллеру. По дороге мы с дядей не раз оборачивались и поглядывали на тот дом, который был обоим нам так дорог и по личным воспоминаниям, и по живому настоящему интересу, какой внушали нам его теперешние обитатели. Однако я забываю, что это до крайности аристократично; ведь землевладелец не имеет права на такого рода чувства и воспоминания, а такое право усовершенствованная свобода предоставляет исключительно только людям низшего сословия, то есть арендаторам, а уж никак не собственникам, не землевладельцам.

Глава XII

В Англии за один су получают семь хлебцев по полсу; горшок в три мерки будет стоить десять; я объявлю преступлением пить маленькую кружку пива; все в государстве будет общее, и я отошлю своего коня пастись в Чипсайд.

Джек Кад

Миллер принял нас радушно, как старых друзей, и предложил нам постель в том случае, если мы желаем у него переночевать. С ночлегом нам каждый раз было, в течение этой нашей скитальческой жизни уличных торговца и музыканта, более хлопот и затруднений, чем в чем-либо другом. Конечно, в лучших, дорогих отелях Нью-Йорка давно уже вышли из употребления кровати двух и даже трехспальные, но в обычных гостиницах и постоялых дворах обычай этот еще упорно держался, и нам не раз давали понять, что люди нашего сословия не только должны довольствоваться одной кроватью на двоих, но ничего не иметь против того, чтобы эта общая наша кровать помещалась в комнате, где таких кроватей стояло несколько. Но есть такие вещи, привитые нам воспитанием и долголетней привычкой, которые положительно стали второй натурой человека; так, между прочим, положительно невозможно заставить себя делиться с кем-нибудь своей постелью или зубной щеткой. Это затруднение, общая комната и общая кровать было еще до некоторой степени устранимо в гостиницах и заезжих домах, где за деньги можно было устроиться по своему желанию. Но у Миллера нам стоило немалого труда добиться, чтобы нам дали каждому отдельную каморку и кровать. Наконец, дело это уладилось таким образом, что я решился отправиться спать на сеновал, куда мне принесли огромный соломенный тюфяк.

Покуда шли у нас эти переговоры о ночлеге, я заметил, что Джошуа Бриггам широко развесил уши и пялил глаза, чтобы не пропустить ни единого слова или жеста из того, что делалось и говорилось. Из всех людей на белом свете американец низшего класса является наиболее недоверчивым и подозрительным человеком. Индеец во время войны, часовой на аванпостах под носом у неприятеля, ревнивый муж или священник, ставший ярым партизаном, не может быть более расположен ко всякого рода догадкам и подозрениям, чем американец этого пошиба. За все время, покуда мы с дядей выговаривали себе каждый по отдельной комнате и по отдельной кровати, его зоркие глаза не покидали нас, и, по-видимому, в уме его рождались одно за другим различные предположения и догадки. Когда, наконец, наше дело было улажено и я вышел на лужайку перед домом, чтобы полюбоваться закатом солнца, ко мне подошел Бриггам.

— А у старика, как видно, немало золотых часов и разных ценных балаболок при себе, что он так не сговорчив насчет кровати, — сказал он. — Торговать вразнос таким товаром дело небезопасное, поди!

— Ja, иное место это быть опасно, но тут такой короши сторона.

— Так почему же этот старик так настаивал получить отдельную комнату для ночлега?

— У нас в немецки сторона сегда каждая шеловек особа кровать.

— А, так вот оно что! Ну, да, что город — то норв, что деревня — то обычай! Везде свои привычки и повадки, а ваша немецкая сторона, как вы ее называете, кажись, завязтая аристократическая страна; пропасть землевладельцев, не так ли, и условия на бесконечно долгие сроки, хм?!

— У нас всяки думайт, что долги сроки быть большой вигод для арендатор, у нас всяки хошет долги срок.

— Вот смешно-то! А мы так думаем как раз наоборот: по-нашему, всякое условие скверная и стеснительная штука, а чем меньше у вас чего-либо дурного, тем лучше, не так ли? Впрочем, в сущности, это должно теперь быть безразлично для нас, так как мы надеемся вскоре провести закон, воспрещающий отдачу земель в аренду на каких бы то ни было условиях.

— Oh, aber... народ будит, я думайт, не согласиин! Как будит делайт шеловек, если ему нушен семли, а нанимайт нигде не мошно! Бедни семледельси, бедни фермер!

— Да, но ведь знаете ли, мы хотим этим путем только отнять у теперешних землевладельцев те условия и контракты, на основании которых они теперь держат на аренде свои земли. Ну, а потом, как только мы этого достигнем, закон может вновь изменить все это.

— Ой, ой! Это быть не корошо! Сакон долшна бить спрафедливо и не делайт такой штуки.

— Да вы меня, видно, не совсем понимаете, ведь это только политический прием такой, чтобы соблюсти законность; вот видите ли вы, в сущности, это будет очень справедливо. Теперь возьмем, например, молодой Литтлпедж — настоящий владелец всех этих земель, ведь никогда палец о палец не ударил, чтобы приобрести право на них, вся его заслуга в том, что он сын своего отца; по-моему же, каждый человек обязан сделать что-нибудь, чтобы иметь потом право владеть чем-нибудь, а не быть обязанным всем простой случайности. Это свободная страна, и почему же один человек будет иметь больше права на землю, чем другой?!

— Или ше тошно такше на своя тобаку или своя рубашку или какой другая вешшь?

— Ну, мы не заходим так далеко! Человек, конечно, имеет право на свой пиджак, рубашку и табак, даже, быть может, и на лошадь, и на корову, но не на все видимое пространство земли.

— А на семля сакон не давайт право шеловеку? Так, когда ви станет сам фладелес какой ферма, ви не мошет думайт сакон вам давайт право на семля? О-о...

— Ну, мы другое дело! Мы постараемся, чтобы закон был на нашей стороне. Вы немец, и вам, я полагаю, можно довериться, но если вы выдадите меня, то клянусь вам честью, что вы уж более не сыграете ни одной песенки, ни здесь, ни где-либо в другом месте. Видите ли, в чем дело: если вы желаете сделаться инджиенсом, то лучшего для того случая, как теперь, вам не представится.

— О, сделайте себе инджиенс, зашем? Какой от этого быть для мене вигод? Я думайт, лучше буда бели шеловек в Америку!

— Да я ведь говорю об этих инджиенсах — антирентистах! Мы так прекрасно обделываем это дельце, что из такого белого человека, как вы и я, в одну минуту становимся индейцами и затем вновь белыми по своему желанию, не прибегая для того ни к краскам, ни к какой мазне. А вы хотите знать, какая вам от этого будет выгода? Так вот, вы будете получать недурное жалование, которое вам аккуратно будут выплачивать в известный срок, затем и в лавках, и в кабачках, и в магазинах можно прекрасно поживиться, потому что по нашему уставу каждый инджиенс может требовать все, что он желает, и уж, конечно, мы не забываем желать всего и как можно больше. Если желаете присутствовать на нашем митинге, то я скажу вам, как меня узнать.

— Ja, ja! Я ошень шелал бивайт на ваша митинг; где он быть?

— Там, в селе, или, вернее, в деревушке. Сегодня нас оповестили, мы все соберемся туда ровно к десяти часам.

— Разве там быть какой срашени или битву?

— Сражение? Боже мой, какое же там может быть сражение, да и с кем сражаться, ведь мы все до единого против Литтлпеджей, и ни один из нас не стоит за них?! Этот митинг созван для поддержки народной свободы, но вы, вероятно, не знаете, что у нас здесь бывают всякого рода митинги!

— Nein! Я думаю, митинг бувайт только для политик, а для другой вешши...

— Ах, неужели? Неужели у вас в Германии не бывает митингов негодования? А мы сильно рассчитываем на наши митинги негодования, и каждая партия устраивает много таких митингов, как только поднимаются различные вопросы. Однако наш завтрашний митинг будет посвящен вообще принципам свободы, хотя это, конечно, не помешает нам вставить несколько слов негодования против аристократов и аристократизма. Завтра у нас будет известный проповедник антирентистский.

— Проповедник! О-о...

— Да, он говорит преимущественно об антирентизме, об аристократии, о правительстве и всяких злоупотреблениях. О, он горячо говорит о всех этих вещах, да и инджиенсы намерены со своей стороны основательно поддержать его криками и воем. Что ваше решение против наших глоток, когда мы дружно примемся орать и вить?!

— Ой, ой, а я слыхала, сто американски народ быть разумна философ, а ви мне говорит, что он орет и воеет, чтоб доказать свой прафда, ой, ой! Совсем, как дики индейцы, совсем.

— Да, но мы знаем, чего орем и чего добиваемся, и намерены довести дело до конца! Мы, главное, рассчитываем получить эти фермы на самых выгодных для нас условиях. Народ поднялся весь как один человек, а того, чего желает народ, он добьется. Теперь он требует себе фермы, и, конечно, он их получить. Мы знаем, кто наши друзья и кто наши враги; и если нам удастся добиться, чтобы в правители попали именно те люди, которых я мог бы вам назвать, то нет сомнения, что все пошло бы прекрасно с первой же зимы. Тогда мы обложили бы землевладельцев таким громадным множеством налогов, мы издавали бы закон за законом такого свойства, что они будут рады отделаться от своих земель до самой последней пяди и не только охотно уступят ее дешево, но будут готовы отдать ее и даром. Да, — продолжал Джошуа, — да, от завтрашнего проповедника мы много ожидаем, этому человеку зато и платят немало за его посещение.

— А кто ему платил? Касна? Государство?

— Нет, нет, пока еще не государство, хотя многие полагают, что так должно было быть, и вскоре, вероятно, будет. Покуда же арендаторы обложены известным сбором, по столько-то с каждого доллара арендной платы или по столько-то с каждого акра арендуемой им земли; но наши проповедники уверяют, что эти деньги как бы отданы в рост и что каждый должен записывать, сколько он дает на это дело, так как недалеко то время, когда они получат их обратно с двойными процентами. Теперь арендаторы оплачивают эту реформу, говорит он, а когда она совершится, то государство будет вам, арендаторам, так за нее обязано, что сочтет должным вознаградить вас вдвое из суммы тех налогов, которыми будут тогда обложены все прежние землевладельцы.

— Это ошень недурной спекуляция, ошень недурной.

— Понятно! — весело подтвердил в свою очередь Бриггам. — Это весьма недурная операция, довольствоваться за счет неприятеля, как говорят. Однако мы не высказываем открыто всего, чего хотим и на что рассчитываем, и многие из антирентистов будут уверять вас, что они не имеют ничего общего с индженсами; но кто же обязан верить, что «луна

— круглый сыр? » Между антирентистами тоже, конечно, есть разные люди и разные мнения; одни уверяют, будто никто не должен иметь более тысячи акров земли, другие уверяют, что и этого слишком много, что каждый должен иметь лишь столько, сколько ему необходимо для удовлетворения своих личных нужд.

— Ну, а вы, вы какой мнения на этот счет имеете?

— О, мне это совершенно безразлично, только бы мне досталась хорошая доходная ферма с хорошими и прочными постройками; а будет ли она иметь четыреста или четыреста пятьдесят акров земли, это для меня почти безразлично, а о других я и не беспокоюсь, пусть делятся как им угодно.

— А сколько вы хотите платить мистер Литтлпедж за тот ферм, что вы думаете выбрать для себя?

— Это будет зависеть от обстоятельств. Некоторые полагают, что лучше было бы заплатить за землю хоть немного, чтобы это выглядело законно, а другие уверяют, что нет никакой надобности что-нибудь платить.

— А сколько ценит теперь средняя цифра небольшой ферм, так акр сто?

— Такая ферма стоит теперь от двух с половиной до трех тысяч долларов, это самое меньшее, а некоторые участки — так даже до пяти, несмотря на то, что постройки почти везде плохие, потому что арендаторы не хотели ставить хорошие постройки на чужой земле; ну, а теперь уже многие об этом и жалеют; ну, да всего, конечно, предвидеть нельзя.

— Ну, и вы думаете, сто мистер Литтлпедж должна быть брать за свой ферм пятьдесят доллар, когда вы сам сейчас говорил, он стоит три тысяч, или да же больше, три тысяч, мне кашит это быть ошечь мало, хм!

— Но вы забываете, приятель, сколько лет он получал за эту землю ренту, ведь это тоже деньги, которые он клал в карман, а труд, который арендатор положил на эту ферму, ведь тоже чего-нибудь да стоит. Что стоила бы эта ферма, если бы на нее не было положено столько труда?

— Ja, ja, я понимают; aber, шево стоил бы вся эта труда, если бы не быть земли, на которой фермер полошила свой труды?

Вопрос этот, как видно, озадачил моего собеседника; он взглянул на меня исподлобья недоверчивым, пытливым взглядом, но, прежде чем успел мне ответить, Том Миллер отозвал его, послав в коровник за каким-то делом.

В этот вечер я уже больше не видел Джошуа Бриггама, потому что, когда стемнело, он отпросился у хозяина куда-то со двора. Так как на ферме все ложились очень рано, то около девяти часов вечера все уже спали крепким сном и в том числе и я. Но прежде чем распрощаться на ночь, Миллер нам сообщил о предполагавшемся на завтра митинге и о своем намерении присутствовать на нем.

Глава XIII

Он — знаток дичи. Как прекрасно
он чует ветер! Тише.

«Генрих VI»

На следующее утро, управившись с работой до завтрака, вся семья Миллер, выйдя из-за стола, стала готовиться к предстоящей поездке. Не только сам Том Миллер, но и жена его и Китти намеревались отправиться в Маленький Нест — так называлась деревушка, где должен был состояться митинг. Название свое «Маленький Нест» она, конечно, получила в противоположность сокращенному названию нашей усадьбы «Нест». Впоследствии мне стало известно, что даже это обстоятельство, совершенно от меня не зависящее, вменялось мне в вину.

Мне кажется, что если бы в это время не нашлось других причин для неудовольствия и волнений, то, право, возбудили бы вопрос, которому из двух Нестов должно по праву принадлежать старшинство в данном случае.

По этому поводу мне припомнилось, что я когда-то слышал об одном такого рода процессе во Франции по поводу одного имени, имевшего громкую известность в первые века истории своей страны; я говорю о фамилии Грасс. Грассы поселились еще до революции, да и теперь еще, вероятно, живут на юге Франции в окрестностях города Грасса, столь же известного своей торговлей шелком и своими мыловаренными и парфюмерными лабораториями, сколь и фамилия Грасс — своими воинскими подвигами и громкой славой своего рода.

Лет сто тому назад маркиз де Грасс имел процесс, наделавший немало шума, по поводу того, что его ближайшие соседи, горожане города Грасс, затеяли с ним спор о том, обязан ли своим именем город фамилии Грасс, или же Грассы получили свою фамилию от того города, который находился по соседству? Маркиз на основании самых неопровержимых документов торжествовал победу, но победа эта стоила ему значительной части его некогда огромного состояния. У нас не было, откровенно говоря, надобности затевать процесс по поводу названия деревушки и нашего родового гнезда, так как и без того всем старожилам было известно, что усадьба стояла уже много лет, когда еще то место, где теперь красуется Маленький Нест, было непроходимым девственным лесом; но, конечно, если бы у нас дело дошло до суда, то, вероятно, признали бы как раз обратное на основании новой системы — большинства голосов.

Между тем Том Миллер предоставил мне с дядей маленький шарабанчик в одну лошадь, тогда как сам он с женой, дочерью и старшим сыном поместился в большой линейке, запряженной парой сытых лошадей. Часы на ферме только что пробили девять, когда мы двинулись в путь. Я сам правил моей лошадью, которая, действительно, была моя, так как на этой ферме, не сданной в аренду, а оставленной нами за собой, и скот, и лошади, и каждая тележка, орудие, словом, весь инвентарь были моей собственностью как и шляпа, что у меня теперь на голове. Но новейшим законам возможно было утверждать, что раз Миллер столько лет кряду пользуется всем этим и

еще платит аренду за то, что обрабатывает для нас эту землю, то он и на самую ферму, и на нас, и на весь инвентарь имеет неоспоримое право собственности. Однако почему же, господа, если пользование землей дает на нее право собственности тому, кто ею пользуется, то почему же тот же порядок не простирается на все остальное, на лошадь, корову и многое другое?

Выехав из ворот фермы, мы поехали следом за парной тележкой по большой дороге, разговаривая между собой о всех событиях вчерашнего дня и строя свои предположения относительно того, что нас ожидало сегодня.

Митинг был назначен на одиннадцать часов, а так как путь был не дальний, то торопиться не было никакой надобности. Мы ехали то шагом, то маленькой рысцой; парная тележка, в которой ехали Миллер и его семья, вскоре скрылась у нас из виду.

Дорога от Неста к Маленькому Несту была настолько приятна для глаз, насколько может быть приятна ровная, цветущая долина, где нет ни гор, ни вод. При всем том, главная долина Равенснеста представляла собой картину полного изобилия и богатства страны, какой никогда не могут похвастать европейские сельские пейзажи, где, благодаря отсутствию оград, частоколов, изгородей между отдельными участками и группировке жилищ населения в деревнях и селах, вдали от полей, последние имеют вид унылых пустырей.

— Да, это поместье стоит того, чтобы на него столько точили зубы,

— сказал, между прочим, дядя, — хотя до настоящего времени оно не было особенно доходным для своего владельца. В Америке большинство поместий не приносят почти ничего, кроме труда и неприятностей в течение первого полувека.

— А после того арендатор должен получить это ваше поместье в награду за свои труды! — добавил я не без горечи.

Тем временем мы приближались к церкви святого Андрея и прилегавшему к ней церковному дому с его угодьями. Все здесь имело какой-то особенно аккуратный, опрятный вид, несравненно более привлекательный, чем когда я в последний раз был здесь перед своим отъездом.

— А вот и шарабанчик мистера Уоррена стоит у крыльца! — воскликнул дядя в тот момент, когда мы проезжали мимо дома священника. — Неужели и он имеет намерение отправиться туда, в Маленький Нест, по случаю этого митинга?

— Это весьма возможно, — отозвался я, — судя по тому, что мне говорила о нем Пэтти. По ее словам, он высказал самое деятельное сопротивление этому антирентистскому движению, он во всеуслышание говорил смелые проповеди против всех модных и новейших принципов, хотя и не называл никого по имени, но все же довольно ясно указывал именно на антирентистов. Другой здешний священник на стороне народа и поет ему в тон, проповедуя и молясь в пользу антирентистов.

Затем мы некоторое время молча продолжали свой путь, который вскоре стал пролегать лесом. Лес этот, тянувшийся на довольно значительном протяжении, представлял собой часть того девственного леса, который спускался в долину с соседних гор. Нам пришлось проехать более мили лесом, прежде чем снова выбраться в долину, по которой нам оставалось сделать еще около полутора мили до деревни, которая оставалась влево от нас. Между прочим, мы достигли уже середины леса; дорога шла узкая, между двух живых стен молодых порослей, местами подступавших так близко к дороге, что ветви их хлестали нам прямо в лицо. Вдруг до нашего слуха донесся какой-то пронзительный и вместе с тем таинственный свист. Признаюсь, что при этом я почувствовал себя не совсем приятно, потому что мне вдруг припомнился мой вчерашний разговор с Бриггамом. Достаточно было одной минуты, чтобы все стало нам совершенно понятно.

Я только что успел придержать лошадь и оглянуться кругом, как из кустов вышли один за другим, в стройном порядке, человек шесть или семь ряженных и вооруженных людей и, выстроившись в ряд поперек дороги, преградили нам путь. Наряд их был весьма несложный; он состоял из рода широкой коленкоровой блузы красно-коричневого цвета и таких же очень просторных брюк, совершенно скрывавших фигуру человека. Головы их были продеты в мешки такого же цвета, заменявшие одновременно и головной убор, и маску с прорезями для носа и рта. Узнать в этом наряде человека не было никакой возможности, если он не отличался выдающимся большим или меньшим ростом, среднего же роста человек не мог никаким образом быть узнан до того момента, покуда он не заговорит. Говорили эти индженсы очень редко, кроме одних их предводителей или начальников, которые, в случае надобности, вступали в переговоры; тогда они изменяли голос и прибегали к подражанию своеобразному английскому наречию индейцев. Несмотря на то, что ни я, ни дядя, мы до сих пор еще ни разу не видали этих нарушителей общественной тишины и порядка, мы сразу узнали в них тех пресловутых индженсов, о которых уже столько слышали за время нашего пребывания в Америке.

Первой мелькнувшей у меня в голове мыслью при виде этих людей было намерение повернуть лошадь и гнать ее обратно во всю прыть, но, по счастливой случайности, я взглянул назад и увидел, что и отступление нам преграждала такая же фаланга мнимых индейцев. Итак, нам оставалось лишь не ударить лицом в грязь перед этими людьми, и я спокойно погнал вперед лошадь той же неторопливой рысцой, как раньше, покуда один из этих людей не остановил ее, взяв под уздцы!

— Саго, саго! — крикнул нам тот из индженсов, который, казалось, был их начальником. — Откуда едет? Куда едет, э-э? Что говорит: — «Живи рента! Ура рента!» или: «Долой рента», э-э?!

— Мы быть немси, — ответил ему дядя Ро, коверкая, как можно больше, свой родной английский язык, причем мне ужасно хотелось расхохотаться, слушая этих двух людей, прекрасно владевших их общим природным языком, но изощрявших коверкать его по мере сил с целью взаимного обмана. — Мы быть немси, я фам гофорил, и мы ехал слушайт одна шеловека, котори быть говорит про рента, и мы шелает продават часи. Ви не шелайт покупайт корош часи?

Индженсы принялись при этом скакать, кричать и жестикулировать, выражая этим свое удовольствие. В одну минуту вся банда обступила нас со всех сторон, заставила нас сойти с тележки и, указав дяде на толстый ствол поваленного дерева, предложила ему показать свой товар. Я ожидал, что драгоценности и часы дяди исчезнут тотчас же в бездонных карманах этих господ; кому, в самом деле, могло прийти на мысль невероятное предположение, что эти люди, сплотившиеся для грабежа в крупных размерах, постесняются совершить то же самое в мелочах? Около дюжины часов мгновенно очутилось в руках господ индженсов, которые сердечно восхищались их блестящим внешним видом, тогда как предводитель их, усадив меня на другом конце обрубка, принялся кое о чем расспрашивать меня.

— Смотри, правду говорить. Это вот, — и он выразительно ткнул себя в грудь, — это — Яркая Молния, говорить ложь ему не добро! Что делаете здесь, э, э?

— Мы приехал видайт индженс и деревенски людей, и продават часи.

— Не ложь это? Правда это все? Вы кричать можете: «долой ренту», э, э?

— О, это быть ошень не трудно: «долой ренту, э, э!»

— Немцы, правда, э, э? Не шпионы? Правительство не посылало вас, э, э? Землевладельцы вам не платят, э, э?

— Што мошет я шпионир, што я видайт, шеловеки с коленкорови лисо! Вы зашем бояться прафительства? Я думайт, прафительствф быть приятель большая от антирентист.

— Но когда мы поступаем так, то посылает кавалерию, посылает пехоту на нас, но полагаю и я, что оно было бы друг антирентистам, если бы смело.

— К черту это правительство! К черту его! — произнес чей-то голос самым чистым английским диалектом. — Если правительство нам друг, так к чему оно выслало и кавалерию и артиллерию в Худсон? К черту его!

Яркая Молния сказал несколько слов на ухо одному из своих товарищей, и тот, взяв за руку буйного воителя, отвел его куда-то подальше, в чащу леса. После этого Яркая Молния продолжал свой допрос.

— Правда, не шпион, э, э? Правда, правительство не послало э, э? Правда продавать часы, э, э?

— Ми приехал видайт, мошно или не мошно здесь продафайт часи, а не прафительствф, я не видайт этот шеловек никогда.

— Что про инджиенсов говорят там? Что про антирентистов, э, э?

— Хм, одни шеловек говорит антирента корош штук, одни шеловек — не корош штук, кашди шеловек думайт, как хошет.

В этот момент снова раздался подозрительный свист; инджиенсы, все до одного, мгновенно повскакивали на ноги. Каждый положил поспешно обратно те часы, которые держал в руках, и менее чем в полминуты мы остались одни. Все это произошло так быстро и неожиданно, что мы не знали, что далее предпринять. Однако дядя спокойно начал убирать в ящик свои часы и драгоценности, тогда как я направился к лошади. Шум колес возвестил нам о приближении экипажа, похожего на наш; когда он показался из-за поворота, который в этот момент делала дорога, я заметил, что в шарабане сидел мистер Уоррен и его прелестная дочь.

Дорога была очень узкая, а так как наш экипаж стоял поперек пути, то и проехать не было никакой возможности.

— Здравствуйте, господа, — приветливо поздоровался с нами мистер Уоррен. — Что это, вы угощали Генделем лесных нимф?

— Nein, nein, Herr Pastor, ми встретили здесь покупатель, который нас сичас покупал, — ответил дядя Ро. — Guten Tag. Guten Tag, Herr Pastor, ви тоже ехал на дерефни, на митинг?

— Да, я узнал, что там сегодня должен быть митинг этих заблудших людей, называемых здесь антирентистами, и что некоторые из моих прихожан должны присутствовать на нем, в таких случаях я считаю своим долгом быть среди моих братьев и вразумлять их трезвым словом и советом.

— А ваш молодой девис тоже шелает видайт инджиенс, и говорить им, что он ошен не короше шеловеки?

Лицо Мэри, казавшееся мне немного бледнее обыкновенного, на этот раз вдруг покрылось ярким румянцем, головка ее склонилась низко-низко, и она кинула на отца умоляющий и вместе с тем нежный и тревожный взгляд.

— Ах, нет, — торопливо возразил мистер Уоррен, — нет, это милое дитя должно было насиловать все свои чувства и вкусы, чтобы решиться на эту поездку, но она боялась отпустить меня одного, опасаясь за меня.

Разговор перешел, понятно, на антирентистов, и так как они говорили громко, а не вполголоса, то нас, вероятно, могли слышать и возыметь на нас некоторую злобу. Из опасения не совсем приятных последствий нашего разговора дядя незаметно сделал мне знак поскорее сдвинуть с дороги наш шарабан, чтобы дать мистеру Уоррену возможность проехать. Однако это было дело не совсем легкое, и мистер Уоррен, очевидно, не торопился ехать дальше, не подозревая, конечно, какого рода слушателей он имеет вокруг себя.

— Какое, в самом деле, печальное явление, когда люди принимают в себе корысть за поборничество свободы?! А между тем вы встретите среди этих людей десятки, которые чистосердечно уверены, что стоят за святое дело народной свободы и либеральных постановлений.

Положение наше с минуты на минуту становилось все более и более затруднительным; шепнуть на ухо мистеру Уоррену о том, что здесь есть посторонние слушатели, было бы крайней неосторожностью, тем более, что в то время, как священник еще говорил, я заметил, как Яркая Молния высунул свою физиономию из-за кустов и с жадностью ловил каждое слово разговора. Боясь действовать сам по себе, я предоставил дяде позаботиться об изменении или улучшении нашего положения. Дядя Ро решил продолжать разговор, но в таком духе, чтобы говорить несколько в защиту антирентистов. Это, конечно, не могло принести никому ни малейшего вреда, а вместе с тем могло значительно способствовать нашей безопасности, по крайней мере, в данное время.

— Он, мошет быть, не шелает платить рент оттого, што шелает иметь семля так, без рента.

— Да, но в таком случае, почему же они не покупают земли? Если они не желают платить ренту, так зачем же они заключали такое условие?

— Бить мошет, они сменили свая мысли и свая шувства, што быть корош вшера, то само быть не корош сегодня, это бувайт!

— Да, конечно, это может быть, что изменились обстоятельства, изменяются и условия, но ведь мы не вправе заставлять других страдать за свои ошибки или легкомыслие. А наше правительство только и делает за последнее время, что изощряется разрушить законность того, что само оно признало законным, и все это ради того, чтобы заручиться большим числом избирательных голосов.

— Oh, aber, избирательни голос — это корош, ошень корош штук во фремя вибор, ха, ха, ха! — воскликнул дядя.

Я заметил, что мистер Уоррен был не только удивлен, но и огорчен этими словами и грубым хохотом дяди, но по отношению к инджиенсам он вполне достиг своей цели. Вслед за хохотом дяди раздался резкий свист в кустах, и до пятидесяти инджиенсов с дикими криками высыпало на дорогу и обступило экипаж священника.

Видя это, Мэри Уоррен в первый момент слабо вскрикнула, но тотчас же овладела собой и затем уже все время держала себя с полным достоинством. Я постарался приблизиться к ней, чтобы шепнуть несколько утешительных и успокоительных слов, но она ничего не видела и не слыхала, она только и думала, что о своем отце, боялась и дрожала за него одного, не обращая ни малейшего внимания на все остальное.

Между тем инджиенсы действовали последовательно. Прежде всего они принудили мистера Уоррена и его дочь выйти из экипажа, но сделали это деликатно и без грубого насилия, чего я сперва опасался. Таким образом, мистер Уоррен, Мэри, дядя мой и я очутились все посреди

дороги, окруженные со всех сторон тесным кольцом индженсов, которых было не менее пятидесяти человек.

Глава XIV

Нет больше труда в отчаянии, нет больше тиранов; нет более раба, нет более налогов на хлеб, с пустым, как могила желудком.

Все это совершилось так быстро, что мы не успели ничего сообразить. Мэри, по-видимому, ужасно боялась за отца, но совершенно забывала о себе. Сам мистер Уоррен не проявлял ни малейшего волнения или смущения; он, очевидно, был совершенно спокоен и за себя, и за других. Между тем я заметил, что кто-то вынес на дорогу громадный горшок дегтя и кулек с мелким пером; было ли то случайно, или же эти мнимые дикари первоначально имели гнусное намерение пустить в ход это свое излюбленное оружие против уважаемой личности мистера Уоррена, сказать трудно, но только эти грозные орудия вскоре опять незаметно исчезли с того места, где я их видел.

После этого всеобщего переполоха наступила минута общего молчания, которой и не замедлил воспользоваться мистер Уоррен.

— Что я такое сделал, друзья мои, — заговорил он, — чтобы быть таким образом остановленным на пути моем по делу и долгу моего служения, среди белого дня, на большой дороге, ряжеными и вооруженными людьми, вопреки нашему закону, воспрещающему кому бы то ни было появляться в общественных местах ряжеными и при оружии? Это дерзкий и смелый поступок, друзья мои, за который вы весьма рискуете подвергнуться строгому наказанию, и многие из вас, быть может, пожалеют о том, что они сейчас делают!

— Не говорите проповедей здесь! — сказал Яркая Молния. — Проповеди пригодны на митинге, но не годны на большой дороге!

— Добрый совет и предостережение пригодны всюду и всегда могут принести свою долю пользы там, где есть намерение совершить нечто преступное. Сейчас вы преступаете закон, за что каждому из вас грозит продолжительное тюремное заключение. Мой долг и моя обязанность повелевают мне напомнить вам об этом и предупредить вас о том, какая вам за это может грозить кара, весь мир, друзья мои, есть храм обширный нашего Бога, и все служители его должны повсюду проповедовать его священные заветы.

Видно было, что спокойные серьезные слова священника произвели известное впечатление на эту толпу.

Люди, державшие мистера Уоррена, опустили руки и отступили немного в сторону, так что образовался кружок, центром которого являлся священник.

— Друзья мои, если вы хотите немного расступиться, — сказал он, — то я позволю себе высказать вам здесь же причины, почему все ваше поведение...

— Здесь не проповедывать! — вдруг прервал его Яркая Молния. — Проповедывать иди в деревню, иди на митинг; пусть на собрание два проповедника будут тогда. Подайте тележку, сажайте его туда, и иди, иди, дорога открыта, иди!

Мистер Уоррен не сопротивлялся; его усадили в шарабан рядом с моим дядей, тогда он вспомнил о дочери и, обернувшись к ней, просил ее успокоиться и вернуться домой; она так и рвалась к нему, я с трудом мог удержать ее, чтобы она не кинулась к нему в эту минуту и не ухватилась за него. Он обещал ей вернуться тотчас, как только исполнит свой долг там, на селе.

— А править лошадей в твоей тележке некому, кроме этого молодого человека; здесь так недалеко, что, надеюсь, он не откажет мне в этой маленькой услуге довести тебя домой, после чего ничто ему не мешает вернуться в этом самом экипаже на митинг.

По привычке во всем слушаться отца Мэри позволила мне сесть рядом с собой в тележку; я взял возжи и кнут, счастливый, что мне доверили такое сокровище, как эта прелестная девушка.

Когда все это было улажено, индженсы тронулись в путь, конвоируя своих пленных по всем правилам военного искусства: часть их шла перед экипажем, часть сзади, а по обе стороны шли по четыре человека для того, чтобы сделать всякую попытку бегства совершенно невозможной. Но шуму не было ни малейшего, слова команды заменялись знаками, а между собой эти суровые воины не говорили ни слова.

Наша тележка некоторое время стояла неподвижно на месте, покуда индженсы и их пленные не отошли более, нежели на сто шагов, причем на нас никто не обращал ни малейшего внимания. Я выждал это время для того, чтобы, во-первых, убедиться в дальнейших намерениях индженсов по отношению к мистеру Уоррену и моему дяде, а во-вторых, и для того, чтобы иметь возможность достигнуть того места, где дорога становится немного шире и где не трудно повернуть экипаж. Достигнув этого места, я уже стал осторожно заворачивать лошадь, как вдруг крошечная ручка Мэри, затянутая в светлую перчатку, ухватилась за возжи, стараясь заставить лошадь идти вперед.

— Нет, нет! — воскликнула она тоном, не допускающим никаких возражений. — Мы поедем за моим батюшкой в село. Я не могу, не должна, не хочу оставить его одного!

И обстоятельства, и место казались мне как нельзя более благоприятными для того, чтобы признаться Мэри, кто я такой. Во всяком случае, я уже решил не слыть далее в ее глазах каким-то уличным музыкантом.

— Мисс Мэри, — заговорил я с некоторым волнением в голосе, — ведь я не то, чем я вам кажусь, я вовсе не уличный музыкант!

Она вздрогнула и посмотрела на меня испуганными глазами: она все еще держала руку на вожжах и дернула их с такой силой, что остановила лошадь; мне даже показалось, что она была готова выскочить из экипажа.

— Не пугайтесь, прошу вас, — успокаивал я ее, — я убежден, что вы будете не худшего обо мне мнения только оттого, что вы узнаете, что я не иностранец, а ваш соотечественник и дворянин хорошей семьи, а не бродячий музыкант.

— Но все это так необычайно, так неожиданно! .. Однако, кто же вы, милостивый государь, если вы не тот, за кого вы себя выдавали до этого времени?

— Я брат вашей подруги Марты, я Хегс Литтлпедж! — отвечал я.

Мэри пустила возжи и, повернувшись ко мне лицом, молча уставилась в меня глазами, полными удивления и недоумения. Я проворно скинул свою шляпу и вместе с нею и парик и предстал перед нею в естественном уборе своих густых кудрей.

Мэри тихо вскрикнула, и бледное лицо ее окрасилось нежным румянцем; едва заметная улыбка осветила ее черты, она, казалось, совершенно успокоилась.

— Прощаете ли вы меня, мисс Уоррен? — спросил я. — Согласны ли признать во мне брата вашей подруги?

— А Марта, а мадам Литтлпедж знают об этом? — осведомилась в свою очередь молодая девушка.

— Да, знают, я уже имел счастье обнять бабушку и сестру.

— Милая моя Марта, как хорошо она сумела скрыть свою игру, как осмотнительно она хранила вашу тайну!

— Это было до крайности необходимо, вы сами знаете! Вы должны понять, как было бы неосторожно явиться открыто в мои собственные владения. Несмотря на то, что я имею условие, в силу которого во всякое время имею право посещать любую из ферм с тем, чтобы следить за соблюдением моих интересов, я тем не менее уверен, что теперь было бы для меня не безопасно посещать какую-нибудь из них.

— Скорее, ради Бога, оденьте ваш парик и шляпу, — тревожно воскликнула Мэри, — не следует рисковать напрасно ни минуты!

Я повиновался ей. А между тем во все время этого разговора мы совершенно забыли о существовании мистера Уоррена, дяди и мнимых индейцев, а потому пора была теперь подумать о том, что нам следовало делать дальше. Я решил осведомиться о желании моей спутницы, которая слушала меня с видимой тревогой и, казалось, находилась в какой-то нерешимости.

— Если бы не одно обстоятельство, — сказала она как-то не смело, по некотором размышлении, — то я бы настаивала на том, чтобы ехать следом за папой, но...

— Но что же, какая же может быть причина, заставляющая вас изменить этому вашему желанию?

— Я боюсь, что, может быть, для вас не совсем безопасно появляться среди этих людей.

— Не беспокойтесь и не думайте обо мне, мисс Уоррен, ведь вы сами свидетельница тому, что я уже некоторое время вращаюсь среди них, не опасаясь быть узнанным, а кроме того, я имел все равно намерение проводить вас до дома, а потом вернуться и присутствовать на митинге.

— О, в таком случае поедemте за моим отцом, прошу вас, быть может, мое присутствие может избавить его от какого-нибудь оскорбления.

Я был в восторге от ее решения по двум причинам: во-первых, я радовался, видя в этом нежную детскую привязанность ее к отцу, а во-вторых, был рад случаю провести с ней как можно больше времени.

Мы почти целый час ехали до деревни, несмотря на то, что тут не было и двух миль; в течение этого времени Мэри Уоррен и я так близко познакомились друг с другом, как если бы прожили с ней вместе целый год в обычной обстановке.

— А, вот, вот и все это племя, и их неповинные ни в чем пленники!

— воскликнула Мэри, когда мы почти нагнали дядю и мистера Уоррена с их свитой, въезжавших в деревню.

— А кто ваш сотоварищ, — спросила Мэри, — человек, которого вы нанимаете нарочно для того, чтобы он играл при вас роль спутника?

— Это мой дядя, мистер Роджер Литтлпедж, о котором вы, вероятно, часто слышали в нашей семье.

Мэри тихонько вскрикнула от удивления и чуть было не расхохоталась; немного спустя она обратилась ко мне, вся раскрасневшись и подавляя смех:

— А мы-то с папой принимали вас: одного за разносчика, другого за уличного музыканта! — и она рассмеялась совсем по-детски.

Я уполномочил Мэри разоблачить наше инкогнито перед ее отцом и сообщить ему о моем признании.

Между тем мы уже въехали в деревню, и я помог моей спутнице выйти из экипажа.

Мэри тотчас же отыскала отца, а я тем временем позаботился о лошади, которую привязал вместе с другими у частокола заезжего двора, где уже стояло от двух до трехсот различных тележек и повозок. На улице толпилось столько же женщин и девушек, приехавших сюда на митинг, сколько и мужчин. Индженсы, проводив наших друзей до самой деревни, предоставили им затем полную свободу. Вскоре я увидел с ними и Мэри, разговаривавшую вместе с отцом, с Сенекой и Оппортюнити Ньюкем, тогда как индженсы сгруппировались вокруг моего дяди, немного поодаль, и дружелюбно торговали у него часы, очевидно, ничуть не подозревая подлинной его личности. Большинство этих переряженных людей увлеклось осмотром часов, но некоторые из них, судя по глазам, казались озабоченными и задумчивыми.

Эти люди в коленкорových масках и с оружием действительно держались немного поодаль от толпы и как будто преднамеренно выделялись и сторонились мирных поселян, но многие из числа этих последних подходили к ним и разговаривали очень дружелюбно.

Но вот раздался звон колокола, и вся толпа направилась в «церковь», хотя это слово и было в последнее время заменено названием митинг-хауз, meeting-house note 8 . Здание это было в то время предоставлено в распоряжение диссидентов, хотя первоначально это здание было построено для прихожан епископальной церкви.

Все мы вошли толпой, мужчины, женщины и дети, в том числе и дядя Ро, и мистер Уоррен, и Мэри, и Сенека, и Оппортюнити, и я, исключая индженсов. Эти мнимые дикари остались вне церкви, где воцарилось тотчас глубокое молчание и тишина. Оратор находился на возвышении, напоминавшем эстраду, а по обе стороны от него стояли два священника, неизвестно какой секты. Мистер Уоррен и Мэри поместились на стульях у самого входа; я заметил, что при появлении на эстраде двух священников мистеру Уоррену сделалось не по себе; он даже заметно побледнел в эту минуту, затем встал со своего места и в сопровождении дочери поспешно вышел из церкви. В одну минуту я был уже около них. Первое мое предположение было, конечно, что внезапное нездоровье было причиной их ухода из церкви; к счастью, как раз в это время один из двух

священников начал читать молитву, и все собравшиеся разом поднялись со своих мест, а потому уход мистера Уоррена с дочерью не был особенно замечен среди общего шума и движения.

Теперь индженсы подошли к самому храму и обступили его со всех сторон, просунув головы в открытые настежь окна церкви, откуда они отлично могли видеть и слышать все, что делалось и говорилось на эстраде. Впоследствии я узнал, что это недопущение индженсов в храм происходило по настоянию одного из присутствующих здесь священников, объявившего заранее, что не произнесет ни единого слова молитвы к Богу, если увидит в числе присутствующих в храме хоть одного из этих людей. Вот уже поистине люди, «отцеживающие комара и верблюда поглощающие», даже и не поморщив носа.

Глава XV

Я тебе говорю, Джек Кад, что суконщик имеет намерение одеть республику, вывернуть ее и обшить новым мехом.

«Генрих VI»

Зная, что Мэри успела уже сообщить своему отцу о том, кто я такой на самом деле, я не постеснялся последовать за ними. Перейдя на ту сторону улицы, они вошли в первый попавшийся крестьянский дом, двери которого стояли настежь, так как все обитатели его отправились, вероятно, на митинг, и мистер Уоррен в изнеможении опустился на соломенный стул у самого порога. Мэри осталась стоять подле него, а я, войдя, остановился в дверях.

— Благодарю вас, мистер Литтлпедж, — вымолвил, наконец, священник, немного оправившись и придя в себя... — Теперь мне уже лучше, скоро это совсем пройдет, я уже успокоился, благодарю вас! — Ничего более он не добавил для пояснения причины своего внезапного нездоровья, но Мэри впоследствии объяснила мне все. Оказалось, что, отправляясь на этот митинг, почтенный мистер Уоррен не предполагал даже, что там будет нечто, похожее на церковное богослужение, и потому, когда он увидел, что на эстраде, наряду с этим ярмарочным оратором, появились два священника, то это поразило его, как громом. Ему казалось, что это сочетание религиозного обряда и молитв с противозаконными умышленно лживыми и несправедливыми сетованиями, обвинениями и злонамеренными разглагольствованиями является непозволительным кощунством, и он не в силах был совладать со своим волнением. Придя в себя, он решил обождать здесь на дворе, покуда вся религиозная церемония не окончится и не будет приступлено к чисто политическим прениям о правах собственности, правах народа и правах человека и других тому подобных вещах.

Не подлежит, однако, никакому сомнению, что своим уходом почтенный мистер Уоррен приобрел себе немало врагов и утратил отчасти на время свою популярность. Очевидно, что большая половина людей, собравшихся в данный момент на митинг, весьма мало интересовалась ходом религиозной церемонии и чтением своих молитв, а несравненно более занималась поступком мистера Уоррена, который они называли непристойным. К словам богослужения, за малым исключением, все относились без всякого внимания, но выйти из церкви, как раз в тот момент, когда священник только что стал читать молитвы, казалось всем возмутительной демонстрацией. Конечно, очень немногие из числа всех этих людей могли понять настоящую причину такого поступка со стороны мистера Уоррена, не понимая тех деликатных и религиозных чувств, которые побудили его поступить так.

Прошло немного времени прежде чем мистер Уоррен успел окончательно оправиться, после чего он обратился ко мне с несколькими словами приветствия по случаю моего возвращения на родину.

Тем временем движение около церкви говорило о том, что там уже приступили к настоящей задаче митинга, и мы сочли своевременным также отправиться в церковь.

— Смотрите, эти ряженые следят за вами, — заметила Мэри Уоррен; замечание это порадовало даже меня, так как оно говорило о ее заботе и беспокойстве обо мне.

Действительно, судя по поведению некоторых из инджиенсов, было ясно, что за нами следят, а в тот момент, когда мы подходили к церкви, некоторые из этих людей проявили намерение подойти к нам. Тем не менее, ни мистеру Уоррену, ни Мэри они не сказали ни слова и молча пропустили их, но двое из них преградили мне путь, как только я вступил на паперть, скрестив передо мной свои ружья.

— Кто такой? — резко спросил один из них. — Куда идешь? Откуда пришел?

— Я приехал с немески сторона, я пашла на серкви, как быть говорить на моя родина, а вы называйт дом для миттинг.

Не знаю, что было бы дальше, если бы в этот момент не раздался звучный напыщенно торжественный голос знаменитого проповедника. Казалось, первые слова его были своего рода сигналом для инджиенсов, так как в тот же момент воины, преградившие мне путь, молча отошли от меня, хотя я все же видел, как они, удаляясь, сообщали друг другу свои подозрения на мой счет.

Пользуясь тем, что проход был свободен, я вошел в церковь и пробрался сквозь толпу до того места, где находился дядя.

Оратор оказался весьма напыщенным, многословным, расплывчатым, но при всем том совершенно нелогичным. Речь его носила общий характер тех речей, которые обращаются к страстям, дурным инстинктам и корыстным интересам толпы, а отнюдь не к ее рассудку или чувству справедливости. Он начал с того, что громогласно возмущался всякого рода тиранией, прерогативами известного сословия, взиманием ренты живностью и плодами или же определенным числом рабочих дней и долгосрочными арендными условиями. Но после этих общих мест необходимо было перейти и к общим интересам присутствующих здесь людей, удовлетворить требованиям и ожиданиям недовольных арендаторов Равенснеста, которые не имели в своих условиях ни обязательства уплачивать часть ренты живностью или рабочими днями, ни долгосрочных договоров или контрактов, так как почти все эти условия должны были окончить срок свой со дня на день.

На что же мог он теперь сетовать? Темой подходящей явилась для него, конечно, семья Литтлпедж! «Что они сделали, эти Литтлпеджи, чтобы стать властелинами этой земли?» — восклицал он, причем, конечно, умалчивал о тех общественных заслугах, какими мог бы похвастаться мой род; но ведь отдавать должную дань справедливости совсем не входило в его программу, а напротив, он хотел только льстить вкусам и желаниям тех, кого он называл народом, то есть алчной, бессмысленной толпе. «Ведь этот юный Литтлпедж пальцем не ковырнул на этой земле, которую он с гордостью европейского магната называет своими владениями или своим поместьем».

«Из вас же каждый, дорогие сограждане, может нам показать свои мозолистые руки и напомнить нам о знойных летних днях, когда в поте лица вы боронили и пахали землю и превращали в роскошную и плодородную долину эти былые пустыри и лесные дебри. Вот они, ваши права на эту землю, которую ваши собственные руки сделали тем, что она есть! А Хегс Литтлпедж ни разу в своей жизни не проработал на своих полях и нивах ни одного дня. Нет, славные сограждане, никогда этот человек не имел этой великой чести и никогда иметь ее не будет до той поры, покада справедливым разделом того, что он теперь так нагло именует своей собственностью, вы не принудите его самого пахать землю, чтобы пожинать те плоды, которыми он желает пользоваться».

Далее следовали такого рода возгласы:

«Где он теперь, этот праздношатающийся, этот молодой Литтлпедж? В Париже, где тратит направо и налево, на разврат и кутежи, по примеру старой европейской аристократии, плоды наших трудов и пота. Он утопает теперь в роскоши и богатстве, тогда как вы и все ваши близкие питаетесь в поте лица трудами рук своих. Он, этот Литтлпедж, не станет довольствоваться оловянной ложкой, друзья мои, нет. К некоторым блюдам ему требуется золотая, и даже вилка, которая прикасается к его губам, должна быть непременно чистого серебра, для того, чтобы от ее прикосновения не пострадали его священные уста!»

Здесь была сделана попытка вызвать аплодисменты, но ничего из этого не вышло. Оратор спохватился, что тот эффект, на который он рассчитывал, ему не удался, и потому он, не задумываясь, перескочил на другой предмет: он заговорил о наших правах собственности, о том, на каком основании мы, Литтлпеджи, владеем всей этой землей. «Откуда взялись эти права? Кто их дал им? Король английский? Но разве народ не отвоевал всей этой территории у английского государства? Не стал разве народ владеть всем тем, чем раньше владел король Англии? А в порядке вещей, что победителю достается после победы вся добыча; следовательно, отвоевав у Англии Америку, наш народ завоевал всю эту землю и получил право владеть ею и удерживать ее за собою».

Так как арендаторы не представляют собою народа, то они, собственно говоря, — незаконные владельцы всех этих земель вокруг, это богатое и славное наследие должно быть поделено между честными и работающими людьми, а не присваиваться каким-то богатым тунеядцем и бездельником, трапящим все свои доходы по заграницам.

Мало того, — восклицал он, — я утверждаю, что и в настоящий момент эти работающие люди, арендующие за трудовые деньги эту землю, имеют на нее полное нравственное право, но только закон не хочет признать за ними это право. Этот проклятый закон один только мешает арендаторам предъявить свои права собственности на обрабатываемую ими землю, которой теперь владеет без труда это привилегированное сословие, которое должно быть непременно принижено до общечеловеческого уровня. Я признаюсь, конечно, что было бы несправедливо одолжать или нанять на время работы лошадь или тележку у соседа, и затем придумывать какие-нибудь извороты, чтобы ее присвоить. Но ведь лошадь эта не земля, надеюсь, вы с этим согласны?!

Ведь земля — это элемент такой же, как воздух, огонь и вода, а кто же вправе утверждать, что свободный человек не имеет права на воздух или воду, а следовательно, и на землю?! Эти права называются философией элементарными правами человека, что означает права на элементы, из коих самый главнейший, конечно, земля. И в самом деле, что бы было, если бы не было земли, на которой мы держимся?! Мы бы беспомощно болтались в воздухе, наши воды пропадали бы даром, расплываясь в виде паров, и мы не могли бы применять их для наших мельниц и мануфактур! Но я, конечно, не отрицаю права первого приобретения собственности; оно, конечно, укрепляет элементарное право человека, а потому, если предки Литтлпеджа платили что-нибудь за эти земли, то я на вашем месте, друзья мои, был бы великодушен и возвратил ему первоначальную стоимость этих земель. Быть может, его прапрадед платил английскому королю по одному центу с акра, а быть может, и по два цента; положим ему хотя бы даже по сикспенсу за акр и заткнем ему этим рот. Как бы то ни было, но я сторонник великодушных мер!

Сограждане мои, — воскликнул оратор, — я вам объявляю во всеуслышание, что я демократ самой чистой воды, и, по моему искреннему убеждению, один человек стоит другого во всех отношениях: ни родословная, ни воспитание, ни богатство, ни бедность — ничто не может нарушить этой священной истины.

Итак, один человек стоит другого, и потому права должны быть одинаковые для всех в отношении пользования землей и всеми благами жизни. Я того мнения, что большинство всегда должно решать во всем и что долг меньшинства во всем подчиняться голосу большинства. На это мне некоторые возражали, что в таком случае люди, составляющие меньшинство, не стоят тех, которые представляют собою большинство, и их права не одинаковы, если одни могут решать, а другие обязаны беспрекословно покоряться. Но ответ на это возражение весьма простой: меньшинству остается только пристать к большинству, и тогда права всех станут равны! Ведь каждый человек может пристать к большинству, и так именно поступает каждый разумный человек, как только он успеет распознать, на какой стороне стоит большинство.

Дорогие сограждане, вы знаете, конечно, что готовится великое народное движение. Итак, вперед, вперед, друзья мои! Таков наш общий клич! Недалеко то время, когда, наконец, наши здравые принципы восторжествуют и совершится тот великий переворот, та благодатная всеобщая реформа торжества любви, милосердия и добродетели, когда не слышно будет более нигде ненавистного слова «рента», и каждый человек будет иметь возможность посидеть вечером после дневных трудов под сенью своей яблони или же своей вишни.

Я — демократ, сограждане! Да, я демократ и этим доблестным наименованием горжусь! Да, это моя гордость, моя слава, моя доблесть! Пусть правит государством только один народ, и все будет прекрасно, потому что народ не склонен никогда говорить что-нибудь дурное, да! » и так далее. Не стоит передавать дословно это сплетение пошлостей и глупостей и мелкого мошенничества или негодяйства, скажу только одно, что каждый раз, когда оратор упоминал об антирентизме, то было видно, что он затрагивает живую струну всех здесь собравшихся людей.

Речь его продолжалась более двух часов; когда же он окончил свое разглагольствование, из среды слушателей поднялся человек и в качестве председателя (как известно, где только соберутся три американца, там уже не обойдется без председателя и без секретаря) пригласил желающих выступить. Первым моим побуждением было, конечно, сбросить с себя парик и выступить на защиту истины, обличив всю ложь и пошлость предыдущей речи. Несмотря на то, что мне еще ни разу не случалось говорить публично, я был почти уверен в своем успехе. Я шепотом сообщил дяде о своем намерении, в то время, как он уже поднялся с места, решившись принять на себя ту же задачу; вдруг из толпы послышался приятный, звучный голос механика Холла, того самого, которого мы видели в гостинице местечка Мусридж. Тогда дядя и я сели на свои места,

уверенные в том, что наши интересы найдут себе в этом мастеровом надежного защитника, как сторонника безусловной справедливости.

Новый оратор начал свою речь в весьма умеренном тоне, без всяких громких фраз и вычурных, явно бьющих на эффект поз и жестов. Его знали во всей окрестности, и все без исключения уважали, и его слушали с должным вниманием и уважением; он говорил, как человек, не имевший надобности опасаться дегтя и перьев, то есть справедливо и без обиняков. Холл начал свою речь с упоминания о том, что все присутствующие здесь его отлично знают, знают, кто он и какого происхождения, знают, что он отнюдь не собственник и не землевладелец, а простой рабочий человек, как они все, что его интересы те же, что и у них, то есть общие с ними, и социальное положение его тоже не иное; но правое дело останется правым, а ложь и обман всегда должны выйти наружу. «Я тоже, братья, демократ не хуже всякого другого, и убежденный, сознательный демократ, но только я под этим именем подразумеваю нечто совсем иное, чем тот господин, который только что говорил передо мной, — и в том случае, если он демократ, то я не демократ.

Под равноправностью я подразумеваю лишь равноправность перед лицом закона, перед словом которого должны равно преклоняться богатые и бедные, знатные и незнатные. И если бы закон требовал, чтобы покойный Мальбон Литтлпедж оставил после смерти свои земли не своим детям, а соседям, то и тогда, невзирая на всю несообразность такого требования, ему следовало бы покориться. Однако такое требование закона было бы нелепо потому, что ни один человек не захотел бы накапливать богатства для того, чтобы пожертвовать их в общественную пользу. Чтобы заставить человека трудиться целую жизнь и скапливать, путем некоторых лишений, более крупные капиталы, необходимо предоставить ему трудиться для себя или же для своих дорогих и близких, а не для безликой толпы. Предыдущий оратор еще упоминал о том, что всякий раз, когда с течением времени распределение имущества становится неравномерным, необходим новый раздел имущества, но если так, то такой раздел придется повторять все чаще и чаще, так как я знаю людей, которые до того не способны беречь деньги или свое имущество, что если их наделить сегодня наравне с другими, то уже завтра к вечеру у них не будет ничего, между тем как другие до того жадны, что даже путем самых страшных лишений готовы скапливать гроши. Значит, эти разделы придутся на руку только бездельникам, мотам и кутилам, ради которых придется постоянно обирать людей трудолюбивых, воздержанных и бережливых. Да где же тут равенство или справедливость, господа?! Затем, если уж отобрать и поделить между народом поместья и земли молодого Литтлпеджа, то ведь на том же самом основании следует поступить так же и с землями его соседей, чтобы придать этой несправедливости хоть некоторый внешний вид законности. А что касается серебряных ложек и вилок, то, право, почему же этому Литтлпеджу не следовать и в этом своим вкусам и привычкам?! Америка — страна свободная, и все мы — свободные граждане; кто может воспретить мне или кому другому есть жестяной ложкой, хотя бы мой сосед ел и совсем без ложки или же простой роговой? Что тут такого; разве я этим нарушаю права соседа?! Если я не хочу обедать с господином, который кушает серебряной вилкой, никто не может принуждать меня обедать с ним, а если молодой Литтлпедж не любит общества людей, которые жуют табак, то почему и он, как я, не вправе избегать общества таких людей?

Далее, господа, можно ли говорить, что один человек стоит другого или что люди все равны! Что люди всех сословий и положений должны быть равны перед законом и пользоваться одинаковыми правами, да, я с этим согласен; но можно ли при этом утверждать, что один человек стоит другого? Ведь у нас в народе есть даже поговорка: «Человек человеку рознь?!» И после того, к чему же выборы, к чему сопряженные с ними расходы и трата времени, если все люди одинаковы? В таком случае следует просто кидать жребий. Но мы знаем, что среди людей можно делать выбор и в политические деятели, и в работники, и в члены семьи.

Я утешаю себя тем, что ежели мой сын не унаследует ничего после смерти Мальбона Литтлпеджа, то ведь и сын Мальбона не унаследует ничего от меня; так, значит, права наши равны. Если Хегс Литтлпедж может жить за границей, то кто же воспрещает нам сделать то же самое, если бы мы того пожелали?!

Чем мы так возмущаемся в обязательстве платить ренту? Ведь если я возьму на выплату товар, я тоже в определенные сроки буду обязан выплачивать за него, если же арендаторы желают сами стать землевладельцами, то кто же им препятствует покупать себе земли и дома, если только у них на то есть деньги, а если нет нужных капиталов, какое же право они имеют сетовать на то, что другие им их не предоставляют или не дарят своей собственности?! »

Тут страшный шум, гвалт и крики прервали речь оратора; индженсы ворвались в церковь, разогнав перед собой всю толпу слушателей; мужчины, женщины и дети кидались к окнам и дверям, выбегая на улицу, и несколько мгновений спустя все разбежались в разные стороны.

Глава XVI

И, однако же, говорят, что труд — это твое призвание. Это все равно, если бы сказали, что чиновники — люди труда.

Следовательно, мы должны будем быть чиновниками.

«Генрих VI»

Минуты две спустя весь шум и гам затих, и церковь почти совершенно опустела, в ней образовались четыре отдельных группы, если не считать толпы индженсов, заполонивших всю середину церкви. Господин председатель и секретарь собрания, два священнослужителя и приезжий оратор преспокойно сидели на своих местах, уверенные, очевидно, в том, что им не грозит никакая опасность от этих нарушителей порядка и тишины. Мистер Уоррен и Мэри неподвижно сидели в своем уголке под хорами, не считая приличным обратиться в бегство подобно другим.

Мы с дядей находились в противоположном углу тоже под хорами, и, очевидно, нас никто не замечал, а Холл и двое или трое из его друзей стояли на скамье у стены так же спокойно, как если бы ничего не случилось.

— Продолжайте вашу речь, милостивый государь, — обратился председатель к замолчавшему во время этого переполоха Тому Холлу.

В этот момент в боковую дверь тайком, как вор, прокрался Сенек Ньюкем, держась по возможности дальше от ряженных, но вместе с тем с жадностью наблюдая за всем, что здесь происходило, и как бы ожидая чего-то особенного от индженсов.

Холл, осмотревшись по сторонам и увидев, что разбежавшиеся слушатели его опять уже собрались у окон церкви и, следовательно, будут слышать каждое его слово, если только он хоть немного возвысит голос, продолжал свою речь как ни в чем не бывало.

«Я только что хотел сказать, господин председатель, несколько слов о том, что сам Господь счел собственность столь важным делом для нравственности человека, что упомянул о ней в заповедях своих. А именно, Господь сказал: „Не укради и не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дома ближнего твоего, ни села его, ни осла его, ни вола“, и так далее. Не есть ли это несомненное доказательство того, что собственность каждого человека должна быть свята в глазах его ближнего, так как право собственности освящено самим Богом через эти слова Его заповедей?! Мы очень любим тешить себя тем, что поминутно повторяем, что так как у нас управление народное, то, следовательно, народ волен делать все, что он хочет. Но нет, есть нечто такое, что выше народной воли даже и у нас, это известные принципы и понятия, перед которыми должно преклоняться всякое своеволие и произвол; таким образом, вы видите, что и народ не полновластен. Если же мы примем попираем своими ногами...»

Тут уж нельзя было расслышать ни единого слова из того, что говорил оратор; поднялся страшный шум, гам и крик. Возможно ли сказать при каком бы то ни было собрании людей, считающих себя по преимуществу «народом», что народ не полновластен?

Уж этого, конечно, не потерпят, ведь это положительное политическое святотатство против священных прав народного могущества! Толпа, стоявшая под окнами, возропала при этих словах и вознегодовала на оратора, а индженсы принялись кричать и завывать во всю мочь. Очевидно, эта дикая сцена должна была окончить всякого рода прения на этот раз.

Холл, казалось, не был нисколько ни удивлен, ни смущен этой сценой. Он спокойно стер пот с лица и сел на свое место, предоставив индженсам плясать, кричать и завывать сколько угодно, сверкая в воздухе обнаженными ножами или кинжалами и потрясая ружьями в подражание дикой военной пляске природных индейцев.

Мистер Уоррен с дочерью вышли из церкви. Казалось с минуту, как будто им намеревались преградить путь. Вслед за ними вышли и мы с дядей, так как шум, крик и вой становились положительно невыносимы. Очутившись на улице, мы попали в страшную суматоху: женщины металась и бежали в разных направлениях, охваченные какой-то паникой. Но вдруг все как будто замерло на месте при виде выбежавшей из церкви толпы индженсов, влекущей за собой злополучного Тома Холла, окруженного со всех сторон кричащими, воющими и неистовствующими индженсами, выкрикивающими различные проклятия и ругательства. Вся эта сцена поразительно напоминала стаю деревенских псов, накинувшихся и преследующих лаем и гамом пришлого, случайно забежавшего в деревню пса.

Том Холл должен был слышать на этот раз такого рода эпитеты и обвинения, каких, конечно, до сих пор никогда не слышали его уши. Его называли: «подлец, мерзавец, аристократ, подкупная душа, наемник подлых аристократов». Но ко всему этому Холл относился с полным равнодушием и, наконец, сказал:

— Называйте меня, как знаете, мне это безразлично, и ваши безрассудные несправедливые слова меня ничуть не оскорбляют, ведь каждый из вас знает, что я не аристократ и не подлый наемник, а такой же рабочий человек, как большинство из вас.

— Боюсь я, дядя, — заметил я, — чтобы эти негодяи не причинили ему какого-нибудь зла.

— О, если бы не стыд признаться в том, что мы с тобой ряженые, я тотчас бы сказал им, кто я, и постарался бы вырвать этого человека из их рук, — возразил дядя, — но при данных условиях это было бы сущим безрассудством. Надо иметь терпение и подождать, что будет дальше.

— Дегтю и перьев! — сразу крикнуло несколько голосов. — Надо его проучить! Окатите его дегтем, облепите перьями, оциплите и отошлите его восвояси! — кричали другие.

— Том Холл перешел на сторону врага! — крикнул еще кто-то, чей голос мне показался чрезвычайно знакомым. Он повторил раза два или три эти слова, и я был почти уверен, что то был Сенека Ньюкем. Что Сенека был ярый антирентист, это не составляло секрета ни для кого, что он был способен подстрекать других к нарушению закона, это тоже было несомненно, но самому являться законопреступником и ярким нарушителем общественного порядка, этого даже от него трудно было ожидать.

Инджиенсы между тем оставались в нерешительности, опасаясь в одинаковой мере и привести в исполнение свои угрозы, и отпустить безнаказанно Тома Холла, как вдруг в тот самый момент, когда мы ожидали чего-нибудь действительно серьезного, вся эта буря вдруг улеглась, толпа индженсов смолкла и расступилась, давая дорогу Тому Холлу, но сильный, плечистый мастеровой не трогался с места, очевидно, не спеша воспользоваться предоставленной ему свободой. Он угрюмо вытирал со лба пот, очевидно, чем-то недовольный и даже немного разгневанный. Однако он не дал воли своему гневу, но только продолжал стоять все на том же месте, окруженный своими друзьями, пришедшими вместе с ним из Мусриджа.

Мы с дядей сочли неблагоразумным слишком спешить с отъездом из села, согласно с чем старый торговец раскрыл свой ящичек с товаром и стал зазывать покупателей, предлагая им то то, то другое. Я же тем временем пробрался в толпу индженсов и другого народа, так как индженсы разбрелись в разные стороны, разбились на маленькие кучки, и я, свободно пройдя между ними, старался слушать и наблюдать. Случай столкнул меня опять с той маской, которую я принял по голосу за Сенеку Ньюкема. Подойдя к нему ближе, я тихонько тронул его за локоть, дав ему понять при этом, чтобы он отошел со мной немного в сторону, где бы нас не могли слышать другие. После этого я с величайшим простодушием спросил:

— Ви шеловек порядошни, отшего ви тоше быть с индшиен?

Незнакомец вздрогнул при этом вопросе, что доказывало несомненно, что я не ошибся в своем предположении.

— Зачем спрашивать такое у индженса?

— Отшего, это мошно удаться, это мошно не удаться, но такой, как меня, который вас шнает, это не мошно удаться, мистер Ньюкем, а потому скасайт мне, пошему ви такой порядошни шеловек индшиен?

— Послушайте, — сказал Сенека своим естественным голосом, видимо, смущенный моим открытием, — ни под каким видом не выдавайте никому, кто я такой; вы знаете, что это дело не совсем благовидное, и для меня было бы не совсем приятно, если бы кое-кто узнал, что меня видели в этом наряде. Итак, смотрите, не говорите никому об этом. Все же я, как вы сами говорите, джентльмен и адвокат к тому же, но так как вы открыли мою тайну, то угощение за мной. Что вы хотите выпить?

Я счел более осторожным не отказываться от этого угощения, чтобы не выдать себя, и даже сделал вид, что очень обрадован его любезным предложением. Он великодушно предложил мне рюмку горячего виски, которое я довольно ловко разлил, опасаясь задохнуться от первого глотка. Я не мог не заметить, что очень немногие из индженсов пили, хотя свободно расхаживали в

толпе и заходили во все лавки. Сенека тотчас же отошел от меня, как только он счел, что купил мое молчание ценой рюмки виски. Я продолжал свои наблюдения над этими ряженными и вооруженными людьми.

Меня сначала весьма удивило то обстоятельство, что Орсон Ньюкем, брат Сенеки, владелец нескольких лавок и шинка, по-видимому, был крайне недоволен посещениями индженсов; сперва я приписал это обстоятельство тому, что он, в силу порядочности чувств, не одобрял этого противозаконного маскарада, столь явно нарушавшего законы страны, но вскоре я убедился в ошибочности моего первого предположения, поняв, наконец, настоящую причину того недоброжелательства, с которым относился Орсон к индженсам, когда те появились на пороге его лавки.

— Индженс желает коленкору на рубашки! — проговорил, входя и не здороваясь, один из этих негодяев повелительным тоном. Орсон сделал вид, будто не слышит.

Требование было повторено тогда еще более резким и нахальным тоном, после чего Орсон сердито бросил на прилавок кусок требуемого у него товара.

— Ладно, — произнес индженс, рассматривая коленкор, — отмерить двадцать аршин хорошей меры... Слышите!

С покорным подневольным видом отрепал Орсон коленкор, завернул и вручил его покупателю, который спрятал сверток под мышку и преспокойно добавил, уходя из лавки:

— Запишите на счет антирентизма.

Я пробыл недолго в лавке Орсона Ньюкема и, выйдя оттуда, принялся отыскивать мистера Уоррена и его дочь. От старика я узнал, что они собираются уезжать, как и большинство приезжих, в том числе и Том Холл, старый знакомый мистера Уоррена, которого священник позвал к себе обедать, причем советовал и нам поторопиться с отъездом, уверенный, что, оставаясь еще долее на селе, мы рисковали только наткнуться на какую-нибудь неприятность, а может быть и непристойную выходку индженсов.

Я поспешил отыскать дядю, который тем временем успел уже распродать большинство своих драгоценностей и все имевшиеся у него часы, за исключением одних.

По дороге уже начинали тянуться тележки, повозки и шарабанчики приезжих из соседних ферм и деревень гостей, явившихся послушать знаменитого оратора и проповедника. Наблюдая за этими людьми и за окружающим меня пейзажем, я не мог не сознаться, что если большие города Америки имеют в себе нечто сельское и простоватое, в чем уж ни в коем случае нельзя было упрекнуть ни одну из многочисленных столиц Европы, то, с другой стороны, наши села и деревни менее просты и серы, чем где бы то ни было в других странах и частях света. Особенно наши сельские женщины отличаются отсутствием той простоватой грубости, неотесанности и тем характером невежественных существ, какими в большинстве случаев являются крестьянки в других странах. Впереди нас и позади ехали в красивых тележках и на сытых, крепких лошадках мелкие фермеры и поселяне; рядом с нашей тележкой ехали в маленьком шарабане два толстых фермера, с которыми мой дядя перекинулся несколькими словами:

— Ведь вы, кажется, немцы? — спросил старший из двух арендаторов, по фамилии Холмс.

— Та, ми со старой света, ми с Прейссен!

— Скажите, там у вас тоже существуют землевладельцы?

— Ја, ја, семлевладельси быть вседе, во вся света, я тумая, и арендатор тоже!

— Так как же у вас там находят этот порядок вещей хорошим? Там не стремятся его уничтожить, как, например, у нас?

— Nein, это быть закон, ви снайт, што если што быть закон, то быть надо сполняйт.

Этот ответ, по-видимому, смутил старика Холмса, он обернулся к своему соседу, которого, как мне было известно, звали Теббс, как бы прося его содействия. Этот Теббс был человек новейшей школы и охотнее создавал, чем исполнял, законы и стоял за новейшее движение умов. Он принадлежал к числу тех людей, которые воображают, будто свет никогда не знал, что такое принцип, факт и тенденция до начала настоящего века.

— Ну, а какого рода правительство имеет ваша страна? Мне кажется, будто я слышал, что там есть короли!

— Ja, ja, там быть ein Konig, последняя быть добрая Konig Wilhelm, а теперь быть его сын.

— О, ну, тогда мне все становится понятно! — воскликнул Теббс с победоносным видом. — Вы слышите, у них король, ну, и понятно, что тогда должны существовать и бары, и арендаторы. Но в свободной стране, как эта, ни один человек не должен иметь над собою никакого другого владельца, кроме себя, таков мой принцип, и я за него стою! — торжественно докончил Теббс.

— А ведь в этом есть доля правды, приятель, разве вы не согласны с этим?

— Расфе ви не шелайт иметь сдесь нишего, што ми имейт в страна, где быть король?

— Понятно. На что же нам ваши феодальные обычаи, которые делают богачей еще богаче, а бедняков еще бедней!

— Но тогда ви долшна переменить закон природа и вся порядка вешти в мире, если вы хошет, штобы богати шеловек не быть богат, а бедни не быть бедни?!

— Нет, видно, вы меня не понимаете, приятель. Возьмем, например, хоть этого же Хегса Литтлпеджа. Он из того же мяса и из той же кости, что мой сосед Холмс и я, ничем не лучше и ничем не хуже нас; хотя мне кажется, что мы во многом могли бы стоять выше него, но все же я готов согласиться, что он в общем не хуже нас. Но почему, скажите, должны мы все платить этому молодому Литтлпеджу ренту, которую он тратит на кутежи и на разврат?

— Я не понимаю, зачем ви ему плотить рента, если ви только не берет в аренда его семля и не делал условий, што ви будет платил эта самой рента. А если ви условил так, то надо делать, как условил; так быть делайт кашни шесни шеловеки.

— Да, но если данный контракт не носит монархического характера — в последнем случае я говорю, что платить не обязан. Каждая страна, каждое правительство и каждый народ имеет свой характер, и все в этой стране должно согласовываться с ее характером, ну, а рента не согласуется с характером республиканской страны, мы не желаем здесь у нас ничего из того, что принято и водится в монархических странах.

— О, ну, тогда надо ви переменить все в ваша страна, ви на должна имейт ни шена, ни дети, ви не долшна шивет в дом, ви не долшна пила и кушала, ви не должна надевала рубашки.

Теббс, казалось, был несколько удивлен таким толкованием своих слов, но несмотря на это, он был так убежден, что в платеже ренты есть нечто очень антиреспубликанское, что не мог так сразу согласиться с доводами своего оппонента.

— Ну, что говорить, как люди, мы, конечно, имеем много общего с людьми, живущими под монархическим правлением! Но к чему нам ваши феодальные порядки? Свободная страна

должна иметь свободных граждан. А какой же я свободный гражданин, если я, например, ваш данник, а вы — мой землевладелец?!

— Но почему вы не быть свободна шеловек, если вы платит рента? Когда вы нанимает чушой дом, надо все платит; когда вы нанимает чушой сад, вы тоже платит. Почему вы не хотите платит, когда вы нанимает чушой земля?

— Да, видите ли вы, мы не признаем, что эта земля чужая, а что она по существу принадлежит тому, кто ее обрабатывает.

— Но вы сам всегда отдаст в наем одна шасть ваша арендофана семля, одна маленька поля или огород для бедни сосед, у кого нету свой ферма, и он должна платит вам шасть своя урожай или деньга за эта семля.

— Да, мы это делаем почти все. Но тут нет ничего обидного ни для меня, ни для соседа.

— А почему вы не остафляйт вся урожай тому сосед, кто работает на та семья? Почему вы хотите он вам платит деньга за та семля, што он у вас нанимает?

— О, это же совсем другое дело! Работает он, работаю и я, платит он за свой клочок земли, плачу и я. Тут равенство — а наши постановления не терпят, чтобы у нас нарождался какой-то привилегированный класс, знаете, как в Европе.

— А, так и вы, и ваш сосед, што тут, тоже платит рента молодой мистер Литлпедш.

— Зачем? Ведь Хегс Литлпедж, говорю я вам, имеет вдесятеро больше, чем ему надо. Он так богат, что даже не в состоянии истратит всех своих доходов здесь, у себя, на родине, и тратит их на разврат по заграницам.

— А-а! Ну, если вы продаете свой бик или свой бороф, а ваш сосед вас быть спрашивайт, што вы делала с ваша толлары и котела судить, корошо вы их стратил или не корошо. Что вы сказать на это?

— Вот еще! Да кому же я позволю совать свой нос в мои домашние дела?! Кому какое дело, куда и как я трачу свои деньга? Я не великая фигура, чтобы мною занимались все!

— О, о! Так, сначит, вы сами делайт из Хегс Литлпедш большой фигур, потому што вы все хотите знайт, што он делал со своя доходи!

— Послушайте, приятель! — досадливо прервал меня мой собеседник. — Мне кажется, что вы имеете еще привычку тянуть в сторону ваших монархических идей и понятий, но здесь у нас такого рода принципы совершенно непригодны, — и вот вам мой совет: бросьте вы их совсем, потому что у нас они никогда не могут стать популярными.

Преподав нам этот спасительный совет, Теббс хлестнул свою лошадь и погнал ее крупной рысью, тогда как мы с дядей продолжали свой путь все той же мелкой рысцой, очевидно, любимейшим аллюром Томи Миллера.

Если бы он был со мной, король тускароров, созерцая твой портрет в блеске его украшений, во всей красе его очей и задумчивого чела, наполовину воинственного, наполовину дипломатического, его взора, широкого, как крыло орла: тогда смог ли бы он сказать, что мы, демократы, превосходим Европу даже в наших королях.

«Красная одежда»

Мы были в полумиле от леса, когда заметили, что восемь человек индженсов нагоняли верхом одну из тележек, ехавших позади нас, и в которой сидел также один из моих арендаторов со своим сыном, мальчиком лет шестнадцати, которого он возил с собою на этот митинг с очевидной целью дать ему урок и развить в превратном смысле чувство справедливости и понятие о правах своих и чужих.

Итак, как я уже сказал, за этой тележкой гналось восемь человек индженсов. Ехали они на четырех лошадях, причем на долю каждой лошади приходилось по два ездока. Нагнав повозку, о которой я только что упоминал, они остановили лошадь и приказали фермеру и его сыну вылезть из тележки. Хотя человек этот был одним из самых ярых антирентистов, все же он повиновался им очень неохотно или, вернее, повиновался только потому, что его насильно высадили посреди дороги точно так же, как и его сына, после чего двое из ряженных вскочили в их тележку и во всю прыть помчались по направлению к лесу. Мы продолжали ехать не торопясь, посмеиваясь от души над этим проявлением равенства и свободы, тем более, что, как нам было достоверно известно, «этот честный хлебопашец» намеревался утянуть у меня арендуемую им ферму точно таким же манером и на том же законном основании, как то сделали индженсы с его тележкой и лошадью. Не доезжая до леса, мы нагнали еще раз Холмса и Теббса, шедших пешком по дороге, так как другие два индженса, ехавшие на крупах лошадей своих конных товарищей, отобрали у них и лошадь, и тележку, приказав им записать это на счет антирентизма. Когда мы поравнялись с этими невольными пешеходами, старый Холмс сильно негодовал на подобное бесцеремонное обращение, и даже Теббс, казалось, был не особенно доволен инцидентом.

— Да это уж черт знает что! Нет, право! — ворчал старик. — Изволите ли видеть, мне более семидесяти лет, а меня, точно кулек с гнилой картошкой, выкинули без рассуждения посреди дороги из моей собственной тележки и заставляют теперь идти четыре мили пешком до моего двора. Это уж из рук вон!

— О, это шисто пустяки, если сравнивайт, што мошет быть, если так вибросайт ис ферма!

— Да я, конечно, ничего не говорю! Я знаю, все это ради хорошей цели, чтобы искоренить аристократию и аристократизм и водворить равенство между всеми гражданами, как того требует самый закон наш и закон Господень, но все же семьдесят лет — предельный возраст человека, а я ни в чем и никогда не прекословлю тому, что раз сказано в Библии.

— А што скасано в Библия о шеловек, котори кочит взять себе имение своя соседа?

— О, она страшно осуждает такой поступок! И я намерен непременно высказать это в следующий раз, когда индженсы вздумают опять отнимать у меня мою тележку и лошадь.

— О, Библия, хороший книг!

— Конечно! Она должна служить для нас авторитетом во всех вопросах жизни. Вот, например, она нам воспрещает ненавидеть, и я стараюсь сообразоваться с этим священным заветом. И, знаете ли, я вовсе не питаю никакой ненависти к молодому Хегсу Литтлпеджу, как будто бы он вовсе не мой землевладелец. Все, что я требую и чего я желаю, это лишь то, чтоб моя ферма осталась за мной на выгодных условиях, — и больше ничего. Я нахожу весьма жестоким и несправедливым, что Литтлпеджи отказывают нам в жилище на той земле, которую уже три поколения моей семьи возделывали своими руками.

— А они с вами ушловились продафайт вам свой ферм после три поколени?

— Нет, такого условия между нами не было, в этом я должен вам сознаться, и по контракту все права на их стороне, но этим именно мы и возмущаемся, что все контракты составлены в их пользу, а не в нашу. Вот уже сорок пять лет, как я у них арендую землю, и срок моей аренды не сегодня-завтра кончается, и тогда вся эта ферма, которая кормила меня всю мою жизнь, на которой я вырастил и поднял четырнадцать человек детей, уйдет из моих рук и перейдет в руки молодого Хегса Литтлпеджа, у которого, право, и без того так много денег, что дома у себя на родине он даже не знает, куда их девать.

— А пошему у вас слушился такой шестокий вешшь, пошему человек не мошет имейт всегда то, што ему принадлешит?

— Вот в этом-то и горе: ферма эта принадлежит мне, но не по закону, а по естественному праву человека, по смыслу наших республиканских основных постановлений, как говорят. Впрочем, мне все равно, как бы ни получить мою ферму, лишь бы только ее получить.

— А, и сколько ви думайт заплатит за ваша ферма, штобы купить зовзем?

— Да как вам сказать! Некоторые полагают, что если мы уплатим землевладельцам первоначальную стоимость этой земли, приложив к ней проценты за все время, то это будет очень хорошо и великодушно со стороны нашего брата арендатора.

— Aber, тогда стоимость семля будет совзем пустой, а сейшас она мошет отдать в аренда один толлар за акр, я слышал. Я думайт, ви давайт ошень, ошень мало.

— Но вы, я вижу, забываете, — почти гневно воскликнул Теббс, — что эти Литтлпеджи в течение восьмидесяти лет получали аренду.

— Та, aber и арендатор тоше имел семля все эта восемьдесят лет.

— О да, ведь мы оплачивали это обладание своим трудом. Если, например, сосед мой Холмс владел своей фермой сорок пять лет, то ведь и ферма, в свою очередь, имела его труд в течение этих сорока пяти лет. Будьте покойны, правительство и законодательный совет это отлично понимают!

— Ну, и прекрасно, и прекрасно! — воскликнул дядя, нахлестывая свою лошадь. — Он долшна быть достойна своя висок наснашенье, этот ваш правительство; прошшайт! Прошшайт! — И мы тронулись крупной рысью вперед по дороге.

Вскоре Холмс и Теббс потеряли нас из виду, так как мы въехали в лес и скрылись в чаще деревьев. Я ежеминутно ожидал увидеть здесь где-нибудь Тома Холла в руках инджиенсов, так как мне казалось, что вся эта погоня и суета инджиенсов имели целью преследование этого человека. Однако ожидания мои оказались ошибочными: ничего сколько-нибудь подозрительного нигде не было видно, все казалось спокойно вокруг. Когда же мы достигли

опушки при выезде из леса, то могли заметить здесь некоторое движение и суету, которые, сознаюсь, немного встревожили меня.

В кустах, прилегавших к дороге, я заметил несколько притаившихся индженсов; они, как видно, были в засаде и, очевидно, поджидали кого-то. Я был убежден, что нас здесь остановят и привлекут опять к допросу, но нас пропустили совершенно беспрепятственно, и вскоре мы выехали в открытое поле.

Тогда нам вдруг стало понятно волнение и потайные маневры наших приятелей индженсов. С небольшого холма, находившегося влево от нас, спускалась торопливым шагом небольшая кучка людей, которых я сначала принял за маленький отряд индженсов, но затем при более внимательном наблюдении я признал настоящих краснокожих индейцев. Между теми и другими существует, конечно, громадная разница: бывают индейцы, бывают и индженсы. Индженс — это человек бледнолицый, то есть белый, который, будучи понуждаем противозаконными, преступными намерениями и желаниями, принужден скрывать свое лицо под маской и под покровом чужого наряда совершать свои неблагоприятные, постыдные дела, тогда как индеец — человек краснокожий, который не боится и не стыдится никого и не имеет надобности скрывать свое лицо ни перед другом, ни перед врагом.

Спускавшиеся с холма индейцы представляли собою группу человек в шестнадцать или восемнадцать. Одного или двух индейцев не редкость встретить продающими свои корзины в селах и деревнях, в сопровождении своих скау (жен), но видеть в наши дни настоящего индейского воина в центре какого-нибудь из штатов в полном его вооружении теперь большая редкость, а тем более встретить, как в этот раз, целый маленький отряд таких воинов было неожиданностью.

— Вот это настоящие краснокожие, Хегс, благородного племени, воины запада в сопровождении одного бледнолицего, — как они говорят. Что может привести их в Равенснест? Вот они приближаются, и нам можно будет подойти к ним и заговорить с ними.

Когда индейцы вышли на дорогу у того места, где мы остановились, остановились и они; в позах их выражалась какая-то рыцарская вежливость, они как будто выжидали, чтобы мы заговорили с ними. Стоявший впереди старейший из индейцев с достоинством склонил немного голову и произнес обычные слова приветствия: «Саго, Саго».

— Саго, — отозвался мой дядя.

— Саго, — повторил и я.

— Как живешь? — продолжал на своем своеобразном английском диалекте индеец. — Как называть эту страну?

— Вся эта местность зовется Равенснест, деревня Малый Нест приблизительно в полутора милях отсюда, по ту сторону леса.

Пожилой индеец обратился к своим товарищам и глубоким гортанным голосом сообщил им полученные от нас сведения, которые, как видно, были приняты с большой радостью, что вызвало во мне предположение, что они достигли конечной цели своего странствования.

Затем между краснокожими завязался общий разговор краткими сентенциозными фразами, сдержанным тоном людей благовоспитанных. Очевидно, все эти люди были знатного происхождения, и все до единого были у себя на родине вождями, что ясно было видно по их убору, по красивой, величественной осанке и спокойной, полной достоинства, походке и манерам. Все они были в своем летнем наряде, обуты в свои мокасины, с опояской из тонкой бумажной или шерстяной ткани и таким же плащом наподобие римской тоги, все они имели при

себе ружья, блестящие томагавки и ножи в ножнах, кроме того, у каждого было по две пороховницы и по мешочку с пулями. Некоторые из молодых вождей были украшены богатыми уборами из перьев и увешаны различными подарками, полученными ими во время их долгого путешествия, но ни один из них не был разрисован, то есть татуирован.

— Нет ни одного индженса здесь? — спросил опять старейший из вождей, взглянув на нас с таким видимым оживлением, которое нас невольно поразило.

— О, да, — ответил ему дядя, — шагах в ста отсюда, там, на опушке леса, есть несколько десятков индженсов.

Это известие тотчас же было сообщено его внимательным слушателям и, очевидно, произвело сенсацию среди индейцев, которая, впрочем, выразилась, как это принято у родовитых индейцев, безусловным спокойствием, сдержанностью и молчаливой холодностью, похожей на полное равнодушие. После серьезных переговоров старейший из вождей, по имени Огонь Прерии, вновь обратился к нам с дальнейшими расспросами.

— Какое племя? Знаешь это племя?

— Они зовутся индженсы-антирентисты, это совсем новое племя, недавно появившееся в этих странах и вовсе никем не уважаемое.

— Дурные индженсы?

— Да, как мне кажется, очень дурные, они не разрисовывают, не татуируют свои лица, но носят на лице рубашку вместо того.

За этим последовало новое совещание среди индейцев, вероятно, они обсуждали, какое это может быть новое, неведомое никому племя американских дикарей; затем они стали просить моего дядю проводить их до этих новых единоплеменников, как они полагали. Поразмыслив немного, дядя согласился и уже вылез из тележки, а лошадь стал привязывать к росшему тут неподалеку дереву, готовясь стать проводником индейцев. На полпути до леса мы встретили Холмса и Теббса, которые, подсев в чью-то тележку, доехали до того места, где стоял в кустах их шарабан, теперь им позволено было получить его обратно. Обрадованные такой милостью, они поспешили вернуться домой, опасаясь, чтобы их могущественные союзники не высадили их опять посреди дороги.

Когда мы к ним приблизились, они остановили свою лошадь, и Холмс воскликнул:

— Ради всего святого! Что это значит? Неужели правительство посылает на нас настоящих индейцев, чтобы оказать поддержку землевладельцам?

— О, я не знайт этого нишего, — отвечал дядя, — этот быть настоящий краснокоши шеловеки, а тот — настояши индженс, вот и все, а зашем этот воин пришли сюда, шпрашивайт сами, если вы то шелает знать.

— Большой беды выйти не может из того, что мы их спросим, — храбро отозвался Теббс. — Меня вид настоящих краснокожих нисколько не пугает, я их видел немало на своем веку, а отец мой воевал даже некогда с ними, я сам об этом от него слышал. «Саго, Саго», — обратился он к индейцам.

— Саго, — почтительно ответил Огонь Прерий со своей обычной важностью и величавостью.

— Откуда вы могли попасть сюда, краснокожие люди, и куда лежит ваш путь?

Очевидно, этот фермер принадлежал к числу людей, никогда не задумывающихся задавать другим вопросы и всегда рассчитывающих на требуемый им ответ. Но родовитый индеец считает

унизительным для своего достоинства удовлетворять неуместное или назойливое любопытство, считая для себя лично проявление подобных чувств чем-то совершенно непристойным и постыдным для его пола. И хотя он до крайности был удивлен неделикатным вопросом встречаемых людей, но все же не выказал при этом ни малейшего удивления или волнения, и хотя не сразу и с очевидным усилением, но все же отвечал холодно и с некоторым оттенком неудовольствия:

— Мы пришли со стороны заката солнца, ходили повидать Деда в Вашингтоне (президента) и возвращаемся домой.

— Но каким образом ваш путь лежит на Равенснест? — продолжал Холмс. — Если вы были в Вашингтоне и повидали старого великого вождя, то почему же вы не вернулись тем же путем обратно, каким пришли?

— Пришли сюда видеть индженс; здесь нету один индженс? Э-э?

— Да, индженс в своем роде, у нас здесь больше, чем бы считали нужным некоторые люди, а вы скажите мне, какой цвет лица у тех индженсов, которых вы здесь ищете, такие же ли краснокожие они, как вы, или бледнолицые, как мы?

— Ищем краснокожего человека, старого теперь, как вершина того гигантского дуба; ветер прошумел над его вершиной, обвил его ветви и опала вокруг вся листва его.

— Клянусь святым Георгием, Хегс, эти люди разыскивают старого Сускезуса! — воскликнул дядя и, совершенно позабыв о необходимости коверкать свой родной язык на иностранный лад в присутствии арендаторов Равенснеста, обратился к Огню Прерии со словами:

— Я могу вам помочь в ваших поисках, я знаю, кого вы ищете, вы ищете старого воина из племени онондаго, который расстался со своими единоплеменниками лет около ста тому назад, он искусно умел находить дорогу сквозь чащу леса и никогда не отведал огненной воды.

До сей минуты бледнолицый, находившийся при краснокожих, скромно хранил молчание, то был не более, как простой переводчик, приставленный к индейцам на случай каких-либо затруднений, но теперь и он счел нужным вставить свое слово.

— Да, вы не ошибаетесь, милостивый государь, эти вожди разыскивают вовсе не какое-нибудь племя, а одного древнего старца индейца. Среди этих воинов есть двое старых онондаго, их предание гласит о некоем древнем вожде по имени Сускезус, который якобы пережил всех и все, кроме предания о своих доблестях, оставленного им по себе в среде его единоплеменников. Индейцы никогда не забывают доблестных людей и всегда воздают им большой почет.

— И эти люди сделали более пятидесяти миль крюку лишь для того, чтобы воздать должную честь доблестному старцу?!

— Да, таково было их желание.

— Ну, так я очень счастлив, что могу им быть полезен, Сускезус — мой старинный друг и приятель, и я охотно провожу их к нему.

— Но вы-то сами кто такой, ради всего святого? — воскликнул Холмс, внимание которого было теперь обращено в другую сторону, а именно на нас.

— Кто я? Вы это сейчас узнаете, — ответил дядя, сняв одной рукой шляпу, а другой парик; его примеру последовал и я. — Я — Роджер Литтлпедж, недавний опекун этого поместья, а вот Хегс Литтлпедж, настоящий владелец Равенснеста!

Несмотря на то, что старый Холмс был человек речистый и не имел обыкновения лезть за словом в карман, на этот раз у него от удивления язык «прилип к гортани», так что он не мог выговорить

ни слова. Он смотрел то на дядю, то на меня, затем бросил какой-то безнадежный взгляд на соседа. Что же касается индейцев, то, несмотря на их обычную привычку всегда сдерживать свои впечатления и чувства, они не могли сдержать своего восклицания «Хуг!» при виде двух людей, мгновенно скальпировавших самих себя без помощи ножей или каких-либо других орудий. Когда дядя сдернул парик и широким жестом махнул рукой, в которой держал парик, по направлению к одному индейцу, тот принял этот жест за приглашение ознакомиться поближе с этим необыкновенным предметом. Он осторожно притянул его к себе, и в мгновение ока все индейцы собрались вокруг невиданного ими парика и вполголоса обменивались восклицаниями непомерного удивления. Все эти люди, как уже было сказано выше, были вожди, индейцы знатного происхождения, привыкшие с юношеского возраста обуздывать свое чувство любопытства, но если бы то были индейцы — простолюдины, то можно было бы наверное сказать, что раздался бы писк и визг перекрестных возгласов изумления и детской радости, и самый парик перебивал бы на целой дюжине голов, переходя из рук в руки не без некоторого крика и сожаления.

Глава XVIII

Гордон недобр всегда. Кемпбел
как сталь для злых, а Грант, Микензи,
Муррей и Камерон не уступят никому.

Хогг

Эта сцена почти безмолвного удивления индейцев была прервана Холмсом, обратившимся к своему товарищу со словами:

— А ведь это плохая шутка, теперь нам никогда не возобновить контракты на наши фермы, Теббс; прощай, наша земля!

— Как знать, еще ничего не известно... хм, хм, быть может, эти господа рады будут пойти на кое-какие компромиссы; ведь закон воспрещает появляться на публике ряжеными, как они.

— Правда! Но только будет ли нам от этого какой-нибудь прок? Я не хочу предпринимать никаких мер, от которых мне нет никакого прока.

Дядя пропустил этот диалог мимо ушей, отлично зная, что ничего противозаконного в нашем поведении не было, и, обратившись к индейцам, еще раз повторил свое предложение.

— Вожди желали бы знать, кто вы такой! — передал дяде переводчик.

— Скажите им, что этот молодой человек — Хегс Литтлпедж, а что я — его дядя; этот Хегс Литтлпедж, владелец всех этих земель, какие только они видят перед собой и повсюду вокруг.

Когда эти слова были переданы вождям, то, к немалому нашему удивлению, все они выразили нам особое уважение и внимание.

— Посмотри, Хегс, — заметил мне мой дядя, — ведь старый Холмс и его достойный приятель возвращаются к лесу, и, вероятно, известят кое о чем спрятавшихся там индженсов; на этот раз нам с тобой, наверное, несдобровать. Но, скажите, — продолжал он, обращаясь к переводчику, — почему эти вожди оказывают нам такой почет и уважение? Неужели потому, что мы — владельцы таких больших поместий?

— О, нет, конечно, нет! Хотя они отлично понимают разницу между простолюдином и знатным вождем и очень ценят происхождение и знатность рода, но богатства в их глазах не имеют положительно никакой цены. У них самый великий человек тот, который проявил наиболее смелости, храбрости и воинских доблестей в своей жизни и был мудрейшим у костра совета, а тот почет, который они вам теперь оказывают, объясняется тем, что они признают в вас потомков храбрых, доблестных людей, каковыми считают ваших предков, о которых среди них сохранилось предание.

— Предания о наших предках? Но что могут они знать о них? Мы никогда не имели никаких дел с индейцами!

— Быть может, это верно по отношению к вам и отцам вашим, но отнюдь не к более отдаленным вашим предкам! — заметил переводчик. — Надо вам сказать, — продолжал он, — что им известна история ваших родичей, и всей вашей семьи. Они знают также кое-что и о вас самих, если только вы тот, который предложил правдивому и доблестному онондаго, или Обветренной Сосне, на старости лет постоянный кров в прекрасном вигваме и всегда готовое топливо и пищу.

— Возможно ли, чтобы все это было известно там, у этих дикарей далекого запада?

— Если вы называете дикарями вот этих благородных вождей, — немного обиженным тоном заметил переводчик, — то я не могу согласиться в этом с вами. Конечно, у них своеобразные обычаи и нравы, точно так же, как и у всех бледнолицых, но, право, их нравы и обычаи вовсе не такие дикие, как мы привыкли думать, и если к ним привыкнуть, то они перестают казаться странными и дикими. Я помню, что сам не скоро освоился с обычаем снимать скальп с побежденного, но впоследствии, порассудив хорошенько и вникнув в самую суть дела, пришел к убеждению, что это хорошо.

Между тем мы приближались к лесу.

— Передайте благородным вождям, что те индженсы, о которых я им говорил, притаились в кустах на опушке леса и что они все вооружены. Их приблизительно около двадцати человек! — сказал дядя.

Переводчик передал индейцам то, что было сказано, и те некоторое время совещались между собой. Затем Огонь Прерии, сорвав ветвь с первого попавшегося под руку куста и высоко подняв ее над головой, пошел по направлению леса, громким голосом вызывая притаившихся там людей на разных знакомых ему наречиях; но, несмотря на то, что по движению кустов было заметно, что там есть люди, никто не отозвался на несколько раз повторенный призыв. В числе вождей был некий Джова — громадный атлет по прозванию Каменное Сердце, славившийся своими воинскими подвигами среди своих единоплеменников и соседей. Его положительно было невозможно удержать, когда представлялся какой-либо случай добыть несколько скальпов. Когда на призывы Огня Прерии не последовало никакого ответа, Каменное Сердце выступил вперед и

после нескольких слов, произнесенных энергично, отчетливо и громко, в заключение издал пронзительный протяжный крик, похожий на крик дикой птицы. Этот крик повторили за ним почти все его товарищи; в одно мгновение все они рассеялись затем в разные стороны и поползли с ловкостью и проворством змей к опушке леса и вслед за тем скрылись из виду в густом кустарнике и чаще леса.

Один Огонь Прерий остался неподвижно на своем месте подле нас среди открытой поляны под огнем невидимого неприятеля, нападения которого он ожидал с минуты на минуту, между тем как все остальные устремились вперед, как стая гончих по горячему следу.

— Они воображают, что будут иметь дело с такими же краснокожими индейцами, как сами они, — воскликнул переводчик, — и потому нет никакой возможности удержать их.

Теперь мы с дядей, в сопровождении Огня Прерии и переводчика, вошли уже в самый лес, и когда достигли поворота дороги, о котором я уже раз говорил в одной из предыдущих глав, нашим глазам представилась картина поголовного, безумного бегства: вся дорога была запружена мчавшимися во весь опор повозками, тележками и шарабанами, все кнуты и бичи работали без усталости над спинами несчастных лошадей, испуганные лица женщин оглядывались назад с воем и криком, отвечавшим воинственному крику краснокожих. Доблестные и неустрашимые индженсы, покинув лес, бежали по дороге с быстротой оленей, чующих за собой близкую погоню, а некоторые из них без особенной церемонии вскакивали в тележки и прятались между юбками добродетельных жен и дочерей наших фермеров, собравшихся для обсуждения наилучшего и наивернейшего способа отобрать у меня мою собственность.

В меньший промежуток времени, чем тот, который мне потребовался употребить на то, чтобы описать все это, дорога совершенно опустела, и на открытом месте между двух стен густого леса, посреди дороги, стояли только дядя Ро, я, Огонь Прерии и переводчик. Огонь Прерии издал свой характерный возглас «Хуг!» в тот момент, когда последняя тележка скрылась из вида в густом облаке пыли.

Несколько минут спустя все наши индейцы собрались снова вокруг нас. Их победа не стоила никому ни одной капли крови, несмотря на то, что она была решительная во всех отношениях. Неприятель не только бежал при одном виде настоящих краснокожих индейцев, но этим последним удалось еще захватить двоих из них в плен. Вид этих пленных так ясно свидетельствовал о непомерном ужасе и страхе, внушаемом им их победителями, что Каменное Сердце, захвативший их, не только не захотел воспользоваться правом своей победы, но даже не позаботился ни связать, ни обезоружить их, а смотрел на них с величайшим презрением, почти с гадливостью. Право, эти два человека гораздо более походили на две пачки коленкора или же на спеленатых ребят, но только уж никак не на пленных воинов.

Между тем переводчик, имя которого в переводе с индейского означало Тысячезычный, передал приказание одного из вождей их именем снять скрывавшие их лица покровы и, видя, что те не думают повиноваться, доказал на деле, что, несмотря на свое имя, он не любит даром тратить слова. Он решительным шагом подошел к одному из пленных, обезоружил его и затем ловко сдернул коленкорный колпак с лица индженса, причем присутствующим предстало бледное и расстроенное лицо Джошуа Бриггама, угрюмого работника Тома Миллера. При виде этого бледного, смущенного лица индейцы, обступив его ближе, издали свой обычный возглас «Хуг!», причем переводчик, спокойно проведя рукой по волосам Бриггама, заметил:

— Эти волосы имели бы значительно большую ценность в качестве скальпа, чем, в сущности, они того заслуживают по легкости этой добычи. Но посмотрим, что там у него за экземпляр еще?

И с этими словами переводчик схватил второго пленного и ловко обезоружил его, но когда дело дошло до костюма, то ему пришлось выдержать довольно упорную борьбу, так как пленный сопротивлялся не на шутку, но подоспевшие на помощь своему переводчику два вождя справились с непокорным. Что касается меня, то я знал уже, кто эта маска, но удивление моего дяди не знало границ, когда перед ним предстало искаженное злобой новое, но столь же знакомое лицо Сенеки Ньюкема. На его лице была написана бессильная злоба, стыд и бешенство, в особенности же последнее, и, как это нередко бывает в подобных случаях, Сенека, вместо того, чтобы приписать свою беду злополучной случайности или своей вине, накинулся на своего товарища, стараясь взвалить на него причины своего несчастья.

— Все это по твоей вине, мерзавец, трусливый пес! — наступал на товарища Сенека, лицо которого буквально налилось кровью. — Если бы ты устоял на своих ногах, я бы успел убежать и скрыться, как и другие!

Выходка эта показалась уж слишком наглой и нахальной Бриггаму, он рассвирепел до последней крайности как от дерзкого, грубого тона Сенеки, так и возмутительной несправедливости его обвинений. Впоследствии все мы узнали, что во время своего поспешного бегства храбрый Ньюкем, споткнувшись, растянулся во всю длину, а Джошуа, бежавший вслед за ним, наткнулся на него и, повалившись, прижал его своею тяжестью, помешав ему подняться вовремя и бежать дальше. В этом положении их настигли враги и взяли без малейшего сопротивления, так как страх и ужас сковали их члены.

— Ничего мне от тебя не нужно, и знать тебя я не хочу, Ньюкем! — решительным вызывающим тоном сказал Бриггам. — О тебе даже говорить не стоит, о тебе слава идет по всей стране.

— Кто смеет говорить о моей славе?! — крикнул Сенека. — Я бы желал знать того человека, который может сказать что-либо о моей репутации!

Такого рода вызов был нестерпим и окончательно вывел из себя Джошуа. Он подскочил к Сенеке и с яростью крикнул ему в лицо:

— Наглец! Ты выдаешь себя за друга и защитника бедных, а всякий, кто только нуждается у нас в деньгах, отлично знает, что ты — подлый ростовщик!!

Едва успел он произнести эти слова, как увесистый кулак Сенеки хватил Бриггама по носу с такою силою, что кровь хлынула у бедняги ручьем.

Дядя счел нужным вмешаться в это дело и сделал строгий выговор Сенеке за подобное поведение.

— Как он смел назвать меня подлым ростовщиком? Как он смел? Я ни от кого этого не потерплю!

— Но все же вы вели себя вовсе не как джентльмен и не как порядочный человек; я краснею за вас, мистер Ньюкем; право же, мне стыдно и совестно за вас, — возразил дядя и, отвернувшись от Сенеки, обратился к Тысячезычному, объявив ему, что готов провожать дальше благородных вождей.

— Что же касается этих двух индженсов, — добавил он, — то их пленение, конечно, не может нам доставить большой славы, и раз мы знаем теперь, кто они такие, то любой шериф или констебль (то есть полицейский чин или урядник) может их задержать во всякое время. Итак, не стоит стеснять себя присутствием этих двух личностей.

Вожди, которым передали эти слова, согласились с дядей, и наш маленький отряд тронулся далее, к выходу из леса, предоставив Сенеке и Джошуа оставаться в лесу и пользоваться, как угодно, своею временною свободой.

Впоследствии мы узнали, что тотчас после того как мы их оставили, Бриггам накинулся на поверенного и стал осыпать его ударами до тех пор, покуда тот не сознался не только в том, что он ростовщик, но и в том, что он подлый ростовщик.

Дав некоторые наставления Тысячезычному относительно того пути, каким им надо будет следовать, чтобы прийти в усадьбу Равенснест, мы снова сели с дядей в свою тележку и поехали домой, условившись ожидать у себя краснокожих вождей. Проезжая мимо церкви, мы заехали осведомиться там о мистере Уоррене и его дочери и узнали, что они уехали в Равенснест, где должны были обедать. Полчаса спустя мы уже остановились у подъезда нашего дома; несмотря на наши костюмы, нас тотчас же узнали, и вскоре по всему дому раздавались радостные возгласы: «Мистер Хегс вернулся!»

Ни для бабушки, ни для сестры моей, ни для Мэри Уоррен это отнюдь уже не было сюрпризом; тем не менее их радостные крики созвали всех к крыльцу. При этом я не мог не заметить разницы приема, сделанного мне четырьмя барышнями при моем приезде. Марта кинулась в мои объятия, обхватила мою шею руками и поцеловала меня семь или восемь раз кряду, затем явилась и мисс Кольдбрук рука об руку с Анною Марстон. Обе ужасно удивленные неожиданностью моего появления, обе очень красивые, очень нарядные и изящные в своих светлых летних туалетах, они, видимо, были очень рады, хотя при этом нельзя было не заметить, что их стеснял, конфузил и неприятно поражал мой костюм. Позади них стояла Мэри Уоррен, слегка зардевшаяся и робко улыбающаяся своею милой, едва приметной улыбкой; очевидно, она была не менее довольна моим приездом, чем мои прежние давнишние знакомые.

Бабушка и Пэтти предложили нам подняться в наши комнаты для того, чтобы переодеться. Дядины и мои комнаты были рядом, в южном флигеле дома. Окна моей комнаты выходили на долину, оканчивающуюся глубокой, поросшей лесом балкою, на краю которой стоял вигвам индейца, и в данную минуту мне были видны фигуры двух старцев, гревшихся по своей привычке в послеобеденное время на солнышке в своем саду. Между тем в двери моей комнаты кто-то постучался, и на пороге появился Джон.

— А, Джон, старый приятель, — шуточно приветствовал я его, — спасибо за ласковое обращение со странствующим музыкантом и разносчиком в тот раз.

— Ах, помилуйте, мистер Хегс! — сконфуженно пробормотал Джон.

— Как видно, — продолжал я, поглядывая в окно, покуда Джон хлопотал около моего туалета, — как видно, наши старики, Джеп и Суз, находятся в добром здоровье?

— Так точно, это удивительнейшие люди; негр, тот только день ото дня дурнеет и дурнеет, становится все безобразнее и безобразнее, тогда как старый Сускезус делается все красивее и величественнее с каждым днем.

— А как они между собою ладят? — спросил я.

— Да как вам сказать, они ведь ссорятся довольно часто, или, вернее, негр часто брюзжит и лезет в ссору, но индеец считает себя настолько выше его, что не обращает внимания на его слова.

— Надеюсь, что они ни в чем не нуждались в мое отсутствие? — осведомился я.

— Ах, нет, об этом вам нечего беспокоиться, покуда жива ваша бабушка.

— Бывают ли здесь по-прежнему наши старцы? До моего отъезда они ведь ежедневно приходили сюда.

— Нет, уж теперь они оставили эту привычку: годы берут свое. В хорошую погоду негр раз или два в неделю постоянно бывает здесь; тогда он входит прямо в кухню или людскую, садится и просиживает иногда целые полдня, рассказывая разные смешные и забавные вещи.

— В каком же роде его рассказы, и почему они вам кажутся забавными?

— Да как же! Он уверяет, что все в этой стране мельчает и приходит в упадок: по его мнению, и индюки не так жирны, как прежде, и куры чахлы, и овцы худы, и многое тому подобное.

— Ну, а Сускезус?

— Сускезус бывает теперь редко, и в кухню он не заходит никогда; за все эти двадцать пять лет моей службы я ни разу не видел его ни в кухне, ни в людской. Он знает, что господа и люди знатные приходят с парадного подъезда, а потому и считает себя вправе поступать так же, как они, и даже старая барыня, ваша бабушка, когда желает угостить старого Сускезуса, то каждый раз приказывает накрывать для него стол в одной из верхних комнат или на террасе, никак не иначе.

Туалет был окончен, и я, отпустив Джона, прошел в комнаты дяди, где застал его уже совсем одетым и готовым идти в маленькую гостиную, где нас ожидали все наши дамы. Наше появление было встречено всеобщим возгласом одобрения.

Прежде чем идти к столу, я послал одного из моих слуг на бельведер нашего дома взглянуть, не видать ли моих краснокожих друзей. Человек, посланный мною, вернулся с ответом, что они приближаются к усадьбе и, вероятно, через полчаса уже будут здесь. С помощью подзорной трубы мой человек мог видеть, что индейцы сделали привал, занялись приведением в порядок своего наряда и разрисовывали себе лица для большей торжественности предстоящего свидания с белыми вождями. Получив эти сведения, мы поторопились скорее сесть за стол, в надежде, что успеем отобедать до их прихода и будем готовы тотчас же принять их. Обед наш был крайне оживлен и весел. Все наши беспокойства, тревоги и горести были забыты на этот раз, и мы всецело занялись лишь собою и своими чувствами в данный момент. Все мы были по-своему рады тому, что, наконец, собрались здесь все вместе.

В продолжение всего обеда я чувствовал, что между мною и прелестной Мэри Уоррен существует какое-то таинственное общение, пожалуй, даже непонятное для нее и совершенно неуловимое для посторонних, но втайне ясно сознаваемое нами. Сознание этой смутной взаимной симпатии сказывалось порой в легком румянце на щеках Мэри или в ее смущении и в опущенном взгляде ее прелестных глаз, столь красноречивых для меня.

Глава XIX

С твоим взглядом многострадального Иова, снедаемого болью, с твоими грациозными, как у птицы в воздухе, движениями, ты, надо сказать, самый опасный демон, который когда-либо сжимал своими крючковатыми пальцами волосы пленника.

«Красная одежда»

К числу самых предосудительных привычек и обычаев, заимствованных нами из Англии, нужно отнести обычай у мужчин оставаться за столом после того, как дамы удалились из столовой.

Мой дядя Ро не раз пытался искоренить эту привычку в кругу своих знакомых, стараясь удерживать дам за столом до конца или подговаривая мужчин следовать за ними в гостиную тотчас же после выхода из-за стола. Но когда люди заберут себе в голову, что хороший тон требует оставаться сидеть за столом, для того, чтобы пить вино, наслаждаться вином, смаковать вино, говорить о вине, толковать про вино и хвастать количеством и качеством предложенного и выпитого вина, нелегко заставить их отказаться от такого приятного и разумного обычая.

Когда бабушка моя поднялась из-за стола вместе со своей женской свитой и по старинному обычаю произнесла: «Ну, господа, теперь я оставляю вас с вашими бутылками, но прошу не забывать, что мы вас будем ожидать в гостиной», то дядя ласково взял ее за руку и стал настаивать на том, чтобы она и барышни остались с нами до конца. В отношениях дяди к его матери было нечто трогательно нежное и ласковое. Он, этот старый холостяк, был как-то особенно привязан к своей вдовствующей матери. Он относился к ней порою, как к старшей, любимой сестре, подходил, обнимал ее за шею, трепал ласково по щеке и целовал несколько раз, а она, в свою очередь, наклонялась над его лысой головой и целовала и ласкала его, как бывало в те годы, когда он был еще малым ребенком, и она его, крошку, носила на руках.

На этот раз старушка охотно уступила просьбе сына и снова села на свое место. Ее примеру последовали также и барышни. Разговор естественным образом коснулся положения страны и землевладельцев, что было, так сказать, самым животрепещущим вопросом того времени.

— Неужели вы полагаете, дядя, — спросила Пэтти, — что эти люди могут отнять у Хегса его землю?

— Никто не может ни за что поручиться в этом деле, дорогая моя, потому что никто не может считать себя в безопасности, когда такого рода понятия и поступки, свидетелями каких мы за последнее время становимся ежедневно, безнаказанно процветают в стране, не возбуждая ни в ком справедливого негодования. Взгляните, в самом деле, ведь каждый человек должен понять, что нам остается всего один шаг для того, чтобы стать подобными Турции, той стране, где каждый богатый или самостоятельный человек вынужден скрывать, как нечто преступное, свое богатство и роскошь для того, чтобы оградить себя от лихоимства и алчности правительства, а между тем никто решительно этим у нас не интересуется и не тревожится.

— Некоторые из новейших путешественников утверждают, будто мы уже перешли через эту грань, что наши богачи стараются щеголять показной простотой и искренностью на улице и в народе, между тем как внутри своих домов, за надежными стенами, они окружают себя всевозможной роскошью и комфортом.

— Действительно, такого рода явление наблюдается у нас, но оно наблюдается и повсюду в Европе, да и во всем крещеном мире. Когда я был ребенком, я помню, что видел постоянно экипажи, запряженные не менее, как четверкой лошадей, а каждый мало-мальски состоятельный человек имел свои собственные экипажи и лошадей и выезжал не иначе, как шестериком, тогда как теперь вы этого уже почти нигде не видите, но то же изменение произошло повсюду и в других странах.

— Да, — вставила свое слово Марта. — Не знаю, заметили ли вы, что дома новейшей постройки в Нью-Йорке, с их низкими широкими балконами в виде террас и с еще более близкими к тротуару широкими окнами, кажутся как бы нарочно приспособленными для того, чтобы в них все было видно с улицы. Если правда то, что я слышала и читала о характере домов в Париже, где они часто строятся, в аристократических кварталах, между двором и садом, и находятся совершенно в стороне от уличной жизни, то о парижанах, мне кажется, можно было бы сказать с несравненно большей справедливостью, что они прячутся за своими крепкими воротами и чугунными решетками в чаще зеленых деревьев, чтобы укрыться от нападков простонародья, чем о нас, что будто бы мы прячемся в своих домах, чтобы позволять себе роскошествовать тайком от народной массы, вращающейся вне нашей интимной, замкнутой жизни.

— О, да, я вижу, что эта юная особа сумела извлечь пользу из твоих писем, Хегс, — одобрительно воскликнул дядя Ро, — а, главное, меня радует то, что она умело и уместно применяет свои знания или, вернее, твои. Мне тоже кажется, что приписывать простоту внешней и роскошь внутренней жизни людей богатых и состоятельных страху и опасениям гнева народной массы ничуть не правдоподобнее, чем приписывать тем же причинам разницу в женских и мужских нарядах и костюмах. Одни постоянно носят простые темные одноцветные шерстяные ткани скромного вида, тогда как другие одеваются в шелк, плюш и атлас самых светлых и ярких цветов и оттенков. Однако, кажется, судя по вытянутой шее и любопытному взгляду Джона, наши краснокожие приятели подходят к дому!

— Все тотчас же поднялись со своих мест и вышли из-за стола, чтобы поспешить навстречу нашим гостям. Едва мы успели выйти на лужайку перед домом, между тем как дамы пошли за своими шляпками и зонтиками, как Огонь Прерии, Каменное Сердце и Тысячезычный, а также и все остальные индейцы приблизились к нам той мелкой рысцой, которая является характерной и отличительной чертой походки индейцев. Несмотря на наш изменившийся костюм, мы были узнаны ими, и важнейшие из вождей с обычной рыцарской любезностью приветствовали нас; потом двое самых юных вождей торжественно возвратили нам наши парики, но мы отказались от них и просили молодых вождей принять их на память от нас, в знак нашего глубокого к ним уважения.

Они, не скрывая своей радости, приняли этот подарок, а полчаса спустя мы могли уже видеть этих двух лесных львов в наших париках на их наголо выбритых черепах, с длинным павлиньим пером, кокетливо воткнутом в висках. В этом не совсем изящном виде, оба молодых вождя смотрели особенно победоносно и самодовольно, видимо, гордясь своим диковинным убором и оглядываясь вокруг, чтобы обратить на себя внимание других, считая его, очевидно, вполне заслуженным.

Обменявшись взаимными приветствиями, краснокожие рассеялись в разные стороны, осматривая здания дома и прилегавшую к нему местность и соседний холм, как некие достопримечательные редкости. Сначала мы полагали, что они поражены величием, объемом и солидностью этого здания, но Тысячезычный вскоре разуверил нас в этом.

— Ах, Боже упаси! — воскликнул он, когда мы высказали ему наше предположение. — Эти люди не интересуются даже самыми великолепнейшими зданиями, и все дворцы в Вашингтоне не произвели на них ни малейшего впечатления; но что их интересует, так это то, что они, как им известно, находятся на том самом месте, где некогда происходило сражение, в котором принимал участие и доблестный онондаго и еще несколько человек из его племени; вот это-то теперь и воодушевляет, волнует и занимает их.

— А почему он указывает теперь в ту сторону, где стоит вигвам Сускезуса?

— Ах, так это вигвам доблестного онондаго? — воскликнул переводчик. — Так это стоит посмотреть, хотя, конечно, видеть самого человека было бы лучше, так как все племена верхних Прерий только и говорят о нем, и его славное имя у всех на устах. Со времен славного Таменунда ни один индеец не пользовался еще такой громкой известностью и высокой репутацией, как Сускезус, доблестный онондаго. В данный момент Каменное Сердце рассказывает другим вождям об одной битве, в которой отец его деда потерял жизнь, но не потерял своего скальпа. Он избежал, говорит он, этого страшного позора, что является великим счастьем для его потомков. Индеец ничуть не страшится смерти, и быть убитым для него ничего не составляет, но потерять свой скальп считается позором и пятном на памяти покойного.

— Меня удивляет только одно, что они придают такое громадное значение подобным пустячным стычкам и сохраняют о них в течение стольких лет самые подробные воспоминания. Это объясняется тем, что их битвы и сражения редко представляют собою крупное дело; все это больше мелкие стычки, потому-то они и придают огромное значение всякой схватке, в которой пало несколько славных воинов.

Между тем как индейцы продолжали изучать местность, дядя мой продолжал беседовать с Тысячезычным.

— Желал бы я знать, — сказал дядя, — подробную историю Сускезуса, чтобы судить о том, что могло заставить этих знатных уважаемых вождей уклониться более чем на пятьдесят миль в сторону от их пути, лишь для того, чтобы воздать должную честь этому старцу; быть может, они чтут в нем его преклонный возраст?

— Это, конечно, одна из многих причин, но далеко не самая главная; есть нечто несравненно более важное, побудившее их посетить старца, но это неизвестно никому, кроме них самих.

— Этот старик индеец тесно связан с моей семьей вот уже почти девяносто лет; я знаю, что он был вместе с дедом моим Корнелиусом Литтлпеджем при осаде Ти в тысяча семьсот пятьдесят восьмом году; он и негр прожили по меньшей мере по сто двадцать лет, если не более.

— Насколько мне известно, индейцы хотя и очень уважают преклонный возраст и великую мудрость этого старца, но выше всего они ставят воинскую храбрость, доблесть и справедливость, и я уверен, что прозвище «доблестный» онондаго имеет непременно какое-нибудь особое значение и смысл.

Все это нас очень интересовало, точно так же, как и бабушку, и барышень, а в особенности Мэри Уоррен.

— Отец и я часто посещаем этих двух стариков и делаем это всегда с особым удовольствием. Особую симпатию я чувствую к Сускезусу: ничто не может быть более трогательно, чем его привязанность к его единоплеменникам; говорят, что они часто посещают его, то есть, по крайней мере, каждый раз, когда кто-нибудь из них бывает в этих краях.

— Да, я не раз видал этих людей, приходивших к Сускезусу; это в большинстве случаев были бродячие индейцы, торговцы корзинами, матами и циновками, наполовину дикари, наполовину цивилизованные люди. Не так ли, бабушка? На вашей памяти случалось ли, чтобы Сускезус принимал такие торжественные депутации от своего народа, как вот теперь?

— Да, Хегс, на моей памяти это уже третий раз. Вскоре после моего замужества, а это было тотчас же после революции, прибыло сюда несколько краснокожих на поклон к Сускезусу, которые пробыли здесь десять дней. Все эти вожди были, как я потом узнала, онондаго, то есть воины одного племени с Сускезусом; в то время, как говорят, между ними и старцем состоялось что-то вроде примирения, и индейцы пробыли здесь так долго потому, что надеялись уговорить

Сускезуса вернуться опять к его единоплеменникам. Но если так, то это им не удалось. Ну, а второе подобное посещение случилось как раз во время твоего рождения, Хегс, и в тот раз мы не на шутку опасались потерять нашего дорогого старика, так настоятельно народ упрашивал его вернуться в их среду. Но он не согласился на просьбы и всего несколько недель тому назад говорил мне, что он здесь умрет.

— Да, он то же говорил и моему отцу, — сказала Мэри Уоррен.

В это время подошли к нам моя сестра и две ее приятельницы и увели с собою Мэри. Бабушка пошла вслед за ними, а я подошел к дяде, который стоял неподалеку.

— Хегс, — обратился он ко мне, — наш переводчик говорит, что краснокожие вожди желают сегодня же посетить впервые нашего старца. К счастью, здание старой фермы еще пусто, и я сказал Тысячезычному, что индейцы и он могут расположиться там на все время пребывания их в этих краях. Я уже послал туда людей распорядиться всем необходимым для приема этих гостей и надеюсь, что через какие-нибудь полчаса краснокожие будут официальными гостями в Равенснесте.

— Чего они хотят, устроиться ли сперва у себя на старой ферме, или же прежде посетить старого онондаго?

— Прежде, мне кажется, надо бы их устроить, а тем временем я пошлю Джона предупредить Сускезуса о посещении, которое ему готовится; что же касается местных индженсов, то их нападения и мщения нам опасаться нечего до той поры, покуда рядом с нами будут находиться эти подлинные краснокожие.

Согласно с этим, мы пригласили индейцев через переводчика последовать за нами в то здание, которое предназначалось им, как временное местопребывание. Между тем бабушка приказала подать к крыльцу свой крытый экипаж, намереваясь отправиться с молодежью к вигваму индейца, чтобы присутствовать при свидании Сускезуса с его единоплеменниками.

Когда мы подходили к зданию старой фермы, Том Миллер вышел к нам навстречу из своего дома и, подойдя, сконфуженно стал извиняться за некоторые свои слова и поступки, которые он считал не совсем уместными, но которые он позволил себе при нас, не признав в нас своих землевладельцев в костюмах странствующего музыканта и торговца.

Мы милостиво приняли его извинения и оправдания, но не подумали даже связать себя какими бы то ни было обещаниями на будущее время, а это именно и нужно было Тому Миллеру.

Глава XX

Двести лет! Двести лет! Сколько человеческой власти, сколько гордости, сколько блестящих надежд, сколько мрачного страха потонуло в их молчаливых волнах.

Пирпонт

За час до захода солнца мы покинули новое жилище краснокожих и направились к хижине индейца. По мере приближения момента торжественного свидания этих вождей с доблестным онондаго в индейцах замечалось некоторое волнение, смущение и даже нечто, похожее на благоговейный трепет. Большинство из вождей воспользовались свободным получасом времени, чтобы оживить и подправить рисунки на своих лицах. Особенно страшным казался Каменное Сердце; что же касается Огня Прерии, то этот старейший из вождей не счел необходимым прибегать к подобным приемам туалета.

Экипаж бабушки выехал из ворот за несколько минут ранее, чем индейцы тронулись в путь. Пошли и мы вместе с ними к вигваму старцев.

Индейцы имеют обыкновение ходить гуськом, один за другим, ступая в след идущего впереди. Во главе стал Огонь Прерии, за ним Каменное Сердце и остальные в порядке какой-то им одним известной иерархии. Встав по порядку один за другим, они тотчас же тронулись в путь. Дядя, переводчик и я шли рядом с Огнем Прерии во главе колонны; Миллер с полудюжиною любопытных следовал на некотором расстоянии позади.

Читатель, вероятно, не забыл, что Джон был послан предупредить Сускезуса о посещении индейцев. Когда мы были уже на полпути, Джон повстречался с нами; поравнявшись, он повернулся на каблуках и пошел рядом со мною, сообщая мне на ходу свои наблюдения:

— Говоря по правде, мистер Хегс, старик был очень тронут, узнав, что до пятидесяти индейцев пришли из таких далеких краев.

— Как так, пятьдесят человек? Ведь их всего только семнадцать, вам надо было сказать, что семнадцать человек, Джон!

— Неужели семнадцать? Но, клянусь вам, мне показалось, что их никак не меньше пятидесяти человек; я хотел было сказать сорок, да мне показалось, что это мало. Так, видите ли, я остался при нем, чтобы помочь старику прибраться и приодеться, а также и разрисоваться ради этого торжественного случая, потому что старый Джеп теперь ни на что не пригоден, как вы сами изволите знать. Печально, должно быть, было то время, сударь, когда жители Нью-Йорка не имели иных слуг, кроме негров, — это такой бестолковый и не развитый народ.

— Однако все шло и тогда прекрасно, Джон, — заметил дядя Ро, который был большой сторонник этой старой породы негров, которые в то время исполняли положительно все домашние обязанности во всей стране.

— Но смею доложить, что если бы при Сузе не было на этот раз никого, кроме этого старого Джепа, то наш индеец никогда не мог бы быть ни так наряжен, ни так размалеван, как того требует настоящий случай.

— Сускезус расспрашивал вас о чем-нибудь?

— О нет, сударь, ведь вы сами знаете, каков он, этот старый индеец. Онондаго не слишком речист и всякие расспросы считает не приличествующими его важному сану; он становится особенно неразговорчив и даже молчалив, когда у него есть собеседник, способный поддержать разговор. Я почти все время говорил один, как это и всегда бывает, когда я прихожу навестить его. Эти индейцы, я полагаю, вообще очень склонны к безмолвию, не так ли?

— Скажите, Джон, это вы надоумили старика разрисоваться? — осведомился дядя Ро. — Я не помню, в продолжение уж более тридцати лет, чтобы я когда-нибудь видал Бесследного разрисованным. Помнится, я однажды просил его одеть торжественный наряд и разрисоваться — и на это получил тогда такого рода ответ: «когда дерево перестает уже давать плоды, то цвет лишь только больше напоминает всем о его полной бесполезности». Но вот мы и дошли!

Действительно, мы уже подходили к самой хижине. Вечер был прекрасный, тихий и теплый. Сускезус сидел на табурете посреди зеленой лужайки перед своим домом. Развесистое дерево осеняло его своими тенистыми ветвями и защищало от лучей заходящего солнца. Джем стоял подле него в позе, приличествующей, как он полагал, его особе. Этот негр относился с немалым пренебрежением к краснокожему человеку, а индеец, в свою очередь, признавал себя неизменно выше этого домашнего раба и невольника.

Я еще никогда не видал Сускезуса в таком наряде, как в этот вечер. Украшения его состояли из двух больших медалей с изображением Георга Третьего и его деда и двух других, дарованных ему республиканским правительством.

Кольца в ушах его были так велики и тяжелы, что ниспадали ему на плечи. Кроме того, он был украшен браслетами, снизанными из больших зубов какого-то животного, которые я в первую минуту принял за человеческие. У пояса его был привешен блестящий томагавк и острый нож в ножнах; старый его испытанный товарищ — его верное ружье стояло тут же, прислоненное к стволу дерева. Надо при этом отдать справедливость, что краски на лицо старик сумел употребить с большим вкусом и умением: он, точно опытный гример, наложил легкий слой оживляющей краски на свои немного поблекшие щеки и подвел веки глаз и брови, что придало его красивому лицу и все еще блестящим, несмотря на годы, глазам удивительный блеск и живость, присущие им в молодые годы. Во всем же остальном, касающемся убранства, равно как и в обстановке хижины, ничто не претерпело ни малейшего изменения ради ожидаемого посещения далеких гостей. Обычная простота царила и внутри, и вне хижины; только старый негр Джем вытащил из сундука на солнце старую нарядную ливрею, которую он некогда носил, находясь на службе у моего дяди, да треуголку, с которой он и теперь не расставался и выряжался в нее каждый праздник или воскресный день, — все это он вытащил на свет, как доказательство превосходства негра над краснокожими. Три или четыре простых скамьи, составлявшие принадлежность хозяйства хижины, были вынесены наружу и уставлены полукругом на лужайке, на некотором расстоянии от места старого Сускезуса. Они предназначались для его гостей.

Вот к этим-то скамьям и направился Огонь Прерии с остальными вождями. Выстроившись тотчас же полукругом перед скамьями, они, однако, не сели, а оставаясь на ногах в почтительнейшей позе, все, как один, устремили внимательный и восхищенный взор на старца, которого они видели перед собой. Он, в свою очередь, не сводил глаз со своих гостей, выдерживая их упорный взгляд с должным достоинством. Наконец, по знаку Огня Прерии, все сели, но и эта перемена положения не нарушила всеобщего молчания. Так прошло около десяти минут в безмолвном созерцании доблестного онондаго, который также смотрел на своих соплеменников, причем ни с той, ни с другой стороны не было произнесено ни слова.

Но вот подъехал экипаж наших дам и остановился как раз позади скамеек, занимаемых индейцами. Ни один из них не шелохнулся, не повернул головы при стуке колес и звуке конского топота у себя за спиной. И бабушка, и ее молодая свита, все с живым интересом следили за молчаливою сценой, с нетерпением ожидая, что будет дальше.

Наконец, Сускезус поднялся с места и с достоинством, но без малейшего усилия, стал говорить, обращаясь к своим гостям:

— Добро пожаловать, возлюбленные братья! Будьте вы мне желанными гостями! Вы совершили долгий и трудный путь, чтобы увидеть старого вождя, которого его родное племя могло считать в числе умерших вот уже более девяноста лет. Глубоко сожалею, что глазам вашим не представляется более отрадное зрелище! — Голос его дрожал, но не от старческой слабости, а от сильного внутреннего волнения. Старец казался совершенно и бодрым, и спокойным, и мысли его отличались необычайной ясностью. Тысячезычный переводил нам вслух каждое слово из того, что он говорил.

— Я очень стар, — продолжал Сускезус, — эти старые ели и сосны в лесу не старше меня, а все эти деревни, села, поля и пашни бледнолицых вполнину моложе старого вождя. Я родился в то время, когда они, эти бледнолицые люди, были здесь так же редки, как мы в городах; один здесь, другой там, их всех была небольшая горстка, а теперь они так размножились, как мошки жаркой порой или как птицы, когда они вывели свои выводки. Все изменилось в этой стране! Ужасно изменилось!!! Но только сердце краснокожего человека все то же, оно твердо и непоколебимо, как скала, и не может измениться. Итак, я рад, что вижу вас, добро пожаловать, дети мои!

Слова эти произвели, по-видимому, сильное впечатление: среди вождей послышался рокот восторга и одобрения, но ни один из них не встал, чтобы отвечать старцу такими же прочувствованными словами. Все хранили глубокое молчание до тех пор, покуда каждый из присутствующих не успел проникнуться смыслом сказанной речи и усвоить ее сполна.

Затем Огонь Прерии, славившийся своею мудростью в совете столько же, сколько и своими подвигами на стезе войны, поднялся, выступил вперед и заговорил:

— Отец, слова твои, как всегда, мудры и, как всегда, правдивы! Да, путь от наших вигвамов до твоего далекий, трудный путь. Мы встретили в дороге немало терний и камней, но все препятствия преодолимы для того, кто твердо хочет их преодолеть; мы преодолели их, и вот ты видишь, мы здесь!

Мы счастливы, что застали краснокожего отца нашего здоровым и бодрым. Великий Дух любит и хранит индейца, когда он справедлив и доблестен, как ты, отец. Сто зим в его глазах — все равно, что одна зима, и мы благодарим Его за то, что Он привел нас тем трудным и тернистым путем к желанной цели и дал нам увидеть Бесследного, доблестнейшего из онондаго! Я сказал.

Луч счастья осветил черты старца, когда он услышал на родном языке этот вполне заслуженный им титул, который не радовал его слуха в течение такого срока, какой равняется обычному сроку человеческой жизни. Этот титул, ставший его прозвищем, заключал в себе повесть его отношений к родному племени; ни годы, ни расстояние, ни новые пережитые им события, ни новые тесные связи, ни войны не заставили его позабыть самых малейших происшествий из его прошлого, и в данную минуту весь он, казалось, сиял воспоминаниями далекого прошедшего.

Когда Огонь Прерии, окончив свою речь, вновь занял свое место, водворилось опять всеобщее молчание, среди которого не слышно было ни звука, кроме негодующего ворчания и подавленных возгласов неудовольствия Джепа, который не терпел индейцев, кроме своего старого сожителя. Вожди, казалось, не замечали его присутствия. Доблестный онондаго был центром, на котором сосредоточивалось всеобщее внимание, а все остальное было окончательно предано забвению в этот момент. Наконец, среди краснокожих стало заметно некоторое движение, и из их ряда вышел другой оратор. Этот человек, как мы впоследствии узнали, славился своим высоким даром красноречия, за что и был прозван Орлиным Полетом. Как ни тщательно стараются индейцы скрывать свои чувства и впечатления, тем не менее от нас не могло утаиться известное волнение их, когда Орлиный Полет выступил на середину, готовясь начать речь. Он начал серьезным, торжественным тоном, переходя затем прекраснейшими модуляциями, то к нежному, то к блестящим, то к грустным, то к патетическим нотам и моментам.

Мне казалось, что никогда в жизни я не слышал подобного оратора, что голос человеческий никогда не обладал таким богатством тонов и такой силой убеждения.

«Великий Дух, — начал он, — создал людей различными. Одни подобны тростникам, которых гнет и колыхает ветер и часто надламывает буря и непогода; другие, как сосны, имеют на вид сильный, но в сущности хрупкий ствол, редкие ветви и мягкую сердцевину. Изредка между ними вырастает могучий, сильный дуб, который далеко простирает свои мощные ветви и дает отрадную тень. Ствол его тверд, крепок и вынослив и долго стойко переносит всякие невзгоды. Почему или для чего Великий Дух делает такое различие между деревьями? Почему делает Он такое же различие между людьми, кто может знать! Но хотя мы не знаем Его цели, мы знаем, что то, что Он сделал, то и есть, и как Он сделает, так и надо! Все, что Он делает, то хорошо!

Я не раз слышал, как люди жаловались перед лицом солнца, что все в мире так, как оно есть! Они говорят, что земли, леса и реки — все это принадлежит исключительно одним краснокожим и создано для них, а люди всех других цветов не имеют на все это никакого права, но Великий Дух судил иначе; люди бывают разных цветов: некоторые краснокожие, как наш отец и мы, некоторые бледнолицые, как друзья наши, некоторые чернокожие, как друг нашего отца. Он был когда-то чернокожим, хотя преклонный возраст успел изменить цвет кожи, — и все это прекрасно, все так и должно быть, потому что оно так от Великого Духа, и мы не вправе роптать на это.

Ты говоришь, отец наш, что ты стар, что сосны леса не старше тебя,

— мы знаем это все, и это одна из причин, побудивших нас прийти сюда, хотя есть и другая причина, несравненно более важная, которую ты знаешь сам, отец наш. В течение ста зим и стольких же прекрасных времен года эта причина не выходит у нас из ума, и рассказы о ней не сходят с наших уст. Старцы рассказывали о том отцам нашим, когда те были еще юноши, а когда они стали старые, стали отцами, а мы юношами, то они пересказали о том нам, своим сыновьям. А за это время сколько жило и умерло дурных индейцев и все о них забыли! Но доблестный индеец живет долее всех в наших сердцах и в нашей памяти. Мы не желаем и не хотим помнить, что в нашем племени были дурные, злые люди, мы гоним всякое воспоминание о них, но доблестных людей мы никогда не забываем! Память о них живет вовек!! »

Он кончил, но главная причина, побудившая этих людей прийти издалека сюда, осталась невыясненной. Как водится, после того, как Орлиный Полет перестал говорить, воцарилось на некоторое время безусловное молчание и тишина, после чего Сускезус встал еще раз и отвечал на речь оратора следующими словами:

— Дети мои, я уже очень стар. Пятьдесят листопадов тому назад я думал, что настало мне время вернуться на счастливые поля моего народа и снова стать краснокожим. Но мое имя не было упомянуто, и я был оставлен один среди бледнолицых. Но, несмотря на это, по мере того, как годы ложились всей своей тяжестью на мои плечи, мысли мои все чаще и все больше стали обращаться ко временам моей далекой юности и к тем событиям, которые происходили тогда, когда я был молодым вождем онондагов. Теперь все дни мои — это лишь сновидения минувшего. А почему старческий глаз Сускезуса так ясно видит все это далекое, после того, как уже с тех пор прошло более ста зим, кто это может знать! Вот этот просторный вигвам, это вигвам моих лучших друзей, и, несмотря на то, что их лица бледны, сердце у нас у всех одного и того же цвета. Я никогда их не забуду, ни одного из них! Я как сейчас вижу их всех перед собою, начиная от самого старейшего до самого юного. Они как будто кровь моя — и это единственные бледнолицые, которых видят и знают глаза мои; а то — одни краснокожие стоят передо мною повсюду и всегда. И сердце мое с ними! Иногда виднеется одинокая иссохшая сосна среди цветущих полей бледнолицых, и я подобен этой сосне! Ее не вырубает, потому что дерево это уже ни на что не пригодно и никому не нужно, даже и на дрова. Когда на нее налетает бурный порыв ветра, то шелестит в его ветвях, и кажется, будто он гуляет только вокруг, потому что иссохшая сосна не

ощущает его порывов. Эта сосна уже устала стоять здесь одиноко, но она не может упасть по своему желанию. Она призывает топор или пилу, но ни один из людей не решается занести топор над ее стволом. Значит, время ее не пришло. То же и со мною. Дети мои, мои дни теперь сны и виденья о родном моем племени, сны и виденья о семье и родине моей. Я вижу постоянно перед собою вигвам отца моего — он был лучшим во всей деревне. Я вижу и отца, возвращающегося со стези войны со множеством скальпов. Я вижу и мать мою, она меня любила, как медведица любит своих медвежат. Я вижу и деревню онондагов, и мой народ, о, как я их любил сто двадцать зим! И как я их любил тогда, так точно люблю и теперь, как будто с того времени не прошло ни одного дня. Сердце не чувствует полета времени. Да, дети, я долго, долго жил среди бледнолицых, но мое сердце сохранило все тот же цвет, как и мое лицо. Я никогда не забывал среди них, что я краснокожий, я никогда не забывал онондагов. В ту пору, когда я был еще молод, густой лес покрывал эту долину, а теперь топор и плуг прошли по ней. Все изменилось. Лось бежал, испуганный звоном церковных колоколов, за ним последовал и краснокожий, а по следам их нагоняют бледнолицые люди, и так это ведется с той минуты, когда их лодки и ладьи впервые вошли в наши воды большого бесконечного соленого озера в стране восхода, и так оно будет продолжаться до тех пор, пока они не дойдут до другого такого же безбрежного соленого озера, что в стране заката. Тогда, братья мои, нам, краснокожим, останется или остановиться и умереть среди голых полей и долин, рома, табаку и хлебов, или же отступить до конца и утонуть в водах великого соленого озера на стороне заката. На это, без сомнения, есть какая-то тайная причина, но знать ее нам не дано, — о том знает лишь один Великий Дух.

Сускезус говорил все время спокойным, твердым голосом, отчетливо и ясно, и Тысячезычный переводил нам все дословно. Краснокожие слушали его, внимали ему с таким благоговением и восторгом, что я, стоя вблизи них, мог слышать их прерывистое дыхание. Когда же наш старец, наконец, сел, бабушка подозвала знаком дядю и меня, и когда мы оба подошли к ее экипажу, она стала объяснять нам значение того, что сейчас происходило перед нашими глазами. Она лучше всех нас была знакома с нравами и обычаями индейцев и, судя по ходу беседы хозяина и его гостей, могла делать свои заключения, тем более, что Тысячезычный переводил каждое слово настолько громко, что наши дамы могли все слышать из своего экипажа.

— Друзья мои, я вам должна сказать, что это отнюдь не деловой разговор и ничего существенного на этот раз не только не высказано, но и затронуто не будет — это просто вступительная церемония, исследование почвы — не более. Завтра, вероятно, мы узнаем действительную причину, побудившую этих чужеземцев предпринять столь далекое путешествие. Все, что до настоящей минуты было сказано, это не что иное, как взаимные любезности и готовность послушать приятные речи. Краснокожие никогда ни в чем не любят спешить; нетерпеливость, как и любопытство, считаются у них чем-то неприличествующим званию мужчины и допускаются только у женщин. Но мы, хотя и женщины, — шутливо добавила бабушка, — а все же умеем ждать. Некоторые из нас даже и теперь уже получили свою долю наслаждений и впечатлений, потому что проливают слезы, как это делает наша милая Мэри Уоррен.

И в самом деле: у всех четырех молодых девушек стояли слезы в глазах, тогда как у той, о которой только что упомянула бабушка, все лицо буквально утопало в слезах. Услышав свое имя, с намеком на ее крайнюю чувствительность, она быстро отерла лицо и вся вспыхнула, стараясь скрыться за спинами своих подруг, а я счел более деликатным отвернуться в сторону, чтобы не смущать ее.

Между тем, выждав надлежащее время, Огонь Прерий еще раз выступил вперед и произнес несколько заключительных слов.

— Отец наш, — сказал он, — благодарим тебя премного. То, что мы слышали сегодня из уст твоих, не будет забыто нами. Но мы пришли, как ты сам знаешь, издалека, и мы устали от трудов пути. Мы теперь удалимся в наш вигвам, чтобы поесть и отдохнуть. Но завтра, когда солнце будет вот здесь (при этом он указал рукой на то место небосклона, где солнце должно было быть около девяти часов), мы снова вернемся сюда — откроем свой слух, чтобы внимать словам твоей великой мудрости. Великий Дух, который хранил тебя многие годы, сохранит тебя и до тех пор, а мы не преминем вернуться. Нам слишком хорошо с тобою, отец, чтобы мы могли забыть сюда дорогу. Прощай!

Все краснокожие вожди разом поднялись со своих мест и остались некоторое время стоять, неподвижно устремив свои взоры на старца в глубоком безмолвии; затем, повернувшись вполоборота, вновь выстроились по одному человеку в ряд и молча, быстрым шагом удалились, следуя за своим проводником по направлению к старой ферме, где приготовлено было для них помещение.

Сускезус некоторое время молча смотрел вслед бесшумно удалявшейся группе людей, и едва заметное облачко печали скользнуло по его челу, затем он встал и, не сказав ни слова, пошел в хижину; во весь остаток этого дня он уж ни разу не улыбнулся.

Между тем негр, ровесник старого индейца, все продолжал высказывать свое неудовольствие по случаю того, что видел перед собою так много индейцев.

— На что нам такое множество краснокожих? — ворчал он, обращаясь к своему другу, который его не слушал. — Никакого добра от них не будет, помяните вы мое слово. Как часто они устраивали засады в лесу, когда и вы, и я были близки от них. Суз, вы становитесь уж очень стары и забывчивы, но, конечно, никто не может жить дольше цветного (то есть черного) человека. Боже правый! Я думаю иногда, что я буду жить вечно, вечно — и не умру никогда. Удивительно даже вспомнить, как давно я живу на земле!

Но такого рода речи были вовсе не редкостью у старого Джепа, и никто не обращал на них внимания. И даже когда Сускезус уже ушел в хижину с видом человека, который желает остаться наедине со своими мыслями, негр все еще продолжал говорить на тему своего долголетия. Бабушка с барышнями тронулись в путь после ухода индейца, а мы с дядей пошли домой пешком.

Глава XXI

Явись вместе с твоим деревенским эхом, милый спутник пурпурной зари; дай нам услышать жужжание пчелы и жалобное кукование кукушки.

Наконец-то я опять мог провести ночь под своим родным кровом, в кругу своей родной семьи. Несмотря на то, что о моем присутствии уже теперь было известно всем, мысль об антирентистах нимало не смущала меня в этот момент. Трусость, выказанная этими грозными индженсами сегодня поутру при появлении кучки настоящих индейцев, конечно, не могла способствовать тому, чтобы они внушали мне надлежащий страх, и этим, быть может, объяснилось отчасти мое равнодушие к ним в этот вечер. Однако таинственный и даже немного торжественный вид, с каким Джон принялся баррикадировать, запиравать и загораживать все окна и двери, как только наши дамы удалились из комнаты, произвели на меня, да и на дядю, не совсем приятное впечатление. Когда эта важная мера предосторожности была уже принята нашим дворецким, — такова была, собственно говоря, должность Джона, — то он явился к нам и вручил каждому из нас по карабину и по револьверу с надлежащим количеством патронов и зарядов.

— Старая барыня приказали мне вручить вам это, мистер Хегс; каждый из нас в этом доме имеет у себя карабин и револьвер наготове, на всякий случай, и барыня сама имеет у себя, в своей комнате, оружие, припасенное для нее и для мадемуазель Марты.

— Но мне кажется, что мы еще не дошли до того, чтобы иметь надобность прибегать к такого рода средствам! — заметил дядя Ро.

— Как знать? Как знать, чего не знаешь, мистер Роджер? Ведь враг может явиться во всякое время. Правда, у нас было всего лишь три тревоги с тех пор, как барыня с барышнями изволили прибыть сюда из города, и, к счастью, тогда обошлось без кровопролития, хотя мы и стреляли в неприятеля, а неприятель в нас.

Ничего более на эту тему не было сказано, но каждый из нас, взяв свое оружие, отправился в свою комнату. Было уже около полуночи, когда я вернулся к себе, но не чувствовал ни малейшего желания лечь в кровать; спать мне вовсе не хотелось, и я, присев к окну, стал смотреть вдаль. Полный месяц освещал своим бледным светом весь расстилавшийся передо мною пейзаж: проезжую дорогу, новую ферму, где жил Миллер, церковь села Равенснест и церковный дом, жилище милой Мэри, и длинный ряд цветущих ферм, расположенных в долине и по скату небольшой возвышенности.

Не просидел я и получаса у моего окна, глядя в серебрившуюся даль, как вдруг на дороге, ведущей от деревни к нашему дому, я заметил какой-то движущийся предмет. Мне была видна вся белевшая длинная полоса дороги от самого села и до нашей усадьбы, за исключением всего нескольких мест, где дорога скрывалась за большими группами деревьев или в кустах. Да, я не ошибался: в этот поздний час кто-то крупным галопом несся по дороге. Но вот наездник скрылся в тени, ложившейся на дорогу в том месте, которого он теперь достиг, на протяжении каких-нибудь пятидесяти шагов, после чего тропа продолжала извиваться по ровной долине, вся залитая лунным светом. Там, где кончалась тень, подле самой дороги рос старый голландский дуб и вокруг ствола кольцом обвивалась скамейка; этот старый дуб был излюбленным местом прогулок наших дам в жаркие дни.

С напряженным вниманием я выжидал момента, когда наездник, проскакав ту часть пути, которая оставалась в тени, выедет снова на свет. Лошадь шла по-прежнему крупным галопом и тем же аллюром подскакала к дубу. Тут, к немалому своему удивлению, я увидел, что какая-то женщина соскочила почти на ходу с лошади; потом она поспешно привязала лошадь и быстрой, решительной походкой направилась к дому. Не желая тревожить никого в доме, я вышел из своей комнаты и без свечи спустился в сени маленького бокового подъезда. И вдруг, в тот момент, когда я подходил к двери, я увидел перед собой стройную женскую фигуру, которая уже держала руку на замке и силилась открыть дверь. То была Мэри Уоррен.

— Так и вы увидели ее, мистер Литтлпедж? — шепотом спросила она меня.

— Вы знаете, кто это? — спросил я в свою очередь.

— Конечно, — спокойно ответила Мэри, — я не могла ошибиться, это Оппортюнити Ньюкем.

При этом я повернул ключ, и как раз в это время названная особа переступила через порог. Она, казалось, была весьма удивлена при виде тех привратников, которые отворили ей дверь, но все же поспешила войти, оглядываясь назад, как будто опасалась, что за нею следили.

Оппортюнити была девушка лет двадцати шести, не лишенная известной привлекательности, а теперь, когда она от быстрой езды, а может быть, и от испытываемого ею волнения, покраснелась, она казалась весьма красивой; при всем том Оппортюнити Ньюкем была не из числа тех женщин, которые могли внушать мне страсть. Первые произнесенные ею слова отнюдь не говорили в пользу деликатности ее манер.

— Честное слово! — воскликнула она. — Я уж никак не ожидала, что застану вместе двоих молодых людей в такую пору ночи! ..

Я бы охотно свернул ей шею за это злое замечание, но участие, которое мне внушала Мэри, невольно заставило меня бросить в ее сторону встревоженный взгляд, но девушка отнеслась к этим словам с таким спокойствием, какое может в подобных случаях дать лишь сознание своей невинности ни в чем дурном.

— Мы все давно уж разошлись по своим комнатам, — сказала она, — и все, кажется, легли спать, а мне спать не хотелось, и я села к окну. Вас я увидела с той минуты, как вы выехали из села. У дуба я вас узнала и спустилась, чтобы впустить вас, полагая, что нечто важное привело вас сюда в такую пору.

— Ах, вовсе нет! — развязно воскликнула Оппортюнити. — Я очень люблю лунный свет, и мне показалось особенно приятно прокатиться при луне сюда и часа в два поутру вернуться обратно. Вот и все, что меня побудило предпринять эту поездку, могу вас в том уверить, Мэри.

Спокойный тон, каким были сказаны эти слова, признаюсь, немного удивил меня. Я подумал, что столь несвоевременный приезд Оппортюнити Ньюкем находится в связи с вопросом о ее брате и что потому она, весьма естественно, желала говорить со мною с глазу на глаз. Мы находились в большой библиотеке у круглого стола, на котором горела лампа. Мэри сидела ближе ко мне, а Оппортюнити немножко поодаль. Я незаметно между разговором написал на клочке бумаги два слова Мэри, прося ее оставить нас вдвоем, и так же незаметно подсунул эту записку моей соседке. Та молча встала и вышла из комнаты, а Оппортюнити даже не сразу заметила ее уход.

— Вот видите, вы заставили Мэри Уоррен удалиться, мисс Оппортюнити, вашим замечанием по поводу того, что вы застали нас вдвоем.

— Ах, Боже мой, — воскликнула она, — да что же тут ужасного? Я, например, привыкла оставаться вдвоем с мужчинами и даже не обращаю на это ни малейшего внимания. Но одни ли мы теперь, мистер Хегс?

— Как видите, здесь ни души. Мне кажется, что мисс Мэри покинула нас, немного обиженная вашими словами.

— О, что касается Мэри Уоррен, то я нимало не беспокоюсь о ней. Это такое добродушное создание, такое незлобивое и снисходительное, как и сама религия. Да и к тому же ведь она не больше чем дочь священника епископальной церкви, и если бы здесь не было вашей семьи, то я, право, уверена, что эта должность давно уж уничтожилась бы в Равенснесте.

— О, в таком случае я весьма доволен тем, что наша семья еще существует здесь! Что же касается мадемуазель Мэри Уоррен, то мне очень приятно слышать, что она такого кроткого характера.

— Я очень рада, что вам это приятно, но как бы то ни было, а завтра, могу вас уверить, Мэри Уоррен забудет о моем замечании, да и вообще не будет думать о нем и вполтину столько, сколько бы подумала над этим я, будь я на вашем месте.

— Однако, я уверен, что вы предприняли такое далекое путешествие, да еще в ночную пору, не для того только, чтобы полюбоваться луной, — заметил я, — и если так, то я был бы вам весьма благодарен, если бы вы мне сообщили истинную причину, побудившую вас к этой прогулке.

— А что если Мэри где-нибудь у дверей подслушивает нас? — сказала Оппортюнити с той подозрительностью, которая так свойственна вульгарным характерам.

— О, на этот счет бояться нечего, — возразил я, вставая со своего места и отворяя настежь двери. — Вы видите, здесь нет никого.

Но Оппортюнити не так легко было убедить, она встала сама, на цыпочках подошла к двери коридора и заглянула в него, затем вернулась и, плотно прикрыв двери, села и приступила, наконец, к сути дела.

— Мы провели сегодня ужасный день, мистер Хегс, — начала она. — И кто мог думать, что этот странствующий музыкант и старый немец торговец были вы и ваш дядя?

— Да, это, быть может, немного смешной фарс, но зато он нам помог узнать немаловажные для нас секреты.

— Вот в этом-то вся суть! И хотя я вас защищала, сколько могла, но...

— Ах, так ваши братья негодуют на то, что я явился к ним ряженым?!

— Да, они этим очень возмущены. Они говорят, что это очень неблагородно — вернуться таким образом на свою родину и выманить у них их тайны. Я, конечно, старалась говорить в вашу пользу, насколько только это возможно, потому что я с детства была вашим другом и часто попадала сама в неприятность лишь для того, чтобы избавить вас от этой неприятности, Хегс.

Эти последние слова мисс Оппортюнити не совсем согласовались с правдой, но, тем не менее при этом заявлении она умилительно вздохнула, опустила глазки и как будто застыдилась. Я счел нужным воспользоваться этим случаем, взял руку молодой особы и с чувством пожал ее.

— Вы очень, очень добры, милая Оппортюнити, — сказал я, — и я всегда рассчитывал и полагался на вашу дружбу.

Затем, увидя, что моя собеседница начинает разнеживаться, я выпустил тихонько ее руку, опасаясь, что она склонится на мое плечо и станет еще, пожалуй, плакать на моей груди.

Оппортюнити осталась, видимо, недовольна моей скромностью. Между тем я стал просить, чтобы она сообщила мне суть дела, так как сгорал от нетерпения услышать все, что она хотела передать мне.

Вот вкратце то, что мне удалось узнать от нее.

Когда Сенека, вернувшись домой вслед за бежавшими индженсами, сообщил другим антирентистам, что Хегс Литтлпедж вернулся на родину и, благодаря своему наряду, выведал многие из их секретов и тайн, они поняли, что теперь они в его руках, и потому решили в своем мудром совете подать донос на дядю и меня, в котором мы обвинялись, как уличенные в явном нарушении закона перед одним из антирентистских судей. Этим путем они думали предупредить

возможность подобной же жалобы с нашей стороны против действительных виновников этого преступления. Однако им это показалось недостаточной карой для нас, и они нашли необходимым испробовать другой род запугивания и угроз. Оппортюнити успела убедиться, что планировалась отчаянная попытка такого рода, и, как она полагала, даже в эту ночь. Какого рода должна была быть эта попытка, она, по ее словам, не знала, а может быть, просто не хотела этого сказать.

Когда же Оппортюнити окончила свое, как всегда, многословное повествование, я счел нужным выразить ей свою признательность.

— Поверьте, мисс Оппортюнити, что я отлично понимаю все значение оказанной вами мне услуги и всегда буду вам за это благодарен; что же касается каких бы то ни было частных соглашений с вашим братом Сенеккой, то я никоим образом не могу на это согласиться, так как это равносильно будет участию в преступлении. Но так как ваши желания для меня имеют громадный вес, то я могу не предпринимать никаких активных мер против него — вот и все, что я считаю возможным сделать в данном случае. Что же касается проекта обжаловать и арестовать нас с дядей, то это меня нисколько не беспокоит, так как весьма сомнительно, чтобы из этого могло что-либо выйти: ведь мы все были переряжены вовсе не в том смысле, как то понимает закон, мы не имели масок, у нас не было при себе никакого оружия, даже перочинного ножа, так что жалоба подобного рода сама собою не может иметь никаких последствий, разве что только найдутся люди, которые не побоятся и клятвопреступления.

— Но вы знаете, — довольно многозначительно воскликнула Оппортюнити, — какие страшные клятвы дают во времена антирентизма! Ведь они собственно религиозного значения-то не имеют.

— О, да, я знаю. Свидетельства некоторых людей часто бывают не совсем надежным основанием как для обвинений, так и для оправданий, и им не следует особенно доверяться. Но что теперь говорить об этом? Самое важное в настоящее время — это, конечно, знать, в чем собственно состоит злонамеренный проект этих господ против меня, осуществление которого предназначается в эту или же в следующую за этой ночь.

— Я с удовольствием сообщила бы вам это, если бы могла, но я могу сказать только то, что мне самой известно. Однако мне пора спешить в обратный путь!

С этими словами Оппортюнити встала и, наградив меня очаровательнейшей улыбкой, поспешно сбегала вниз по лестнице к маленькому крыльцу. Я проводил ее до дуба и помог ей вскочить в седло. Во все это время она кокетливо заигрывала со мною на все лады и, видимо, старалась оттягивать свой отъезд, несмотря на то, что уверяла, будто должна очень спешить.

Мне пришло в голову, что она хочет сообщить мне еще что-нибудь.

— Этот поступок ваш так великодушен и так отвечает прежним нашим отношениям, что, право, я не знаю, как мне отблагодарить вас. Но я надеюсь, что мы с вами еще доживем до того времени, когда вновь возвратятся старые времена и между нами вновь вспыхнет прежняя тесная дружба.

— Ах, как бы я желала, чтобы опять вернулись те времена! Но все равно, Хегс, я уверена, вы справитесь со своими врагами, и тогда вы снова устроитесь прекрасно и, верно, женитесь? Ведь вы рассчитываете жениться? Не так ли?

Это было уж совсем явное нападение, но я привык к таким выходкам девушки и постоянно ожидал от нее чего-нибудь подобного. Итак, я слегка пожал ее руку, которую держал в своих, затем, выпустив ее, произнес немного печальным голосом:

— Да, Оппортюнити, теперь я уж не буду спрашивать у вас о том, какого рода нападение готовится мне в эту ночь. Я понимаю, что брат всегда будет дороже друга детства... Простите, если я на один момент забыл об этом.

Оппортюнити, которая уже сдала повод и готова была пустить коня в галоп, одним порывистым движением сдержала прекрасное животное; мои слова тронули ее сердце: она склонилась с седла так низко, что наши лица почти соприкасались в этот момент и шепотом проговорила:

— Огонь верный слуга, но плохой господин! Одно ведро воды, плеснутое вовремя, могло бы затушить последний громадный пожар Нью-Йорка.

Едва успела она произнести эти слова, как резкий удар хлыста заставил ее лошадь рвануться вперед, и вслед за тем лихая и смелая наездница помчалась как стрела по зеленому лугу кратчайшим путем к селу. Я некоторое время молча смотрел ей вслед, покуда она не скрылась в пересекавшей ее путь глубокой балке, а затем на минуту серьезно призадумался. Да, огонь! Это страшное слово. От него трудно обороняться... Я решил не спать всю ночь, но ведь одного этого было мало: луна уже скрылась, и только одни звезды еще посылали свои бледные, трепетные лучи на объятую сном природу, и темный пейзаж казался оттого как будто еще темнее и таинственнее. Прежде всего мне следовало найти себе помощников для того, чтобы сторожить свои владения, и я решил избрать их из числа моих краснокожих гостей.

Не возвращаясь домой, я тотчас же направился к индейцам, держась все время в тени; и лужайку, и поле я даже обошел таким путем, что меня никто не мог увидеть даже и в том случае, если бы здесь за мною следили. Расстояние было невелико, и вскоре я очутился у того самого холма, на котором возвышалось здание старой фермы, обнесенное густой живой изгородью из старой смородины. Здесь я остановился на минуту и оглянулся кругом, стараясь хорошенько собраться с мыслями и сообразить, что мне следует делать.

Глава XXII

О, время и смерть! Шагами, хотя и не равными, вы все время подвигаетесь вперед, опрокидывая на своем ужасном пути хижину, дворец и трон.

Сандс

Вот оно, это старое, величавое жилище моих предков с его неприступными каменными стенами; конечно, возможно было поджечь снаружи и его, но это было бы весьма трудно, так как, кроме входных дверей, портика и крыши, нигде не было дерева, и пламя не нашло бы себе пищи.

Особенного присмотра, чтобы обезопасить эту постройку от огня, здесь, таким образом, не требовалось.

Но кроме главного корпуса с его каменными стенами, было немало дворовых построек; правда, конюшни, некоторые дома и амбары были также каменные, но ведь достаточно было кинуть зажженную лучину на стог сена, чтобы пожар распространился во все стороны. Этого можно было ожидать тем более, что по законам страны поджог овинов, риги, сеновала и тому подобных построек не влечет за собою смертной казни.

Размышляя таким образом, я осторожно пробирался сквозь изгородь и был немало удивлен и встревожен, очутившись лицом к лицу с вооруженным с ног до головы человеком, который тотчас же окликнул меня.

— Кто тут? Куда идешь? Что надо? — По выговору и гортанному голосу я признал в нем одного из моих краснокожих гостей, исполнявшего, очевидно, обязанности часового.

Я назвал его и добавил, что мне хочется видеть переводчика. Он тотчас же протянул мне руку и, казалось, был вполне удовлетворен моим ответом. Он не стал ни о чем меня расспрашивать и не выказал ни малейшего изумления или любопытства по случаю такого неожиданного ночного посещения. Проводив меня без шума до того места, где, растянувшись на своей постели, крепко спал Тысячезычный, он немедленно удалился.

При первом прикосновении моей руки переводчик тотчас же вскочил на ноги и, несмотря на мрак, царивший в комнате, узнал меня с первого взгляда. Тронув меня тихонько за руку, он сделал знак, приглашая меня следовать за ним. Мы вышли наружу, и он заговорил спокойным тоном привычного к такого рода ночным тревогам человека.

— Что, где-нибудь беспокойно в эту ночь? Вызвать моих друзей?

— Это верно, — ответил я, — вы, конечно, знаете тревожное состояние этой страны?

— Да, но я не совсем его понимаю, полковник, — ответил тот, называя меня этим самым почетным, по понятию пограничных людей, чином,

— мне кажется, что у вас не мир и не война, не томагавк, не закон!

— Вы, вероятно, хотите этим сказать, что наша страна не может быть названа ни дикой, ни цивилизованной, что здесь не подчиняются законам и вместе с тем не имеют права прибегать к силе кулака?

— Да, нечто в этом роде; когда мы отправлялись сюда, пограничный комиссар объявил нам, что мы вступаем в страну, где царствует закон и справедливость, где есть судьи для разбирательства всяких частных недоразумений, для защиты правого и наказания виновного, и что ни один человек, будь то краснокожий или бледнолицый, не имеет здесь права самовольно чинить суд и расправу. И все мы придерживались этого правила с той минуты, как перешли Миссисипи.

— Прекрасно, но, однако, перейдем к делу! Вы уже успели узнать кое-что об этих антирентистах и их мнимых индженсах?

— Да, кое-что; все же я не могу понять, как может человек, условившись платить за землю, вдруг не желать платить по договору? Ведь договор всегда остается договором, и слова человека имеют такое же значение, как его подпись.

— О, это мнение удивило бы у нас очень многих, а в том числе и наших законодателей. Но скажите, ваши краснокожие приятели знают что-либо о характере этих отношений между землевладельцами и их арендаторами?

— Они успели отчасти вникнуть в это дело и много говорили об этом между собой. Во всяком случае могу сказать вам, что самому характеру индейца противно условиться или обещать одно и затем делать другое! Не сдержать данного слова у них считается позором. Но скажите, ради Бога, что привело вас сюда среди ночи?

Я сообщил Тысячезычному о посещении меня одной молодой девушкой и о том, что она сообщила мне. Мой переводчик, по-видимому, вовсе не смутился при мысли о маленькой стычке с индженсами, на которых он негодовал не только за их вчерашнее постыдное поведение, но и за то, что они так нагло глумятся над уважаемыми им краснокожими, выражаясь и кривляясь в подражание им.

— Ничего доброго от этих тварей ожидать нельзя, — сердито сказал он, — хотя огонь считается даже у нас в прериях законным способом войны. Ну, а затем, что касается меня лично, то я скажу вам, что весьма рад случаю, что нашлось какое-нибудь дело и нам, и мои вожди, наверное, будут этому рады. Трудно непривычному к тому человеку провести несколько месяцев без всякого дела, а только курить в совете и говорить речи в присутствии людей, которые всю свою жизнь только едят, пьют, говорят да спят. Деятельность — вот настоящая сфера обитателя прерии, и он всегда рад бывает всякому делу и физическому труду, лишь бы только они не унижали его достоинства, то есть не делали его похожим на рабочего наемника. Слишком продолжительный отдых тяготит его.

— Видите ли, я бы желал не столько содействия силы, сколько помощи в смысле наблюдения, и если бы вожди согласились принять участие в охране от попыток поджога главнейших построек усадьбы, причем хорошо было бы иметь у себя под рукой хоть по ведру воды, чтобы в случае, если где покажется огонь, тотчас же залить его, это было бы прекрасно. Мы не имеем права прибегать к насильственным мерам иначе, как только в случае крайней необходимости. Но если бы вожди захватили нескольких человек в плен, то это было бы для меня весьма приятно, так как эти пленные могли бы служить нам в качестве заложников и тем самым дали бы нам возможность держать в страхе остальных. Прошу вас, передайте все это доблестным вождям, вашим приятелям.

На это переводчик как-то странно промывчал, но не сказал ни слова. Да, впрочем, мы и не могли далее продолжать наш разговор, так как в этот момент из дома вышли все до одного индейцы в полном вооружении и совсем наготове, ступая, по своему обыкновению, совершенно неслышно по земле. Тысячезычный передал им в кратких словах причину этой ночной тревоги и то, чего собственно от них ожидают в данном случае, и затем не прибавил уже более ни слова. Каменное Сердце, очевидно, являлся на этот раз главным распорядителем и повелителем, хотя Огонь Прерии и еще один из числа вождей подавали свои советы и делали свои распоряжения, причем никто друг другу не прекословил. Спустя не более пяти минут все они парами неслышно разбрелись в разные стороны, крадучись, как кошки за добычей, и скрылись с наших глаз, оставив меня вдвоем с Тысячезычным.

Так как было уже более часа ночи, то я полагал, что враг должен был вскоре появиться, если только он намеревался предпринять что-нибудь в эту ночь, а потому я в сопровождении переводчика отправился к дому. Я намеревался захватить оставшееся в моей комнате оружие и затем вернуться к моему товарищу-переводчику, не разбудив никого в доме. Я уже готовился снова выйти из дому. Но в тот момент, когда я взялся за скобку двери, чья-то маленькая нежная ручка легла на мою руку; обернувшись, я снова увидел перед собою Мэри Уоррен.

— Я не могла заснуть, — начала она, — хотя сама не знаю, почему. Я была у окна и видела, как вы проводили Оппортюнити Ньюкем и затем не вернулись домой, а пошли к старой ферме. Почему? Это меня тревожит! Скажите откровенно, мистер Литтлпедж, не грозит ли всем вам какая-нибудь опасность?

— Я ничего не буду скрывать от вас, мисс Мэри, зная, что ваша осторожность и самообладание не вызовут напрасной тревоги и переполоха, а вместе с тем ваше участие может нам быть полезно. Есть причины опасаться огня.

— Огня?

— Да, огонь — самое подходящее орудие для антирентистов, но я созвал на помощь всех краснокожих друзей наших, чтобы и они сторожили вместе с нами, и полагаю, что на эту ночь их попытка не удастся, а завтра мы можем уже обратиться к властям.

— Я в эту ночь не лягу спать! — воскликнула Мэри. — Вы опасаетесь собственно за этот дом?

— Как вам сказать? Понятно, его поджечь снаружи не совсем легко, а врагов внутри дома, я полагаю, у нас нет, но все же огонь — вещь страшная, и в деревнях так мало средств ему противодействовать. Вот почему я не упрашиваю вас вернуться в вашу комнату и лечь в постель, тем более, что вы бы этого все равно теперь не сделали, но попрошу вас, обходя дом от окна к окну, следить за тем, что делается вокруг дома. Может быть, этим путем вы окажете нам серьезную услугу.

— Я с радостью исполню это, — с горячностью воскликнула девушка, — и если увижу что-либо подозрительное, то тотчас открою одну половину ставни в моем окне; в комнате горит лампа; если увидите свет, идите к боковому крыльцу, я буду ожидать вас за дверью и сообщу то, что мне удалось подглядеть.

Покончив с этим соглашением, я вновь вернулся к своему товарищу, который, обойдя вокруг всего здания, теперь преспокойно сидел на скамье под развесистым кленом на расстоянии менее ста шагов от дома. Я сел подле него с намерением скоротать время в беседе с этим своеобразным, но далеко не глупым собеседником. Я повел разговор на тему прелестей прерии и образа жизни ее обитателей в надежде услышать от Тысячезычного какие-нибудь интересные подробности.

— Вот что я вам скажу, полковник, — произнес он не без некоторого волнения в голосе, — жизнь в прериях прекрасна и отрадна для всякого, кто любит и дорожит свободой и справедливостью.

— Свободой, да, в этом я, пожалуй, согласен с вами, но что касается справедливости, то думаю, что законы — необходимая вещь.

— Ну, да, это одно из ваших городских понятий, но это право — предрассудок; в сущности же закон вовсе не так необходим, как думают. Нет ни таких присяжных, ни таких верховных судов, ни таких адвокатов, как вот это, — и он с энергией похлопал по стволу своего ружья. — А здесь у вас ведь только одна слава, что есть закон, а в сущности у вас нет ни закона, ни ружья. Если бы у вас был действительно закон, то ничего подобного тому, что теперь происходит вокруг, не могло бы быть даже и в помине.

В его словах было немало правды, и потому я не стал ему возражать. В продолжение более полутора часов наша беседа переходила с предмета на предмет, но преимущественно задевала жгучие вопросы того времени.

— Знаете, что я вам скажу! — воскликнул между прочим мой собеседник. — Если нам посчастливится изловить одного из этих ряженых негодяев, которые намереваются поджечь ваш дом, то по моей методе я бы связал этого парня по рукам и по ногам и швырнул бы его в огонь, чтобы помочь ему довершить начатое им дело. Вы не поверите, какой прекрасный горючий материал представляет собой мерзавец или негодяй! — Не успел мой собеседник произнести эти слова, как я увидел, что одна половина ставни в окне комнаты Мэри отворилась, и яркая полоса света проникла сквозь стекло наружу; я тотчас поднялся с места и, дав Тысячезычному кое-какие

наставления относительно дальнейшего наблюдения, быстрыми шагами перебежал через лужайку и в одну минуту очутился у дверей бокового крылечка; в тот же момент дверь отворилась, и я увидел Мэри, которая жестом руки делала мне знак, чтобы я был осторожен.

— Говорите тише, — с беспокойством в голосе сказала она, но сохраняя обычное самообладание. — Я их накрыла, они здесь.

— Здесь, в доме?

— Да, на кухне, где они разводят на полу огонь в настоящую минуту. Пойдемте, нельзя терять времени.

Узнав от Мэри эту страшную весть, я не стал долго раздумывать над тем, как это могло случиться, а тотчас же попросил милую девушку добежать до клена, под которым сидел переводчик, и позвать его к нам на помощь, но Мэри не соглашалась оставить меня одного.

— Нет, нет, — возразила она, — вы не должны идти одни в кухню, их двое, и они кажутся на вид здоровенными и решительными мерзавцами; каждый из них вооружен, а лица их густо вымазаны сажей. Нет, нет, как вы хотите, а я пойду с вами.

Не рассуждая далее, я пошел вместе с Мэри через столовую в людскую, выходящую окнами во внутренний двор. Из окна людской, приходившегося как раз против окошка кухни, мы ясно могли видеть, что происходило в самой кухне. Двое людей хлопотали, складывая из дров что-то вроде костра в одном из углов кухни, где, по их верному расчету, пламя должно было охватить деревянную лестницу, ведущую в верхний этаж, и оттуда проникнуть на чердак, охватить балки и добраться до крыши. К счастью, все полы в этой части дома были из каменных плит.

На кухне в костре вспыхнул на мгновение яркий огонек, предвещавший, что сложенные в кучу материалы успели уже загореться. При виде огня самая опасность показалась мне как будто менее грозной, чем я полагал в моем воображении. Костер этот был сооружен из дров, принесенных кухаркой к завтрашнему дню, и зажжен от угля, взятого из-под плиты. Куча нагроможденных горючих материалов была весьма значительна, и огонь весело пробежал по ней, а негодяи между тем нагромождали на нее еще стулья и кухонные скамьи.

Конечно, я мог без труда уложить из ружья или пистолета обоих негодяев, но мне хотелось по возможности избежать кровопролития. Однако я предвидел серьезную борьбу и сознавал необходимость посторонней помощи.

— Прошу вас, мисс Мэри, подымитесь в комнату моего дяди и скажите, чтобы он поспешил сюда, а затем позовите с крыльца Тысячезычного, чтобы и он пришел сюда.

— Право же, я боюсь вас одного оставить, мистер Литтлпедж, — мягко возразила и на этот раз Мэри.

Однако я настаивал, и она стрелой бросилась исполнять мое поручение.

Минуту спустя я услышал, как она звала переводчика. Несмотря на предосторожность, звук ее голоса в тишине ночи раздался довольно явственно и, как я мог видеть, испугал злодеев. Они прислушались, переглянулись и, взглянув еще раз на свое сооружение, готовились уйти из кухни.

Решительная минута близилась; я должен был или готовиться к борьбе, или же дать им спокойно уйти. У меня было мелькнула мысль уложить одного из них на месте из ружья и схватиться с другим врукопашную, но мне стало страшно стать убийцей. Однако нельзя было терять ни минуты. Вот скрипнула дверь кухни, и я приготовился действовать. При звуке первых шагов этих негодяев по плитам мостовой двора я выстрелил в воздух, давая знать товарищам об опасности, и в тот же момент, схватив ружье за дуло, ошеломил ударом приклада первого из мерзавцев; он

упал без чувств, точно под ударом ловкого мясника. Бросив ружье, я схватился со вторым негодяем, и мое нападение было для него столь неожиданным, что он не мог сразу справиться со мной, хотя и был сильнее и, очевидно, опытнее меня в борьбе.

Однако вскоре я очутился под ним. По счастью, я свалился на лежавшего на земле врага, который успел уже немного очнуться и пробовал стать на ноги. Мой соперник схватил меня за галстук и принялся душить; но в этот момент подбежала на помощь Мэри. Она схватила валявшееся на земле мое ружье и, продев его проворно под согнутые руки моего врага, отшвырнула его в сторону с помощью этого рычага. Это позволило мне перевести дух и очнуться; я поспешно вскочил на ноги и, выхватив из кармана пистолет, пригрозил мерзавцу, что если только он двинется с места, я разможжу ему череп. При виде этого грозного оружия мой противник, видимо, оробел и начал пятиться к углу двора, упрашивая меня не стрелять и не отнимать у него жизнь.

В этот момент во двор вбежал Тысячезычный и с ним все краснокожие вожди, которых призвал сюда выстрел, который я сделал из моего ружья и который все они услышали.

Глава XXIII

Вы говорите, что они исчезли, эти люди храброй и благородной расы, что не видно более их легких челноков на вершинах пенящихся волн; что среди лесов, где они царили, не слышно более криков охотника, но их имена на ваших водах не нуждаются более в уничтожении.

Мадам Сигурней

Поручив Тысячезычному схватить и связать поджигателей, я сам бросился в кухню тушить пожар, но и тут Мэри опередила меня и уже успела вылить на огонь несколько ведер воды. Тут же, в кухне, находился громадный бак с водою; я немедленно воспользовался ею и докончил дело, начатое Мэри.

Вскоре вся кухня наполнилась густым белым паром, и яркий свет пожара заменила полнейшая темнота. Между тем отовсюду сбегались люди, прислуга мужская и женская; кухню очистили от дыма, распахнув настежь все окна и двери, и тогда я увидел себя окруженным индейцами, разглядывавшими действие пожара с мрачным, угрюмым видом.

Поджигатели были тоже тут; со связанными за спиной руками они жались в углу, стараясь не шевельнуться, чтобы о них забыли. Так как лица их покрывал еще густой слой сажи, то узнать их было довольно трудно, и я приказал кому-нибудь из прислуги умыть их.

Когда первый из них был умыт, пред нашими взорами предстала сконфуженная и растерянная рожа Джошуа Бриггама; это открытие меня немного удивило и возбудило еще в большей мере

мое любопытство по отношению к его сообщнику. Наша кухарка с особенным усердием старалась отмыть сажу с лица второго негодяя, и когда, наконец, это ей удалось, я узнал в нем Сенеку Ньюкема.

Трудно себе представить, насколько я был возмущен его участием в подобном деле! Как бы там ни было, но все же долголетняя привычка создает нечто вроде привязанности, а мы с Ньюкемами более полувека жили бок о бок; кроме того, эта семья претендовала на более высокое происхождение и общественное положение, чем остальные наши арендаторы, в большинстве случаев простые хлебопашцы. Они имели и некоторое образование и потому всегда ближе других стояли к нашей семье. Мне было больно, что этот Сенека способен даже и на такие вещи, как поджог. Однако Оппортюнити, как я в том был уверен, имела некоторые добрые чувства и, вероятно, не подозревала намерений своего брата, не считая подобный поступок возможным с его стороны, иначе она, конечно, не предала бы его в мои руки и, вероятно, теперь будет горько каяться, узнав о непредвиденных результатах этих событий.

Пока я размышлял на эту тему, меня позвали к бабушке. Я застал ее в спальне, окруженную всеми четырьмя барышнями. Бабушке было уже известно, что всякая опасность от пожара для дома миновала, но у нее было просто желание взглянуть на меня, чтобы успокоить подымавшуюся в ее душе смутную тревогу обо мне.

— Как видишь, положение страны ужасно; мы ни минуты не можем считать себя и свой дом в безопасности, мы не вправе ни часу долее удерживать этих барышень здесь, а потому завтра же дядя должен будет поехать и увезти их в Сатанстое.

— Нет, бабушка! Нет, нет, я не оставляю вас здесь одну! — с горячностью воскликнула тотчас же Пэтти. — Да и мне кажется не особенно благородным с нашей стороны оставить здесь одну нашу милую Мэри в такое время.

— Я не могу покинуть отца, — спокойно возразила Мэри, — его долг повелевает ему оставаться здесь, среди своей паствы, тем более, что в настоящее время многие из его духовных детей впали в жестокое заблуждение и грехи, а мой долг и мое сердце повелевают мне быть неразлучно с ним во все тяжелые минуты его жизни.

Бабушка с любовью взглянула при этом на Мэри и сказала:

— Вы поезжайте с дядей, а мы с Мэри останемся вместе. Ее отец, конечно, не нуждается в ее защите, так как даже и эти безумные люди пощадят его, как духовное лицо, как служителя церкви.

Обе барышни мило запротестовали против подобного решения вопроса; они тоже не желали расставаться с доброй бабушкой, как они ласково называли мать своего опекуна. Последний как раз в этот момент вошел в комнату.

— Ну, однако! — заговорил он с самого порога. — Хорошенькое дельце, нечего сказать! .. Пожары, поджоги, антирентизм, попытки убийства и всякого рода ужасы как ни в чем не бывало происходят в самом сердце цивилизованной страны, в одной из самых примерных общин штата Нью-Йорк, а наш закон тем временем мирно спит над этим вулканом и улыбается, точно все эти поступки и происшествия заслуживают полного одобрения. Это уж просто из рук вон, Хегс! .. Однако что же мы будем делать с этими господами, с нашими пленными, Сенекой Ньюкемом и его достойным сподвижником?

— Они виновны в несомненном преступлении и должны быть подвергнуты, как я полагаю, соответствующему наказанию, как и всякий другой преступник на их месте.

— Их участь, мне кажется, не будет особенно ужасной, мой милый Хегс, — вот если бы ты, например, был пойман на месте преступления, занимаясь поджогом в кухне Сенеки Ньюкема, то

уж тебя, конечно, постигла бы за это примерная кара, но они — дело другое! Я готов побиться об заклад, что эти молодцы будут оправданы по суду или же помилованы в силу смягчающих вину обстоятельств.

— Их оправдать нельзя — ведь мадемуазель Уоррен и я, мы оба были свидетелями, как они складывали костер и поджигали наш дом. Доказать это весьма нетрудно.

При этих словах взоры всех присутствующих невольно обратились на Мэри, и ее имя слетело со всех губ разом.

— И в самом деле, Мэри Уоррен одна из всех еще одета так, как была вчера; очевидно, она не ложилась, — сказала бабушка. — Что это значит, Мэри?

Девушка обладала такой правдивостью и чистотой сердечной, что тотчас же без оговорок рассказала все именно так, как было; она не упомянула только имени Оппортюнити, не желая выдавать ее тайны.

Когда Мэри окончила свой рассказ, Пэтти бросилась к ней на шею и стала без удержу целовать ее, а бабушка молча, но с особой нежностью привлекла ее к себе и поцеловала.

— Как видно, — заговорила, наконец, она, — мы своим спасением обязаны на этот раз главным образом нашей милой Мэри! Если бы не ее разумный и осторожный надзор и не ее своевременное предупреждение об опасности, Хегс, быть может, оставался бы там, под кленом на лужайке, до тех пор, пока уж было бы поздно думать о спасении.

— Да, и это еще не все, — воскликнул дядя Ро, восхищенный поведением Мэри. — Ведь всякая другая на ее месте стала бы, пожалуй, кричать: «Горим! Горим!» и преждевременно предупредила бы таким путем мерзавцев о том, что им грозит опасность, а потому, очевидно, что если бы не самообладание и разумное поведение мадемуазель Уоррен, то мы никогда не могли бы достигнуть в этом деле тех результатов, какие получили теперь.

Однако как все это ни прекрасно, но вещи говорят сами за себя, — продолжал дядя после некоторого молчания, очевидно, переходя уж на другую тему, — я все же утверждаю, что этим негодьям не будет никакого наказания. Мне уже случалось слышать по поводу других не менее важных проступков господ антирентистов, что все эти проступки есть не что иное, как доказательство того, что надо изменить законы, которые якобы вынуждают людей на такие проступки. Почему же бы и в данном случае не применить этот остроумный аргумент, который уже раз был применен к убийству, как мне известно? «Арендные условия вынуждают людей совершать убийства, следовательно, их необходимо уничтожить», — гласит эта мудрая истина, а теперь скажут так: «Арендные условия вынуждают людей прибегать к поджогу, — кто же может терпеть такого рода постановления, которые вынуждают людей на такие проступки?» Однако уже поздно и надо позаботиться о подходящем помещении для наших арестантов.

— Смотрите, что это за свет? — вдруг воскликнула Марта. — Ведь дом наш не горит, так кажется?

Действительно, невзирая на то, что ставни везде были заперты и шторы спущены, яркий свет ворвался вдруг в комнату и напугал нас не на шутку.

В этот же момент со двора донесся страшный воинственный крик индейцев, и мы слышали, как все они выбежали на лужайку перед домом и побежали вперед. Я кинулся к боковому крыльцу, распахнул дверь, выскочил на лужайку и увидел, что там, неподалеку на равнине пылает огромная рига, полная доверху прошлогодним прекрасным сеном. Языки пламени взвивались высоко к небу и расстилались по ветру.

Горящее здание находилось на расстоянии полумили от дома, но зарево было громадное. Убыток для меня ограничивался лишь несколькими сотнями долларов, и я вовсе не был этим так огорчен, чтобы не испытывать известного наслаждения, доставляемого зрителю красотой и прелестью этой картины. К тому же дядя сообщил мне, что наш поверенный мистер Деннинг догадался застраховать ее и хранившееся в ней сено довольно выгодно в страховом обществе взаимопомощи города Саратоги, членами которого состояли преимущественно мои арендаторы, вследствие чего убытки, причиненные этим поджогом, более били по карману наших антирентистов, чем меня.

О спасении тут, конечно, нечего было и думать; оставалось быть лишь пассивным зрителем этого поистине прекрасного зрелища. Свет от пожара разливался на громадное пространство, озаряя всю окрестность багрово-красным заревом, причем особенно живописными казались на этом фоне адского пламени фигуры мнимых и подлинных краснокожих, индейцев и индженсов,двигающихся по равнине и разделяемых лишь пламенеющей ригой, препятствовавшей как тем, так и другим видеть друг друга.

Индейцы продвигались вперед со всевозможными предосторожностями, то на четвереньках, то ползком, как дикие кошки, а индженсов было около пятидесяти, не подозревая о надвигавшейся опасности, они кричали, кривлялись, завывали и плясали, всячески выражая свою радость по случаю блестящего успеха, стараясь этим дать понять, кому именно мы обязаны этим пожаром.

Между тем Тысячезычный не принял участия в экспедиции своих друзей, а присоединился к нам, в то время как мы с дядей любовались на пожар с вершины маленького пригорка перед домом.

Я высказал ему некоторое удивление по поводу того, что вижу его здесь.

— Разве ваше присутствие не будет необходимо вождям? — спросил я.

— О, ничуть — спокойно возразил он, — в такого рода делах индейцы вовсе не нуждаются в переводчике; они сумеют и сами объяснить все, что будет нужно. Относительно скальпов я на всякий случай предупредил их, сказав, что в этой стране скальпы не в употреблении, и они обещали мне воздержаться от своей страсти приобретать шевелюры врагов. О, я на их счет теперь совсем покоен.

Тем временем мы не спускали глаз с пожарища и двигавшихся вблизи него фигур. Не знаю, как и почему, но, очевидно, индженсы заметили, наконец, приближение опасного врага, несмотря на принятые последними предосторожности. Вмиг поднялся страшный переполох, и все они обратились в бегство, о котором мы уже имели некоторое представление после сцен предшествовавшего дня.

Таковы были эти люди везде и всюду, где только им случалось сталкиваться с вооруженной силой. Надменные и грубые, когда в их лапы попадался какой-нибудь беспомощный и беззащитный человек, и низкие, подлые трусы и малодушные мерзавцы там, где они наталкивались хоть на маленькую горсть вооруженных и решительных людей.

Как только Каменное Сердце и его товарищи убедились, что эти ряженные негодяи обратились в поголовное бегство и что дело не обойдется без перестрелки, они принялись испускать неистовые крики и вой, выражая свой гнев, досаду и негодование. Эти крики имели, однако, свою выгоду для нас, дав понять нашим врагам, что мы настороже и что захватить нас врасплох довольно трудно; но кроме того, страх перед настоящими индейцами, конечно, отбил у них всякую охоту к новой попытке такого рода в эту ночь, так что все мы теперь были уверены, что остаток ночи можно будет провести спокойно. Эта уверенность передалась и нашим дамам, и вскоре все решили разойтись по своим комнатам и лечь спать.

Индейцы, видя, что им делать положительно нечего, медленно отошли, умело избегая пуль неприятеля и держась за пламенным костром уже догоравшего пожара.

— Ну, теперь вы можете спокойно ложиться спать, — заметил, прощаясь с нами, Тысячезычный, — так же спокойно, как если бы мы были в прериях.

Он, вероятно, и не подозревал, какая злая ирония звучала в его словах: спокойно жить точно в прериях, это он говорил о местности в центре цивилизованного государства, когда в пятидесяти милях отсюда находилась это тяжелая и ни к чему не пригодная махина, называемая правительством, которая оставалась при виде происходивших у нее под носом безобразий, насилий и всякого рода нарушений закона столь спокойной, невозмутимой, самодовольной и блаженной, как будто вся эта взбаламученная страна была сплошным раем земным до грехопадения. Если это наше правительство и занималось чем-нибудь, то, вероятно, только вычислением минимума той суммы, какую арендаторам придется уплатить землевладельцам за их земли, когда эти несчастные, достаточно измученные всякого рода проделками своих благородных сограждан, рады будут, наконец, отказаться от своих земель и всяких других владений.

Я собирался уже идти в свою комнату и лечь в кровать, когда дядя остановил меня, сказав, что перед отходом ко сну следует взглянуть на наших пленных. Согласно ранее сделанному распоряжению их поместили в каменном фруктовом амбаре, не имевшем другого выхода, кроме одной тяжелой дубовой двери, к которой были приставлены двое часовых. Эти последние тотчас же допустили нас в помещение арестантов; при виде нас Сенека Ньюкем вздрогнул всем телом. Признаюсь, и мне самому тяжело было видеть его, но дядя смотрел на это дело гораздо проще и тотчас же обратился к нему.

— Как видно, мистер Ньюкем, дух зла порядком-таки распространил свое тлетворное влияние в стране, если даже человек с вашим образованием принимает столь деятельное участие в таких постыдных делах. Что вам сделал мой племянник? Какое зло причинил он вам, что вы прокрадываетесь ночью в его дом, как вор, как поджигатель?

— Не задавайте мне никаких вопросов, мистер Литтлпедж, — угрюмо и грубо отозвался Сенека, — я все равно не буду отвечать.

— А ты, мерзавец, — обратился дядя к Джошуа Бриггаму, — ты, который уж столько времени ешь хлеб Хегса Литтлпеджа, что сделал он тебе, чтобы ты среди ночи пытался сжечь его живьем в его собственном доме, как червя на листе?

— Он уже достаточно владел своими фермами и землями, пора и беднякам попользоваться ими, — пробурчал в ответ исподлобья Бриггам; в эту минуту он напоминал дикого зверя, посаженного на цепь.

Дядя только пожал плечами и, как бы войдя в свою настоящую роль, приподнял шляпу и с достоинством раскланялся перед Сенеккой Ньюкемом, после чего мы оба вышли из этой импровизированной арестантской, оставив доблестных антирентистов одних.

Конечно, было бы не совсем приятно видеть, как вздернут на виселицу Сенеку Ньюкема, но такого рода пример был, быть может, необходим для того, чтобы вырвать зло с корнем. Утомленный до крайности всем тем, что мне пришлось видеть, слышать и испытать в течение последней ночи, я, наконец, улегся в постель и заснул крепким сном.

В данный момент Равенснест был так же спокоен, как в те блаженные времена, когда еще закон в Америке имел некоторое значение и силу.

Глава XXIV

С полным правом мы можем провозгласить красоты этой дорогой земли, которая нам принадлежит, ее сияющих улыбок, ее золотых плодов и всего ее цветочного мира. С полным правом могут еще нам сказать, что в этот миг, дорогой нам всем, несмотря на все грехи, скрытые в нашей груди, нам здесь приготовлен рай.

Симмс

Следующий день был воскресный, и я проснулся не ранее девяти часов утра; когда я поднял штору и распахнул окно, мне показалось, что никогда еще с небес не смотрел такой ясный, такой радостный день, который бы так прекрасно гармонировал с ровным улыбающимся характером окружающего сельского пейзажа. Я с наслаждением вдыхал нежный утренний аромат трав и сотен цветов, врывающийся в мою комнату вместе с солнечным светом. Правда, тут же у меня на глазах дымились еще остатки моей бывшей риги, живой и мрачный памятник дурного, черного дела рук человеческих, но самые черные мысли, вызвавшие это зло, как будто улеглись и рассеялись. Любуясь этим улыбающимся, приветливым видом полей, лугов и нив, веселых ферм, видневшихся сквозь зелень садов, я почувствовал, как во мне пробуждались все воспоминания и предания, связывавшие меня и мою семью с этими местами, и, сознаюсь, я от души возблагодарил Провидение, сделавшее меня наследником всех этих богатств и земель, а не забросившее меня в число рабов или людей низшего разряда.

Когда я вошел в столовую, вся семья была уже там в полном сборе; все, казалось, были необычайно спокойны и добродушно настроены, но, несмотря на то, завтрак прошел довольно молчаливо. Говорили за столом только дядя Ро и бабушка, предметом их разговора являлся существенный вопрос, как быть дальше с нашими арестантами. На расстоянии многих миль в округности не было ни одного судьи, ни одного должностного лица, которое не было бы приверженцем и сторонником антирентизма и антирентистов; передать Сенеку и его сообщника в руки которого-нибудь из них, значило обеспечить этим негодьям полнейшую безнаказанность, а потому дядя решил в понедельник утром отправить преступников к одному из наиболее известных судей графства, жившему довольно далеко от Равенснеста и славившемуся своим беспристрастием и неподкупностью. Что же касается остальных нарушителей общественного спокойствия, то все они как будто притаились где-то и после вчерашнего своего подвига до поры до времени поутихли, и опасаться новой попытки такого рода с их стороны теперь было нечего.

Мы были еще за столом, когда до нашего слуха донесся звук благовеста в церкви святого Андрея. Церковь эта отстояла не далее одной мили от нашего дома, и барышни предложили отправиться пешком к обедне. Только бабушка с сыном поехали в экипаже, мы же, молодежь, все вместе отправились пешком за полчаса до второго звона, возвещавшего начало богослужения.

— А надо сознаться, — сказал я, — что наша возлюбленная Америка — удивительная страна. Смотрите, как все мирно и спокойно вокруг, как будто никогда не только преступление, но даже дурной замысел не омрачали сердца этих людей, а между тем не дальше, как двенадцать часов тому назад, здесь было возмущение, поджог и, быть может, даже преднамеренное убийство на уме у всех этих сотен людей, живущих вокруг нас.

— Не надо забывать, Хегс, что сегодня у нас воскресенье, — заметила Марта, — а в этой местности народ слишком религиозен, чтобы осквернить воскресный или праздничный день насилием или вооруженными сборищами.

Я поверил этому без труда: такого рода фарисейство и ханжество вообще часто присущи людям, но в этот день оно проявилось в прихожанах церкви Равенснеста особенно ярко. Те же самые люди, которые с таким рвением предавались своим дурным инстинктам, явились в церковь и участвовали в богослужении с тем же усердием и видимым благочестием, как если бы у них на совести решительно ничего не лежало, как будто они были чисты и непорочны, подобно голубям. Однако я заметил, что старые арендаторы относились к нашей семье с особой явной холодностью и посматривали нам вслед недовольным, угрюмым взглядом. Как видно, демагоги возбудили в них дух зависти и корысти, и покуда это тлетворное влияние будет преобладать в стране, до тех пор не было никакой возможности рассчитывать на лучшие и более миролюбивые чувства и отношения с их стороны.

— Ну, вот, — сказал я, подходя уже к церкви, — сейчас я увижу этот балдахин над нашей скамьей, о котором столько говорят. Право, я совершенно забыл о существовании этого безобидного предмета, и только дядя напомнил мне о нем, сообщив, что его друг и советник, мистер Деннинг, усиленно настаивает на том, чтобы его убрали отсюда.

— Я вполне с ним согласна, — с горячностью воскликнула Марта. — Я бы от всей души желала, Хегс, чтобы ты уничтожил этот омерзительный предмет на этой же неделе!

— К чему такая поспешность, дорогая Пэтти?! Ведь этот омерзительный предмет стоял здесь, на этом самом месте, более шестидесяти лет, и я положительно не вижу от этого какого-либо вреда.

— Вред тот, что этот безобразный предмет портит красоту самого здания, а во-вторых, я считаю подобные отличия неприличествующими никому в доме Божием.

— А что вы скажете по этому поводу, мисс Уоррен, — обратился я к ней, — вы лично за или против этого балдахина?

— Против! — решительно ответила она.

— А батюшка ваш какого мнения об этом; случилось ли вам говорить с ним о моей скамье?

Мэри смутилась, сперва немного покраснела, затем вновь побледнела и подняла на меня такой прелестный, ласковый взгляд, что за один этот взгляд я был готов простить ей самое обидное суждение обо мне.

— Отец мой того мнения, что следовало бы уничтожить все отдельные скамьи и места, а следовательно, у него не может быть основания делать какое-нибудь исключение и для вашей скамьи. Действительно, не лучше ли не вносить в Божий храм этой жалкой человеческой, сословной и денежной классификации и различий?

— Это действительно было бы лучше, мисс Уоррен, и я от души был бы рад, если бы этот обычай привился у нас.

— Согласись, Хегс, что все эти отличия непригодны в нашей стране,

— настаивала Пэтти.

— Почему в нашей более, чем в любой другой стране? — возразил я. — Повсюду, в доме Божиим и перед лицом Господа нашего, отличия и привилегии неприличны, с этим я готов согласиться, но в нашей стране стало зарождаться стремление к уничтожению права собственности и непомерная зависть ко всему, что есть у другого и чего нет у завидующих; это замечается даже в сфере нравственной. Как только человек чем-либо выделится из толпы, он тотчас же становится мишенью для всяких издевательств и оскорблений, как если бы он стоял у позорного столба. То же самое происходит теперь и по отношению к моей скамье с ее злополучным балдахином; скамья эта — великая скамья и стала она великой помимо содействия и участия толпы, и потому толпа не может ее выносить.

Барышни расхохотались, моя острота показалась им очень забавной.

— Да, это великая, безобразная вещь, — подхватила Марта. — Но, право, Хегс, ты, кажется, не хочешь верить, как много говорят об этом безобразном, уродливом балдахине в последнее время.

— Напротив, я это отлично знаю, но этот балдахин я решил оставить неприкосновенным на все то время, пока у нас будут существовать антирентисты, если только они не вздумают самовольно уничтожить его ранее. Но как только все наше население вернется на путь благоразумия и легальных честных отношений, я предоставлю нашему повару изрубить это украшение на дрова для кухни.

Тут мы подходили к церковной ограде, а потому разговор наш сам собою прекратился.

Община или приход святого Андрея в Равенснесте был весьма немногочисленный, как и в большинстве случаев приходы епископальных церквей в деревнях и селах Америки, так как на эту церковь пуритане смотрят с недоверием и даже с некоторым презрением. Мрачная религия, привитая насильственно в Англии Кромвелем и его пособниками, не лишенная, конечно, некоторой суровой искренности и правдивости, перенесена была в Америку во всей своей неприкосновенности и привилась здесь более, чем в какой-либо другой стране, и даже до настоящего времени сохранила свой суровый, непримиримый характер и нетерпимость.

Однако мистер Уоррен был весьма популярный проповедник, несмотря на всеобщую нелюбовь к его секте, или, вернее, вероисповеданию, так как самый факт его принадлежности к церкви, которая признавала епископов, являлось уже признаком того, что данная секта потворствует аристократическим началам и сочувствует существованию привилегированных сословий. Но, несмотря на все эти препоны к популярности, мистер Уоррен был уважаем всем окрестным населением; и странное дело — он был особенно уважаем всеми этими яркими антирентистами именно за то, что он один из всех священников округа дерзнул поднять свой голос против всеобщего направления умов, дерзнул восстать и порицать дух корысти, который сторонники этого направления торжественно величали духом основных постановлений нашей республики. Это мужественное и смелое поведение его, конечно, вызвало немало угроз и всякого рода подметных и анонимных писем, этих излюбленных орудий людей низких и подлых трусов, но зато оно придало особую цену его словам и завоевало ему втайне уважение очень многих из числа тех же антирентистов, которых он так смело обвинял, порицал и обличал.

Бабушка и дядя уже сидели на своих местах, когда мы вошли в церковь. Я шел позади всех и вот, впервые в своей жизни, сел на нашу фамильную скамью, под безобразным, аляповатым деревянным балдахином, настоящей карикатурой знаменитого baldachino церкви святого Петра в Риме.

Когда я, после первой молитвы, предписываемой нам церковью при входе в храм, поднял глаза, то заметил, что церковь переполнена народом, несмотря на то, что здание было большое и просторное.

Присмотревшись поближе, я заметил, что большинство присутствующих не принадлежало к числу обычных прихожан церкви святого Андрея; очевидно, любопытство, а быть может, и какая-нибудь более серьезная причина устроили на этот раз количество пришедших.

Как бы то ни было, но только во время церковного богослужения не произошло ни малейшего нарушения благочестия, если не считать кое-каких оплошностей, весьма естественных со стороны людей, принадлежащих к иной секте или религии. Обычное уважение, оказываемое американцами всякой религиозной церемонии, и на этот раз удержало местное население от нарушения порядка и благолепия в храме, несмотря на кипевшее в груди большинства чувство эгоистической зависти и злобы ко мне и всей моей семье. Невзирая на это сильное недоброжелательство, я не подвергся в церкви никакого рода оскорблениям или неприятностям со стороны этих несправедливо ненавидевших меня людей.

Как человека, как личность, меня здесь в Равенснесте совсем не знали, то же можно было сказать и про моего дядю; он прожил большую половину своей жизни в чужих краях, вследствие чего на него здесь смотрели, как на человека, предпочитающего чужие страны своей родине, а это такого рода оскорбление национальной гордости, какое американский народ никогда не прощает.

По этой-то причине дядя Ро был весьма непопулярен в здешних краях. Бабушка же всю свою жизнь от самых юных лет и до глубокой старости прожила в Равенснесте; на нее трудно было взвалить какое-либо обвинение, но все же тут была сделана попытка, и не без успеха.

Нашлись люди, которые вздумали упрекать ее в том, что она питает очень предосудительное, чисто аристократическое пристрастие к своей семье, в ущерб чужим детям. Так, например, Марта и я — мы были только ее внуки, и были и без того щедро награждены судьбою и нашими родителями всякого рода богатствами и житейскими благами, а женщина в таком возрасте, как госпожа Литтлпедж, которая уже стояла одной ногой в могиле, должна бы быть настолько доброй христианкой, чтобы не ставить интересы и выгоды своих внучат выше интересов стольких других детей честных родителей, которые в течение шестидесяти лет платили ренту ее мужу и сыновьям.

Не думаю, чтобы на этот раз возносилось много горячих и усердных молитв Богу во время литургии в церкви святого Андрея: большая половина прихожан, по-видимому, занималась всем чем угодно, только не богослужением, но все те, которые потеряли нить и ход молитвенного порядка, равно как и те, которые вовсе не заглядывали в свои молитвенники, были глубоко убеждены, что оказали вполне достаточное уважение нашей церкви и богослужению тем, что все время не спускали с меня глаз или же неотступно смотрели на мою скамью и осенявший ее балдахин. При всем том не подлежало сомнению, что многие из этих людей, выходя из церкви, в своем несправедливом ослеплении в душе благодарили Бога за то, что они были не таковы, как этот молодой Литтлпедж, которого они собирались мучить, оскорблять и обобрать, как разбойники на большой дороге.

По окончании службы я несколько помедлил у дверей храма, чтобы дождаться мистера Уоррена и сказать ему несколько слов, так как прошлую ночь он провел не у нас в Равенснесте и, вероятно, не знал всех подробностей вчерашних событий.

— Сегодня ваша паства была, кажется, гораздо многочисленнее, чем обыкновенно, — улыбаясь, заметил я, — хотя и далеко не так сосредоточена и внимательна, как бы следовало.

— Всем этим я обязан вашему возвращению, мистер Литтлпедж, да еще событиям предшествующих дней. Была минута, когда я опасался какого-нибудь тайного злого умысла,

вследствие которого и этот святой день, и самый храм Господень могли бы быть осквернены каким-нибудь непристойным поступком. Но тем не менее все в этом смысле обошлось благополучно. Все мы, американцы, питаем известное уважение к делу религии, которое заставляет нас обыкновенно оберегать от всяких подобных действий храмы Божии.

— А разве вы опасались, мистер Уоррен, чего-либо подобного сегодня в церкви святого Андрея?

Мистер Уоррен замялся, слегка покраснел, но затем отвечал.

— Ведь вы, молодой человек, теперь уже достаточно ознакомились с положением дел и настроением умов в этой стране и знаете, как сильно в этих людях возгорелось чувство зависти и ненависти ко всему тому, чего у них самих нет, а между прочим и к тому балдахину, который возвышается над вашей скамьей. Признаюсь, что вначале я опасался за какой-нибудь непристойный акт насильственного уничтожения этого ненавистного предмета.

— Ну, это мы еще посмотрим, — сказал я, — если я соглашусь убрать это безобразное украшение, то только в силу чувства справедливости и разума, но до тех пор, покуда оно будет возбуждать низкое чувство зависти и злобного эгоизма, я ни за что не трону его с места. В таком случае я лучше предпочту, чтобы он простоял там еще другие полстолетия, чем сделать подобную уступку низким инстинктам озлобленной и несправедливой толпы.

Сказав это, я распрощался с мистером Уорреном и поспешил нагнать своих дам, которые уже шли полем по дороге к нашему дому.

Глава XXV

Это настоящая республика; чистая и сильная, мощная демократия, в которой все повинуются тому, кого они сами избрали, дурному или хорошему, и своим законам, которые они называют синими законами; если бы они были красными, они могли бы принадлежать к кодексу Дракона.

Галлек

Выйдя из церкви, я так спешил нагнать барышень, что не смотрел ни направо, ни налево. Быстрым шагом пробежал я расстояние, отделявшее меня от моих спутниц, и в одну минуту очутился подле них.

— Хегс, что значит эта толпа там? — спросила Марта, указывая кончиком своего зонта по направлению большой дороги.

— Толпа? Я никакой толпы не видел! А, и в самом деле, это похоже на толпу или, вернее, на сборище. Право, можно подумать, что там устраивается собрание, да так и есть! Смотрите, вон

это, очевидно, председатель, что уселся на изгородь, а этот, с бумагой в руках, конечно, секретарь, как видите, все это с соблюдением всех правил, совсем по-американски.

— А вон этот размахивает руками, поднимает их к небесам и ораторствует, очевидно, с большой силой убеждения.

Мы на минуту приостановились, чтобы посмотреть, что там делается; погода была дивная, мягкая, теплая; мы медленно прогуливались по полю и прошли уже почти полпути до дома, и тут, обернувшись назад, заметили, что толпа уже успела разойтись, а трое спешили нагнать нас, так как торопливо шагали по тропинке, ведущей к нашему дому. Видя это, я решил остановиться и подождать их.

— Так как люди эти, видно, стараются догнать меня, то прошу вас, mesdemoiselles, идти домой и не ждать меня, а я покуда переговорю с ними.

— Действительно, — возразила Пэтти, — так как, вероятно, эти люди не скажут тебе ничего такого, что бы для нас приятно было слышать, то лучше нам идти своей дорогой, а ты нас скоро догонишь, Хегс, не так ли? Не забудь, что мы по воскресеньям обедаем в два часа, потому что вечерняя служба в церкви начинается в четыре часа.

— Нет, нет, — воскликнула Мэри, — мы не должны оставлять мистера Литтлпеджа одного: эти люди могут причинить ему какой-нибудь вред!

Я был до глубины души тронут этим заботливым участием с ее стороны.

— Да, но чем можем мы быть ему полезны, дорогая, — возразила Пэтти, — даже и в том случае, если ему грозит какая-нибудь беда? Не лучше ли нам поскорее добежать до дому и прислать к нему кого-нибудь на помощь, чем стоять подле него без всякой пользы?

Воспользовавшись этой счастливой мыслью Марты, барышни Кольдбрук и Марстон, которые и без того немного опередили нас, пустились чуть ли не бегом бежать к дому, вероятно, затем, чтобы привести в исполнение намерение моей сестры. Но Мэри Уоррен стояла на своем.

— Нет, Пэтти, — продолжала она, — конечно, мы ничем не можем помочь мистеру Литтлпеджу в случае, если эти люди вздумают прибегнуть к насилию, но мне кажется, что насилия в данном случае нечего опасаться; но эти низкие люди так мало уважают истину, что если их оставить троих против одного, то они могут впоследствии исказить в передаче его слова и их значение; оставшись же при нем, мы можем быть свидетелями того, что услышим и увидим.

Я был поражен удивительной осторожностью и предусмотрительностью этой молодой девушки, и Пэтти, очевидно, согласившись с ее доводами, подошла и встала рядом со своей приятельницей. В этот момент трое мужчин подошли к нам; двоих из них я знал очень мало, то были мои арендаторы Бенс и Моуатт и оба они были из числа самых ярых антирентистов; третьего я совсем не знал: он, очевидно, был пришелец в этих краях, какой-нибудь странствующий демагог. Все трое подошли ко мне с чрезвычайно торжественным и важным видом, и Бенс заговорил:

— Мистер Литтлпедж, сегодня утром у нас состоялось собрание, на котором были приняты и утверждены некоторые постановления; на нас возложено поручение вручить вам копию с этих постановлений, и раз мы это исполним, то миссия наша будет окончена.

— А кто вам сказал, что я приму эту вашу бумагу?

— Я полагаю, что в свободной стране человек, кто бы он ни был, не может отказаться принять ряд постановлений, принятых и утвержденных на собрание его согражданами.

— Это зависит от обстоятельств, и именно на основании той же свободы в нашей стране предоставляется человеку право сказать, что он знать не желает ваших постановлений точно так же, как вам предоставляется право их утверждать или же отвергать, смотря по вашему желанию.

— Но ведь вы еще не видали этих постановлений и до тех пор, покуда с ними не ознакомитесь, вы не можете знать, подходят они вам или не подходят.

— Согласен, но дело в том, что я не признаю за первой попавшейся горстью совершенно незнакомых мне людей права навязывать мне какие-то свои постановления, не справившись даже о том, желаю ли я их читать или же не желаю.

Такого рода ответ, очевидно, сильно поразил посланных; мысль, что один какой-нибудь человек осмеливался оспаривать право сотни людей делать ему свои предписания, казалось, была для них чем-то таким необычайным и непостижимым, что они положительно опешили от такой смелости.

— Должен ли я в таком случае заключить, что вы отказываетесь принять и прочесть постановления народного собрания, мистер Литтлпедж?

— Да, и не только одного собрания, но и целой полдюжины таких собраний взятых вместе, в том случае, когда эти постановления оскорбительны и вручаются мне оскорбительным манером.

— Что касается собственно постановлений, то вы не можете о них судить, не видя их, а что касается права собравшихся людей постановлять и решать большинством голосов, какие им заблагорассудится постановления, то я уверен, что этого вы оспаривать не можете.

— Напротив, и это право еще подлежит сомнению; но даже признав его неоспоримым, оно все же не уполномачивало еще вас навязывать мне эти решения.

— Итак, я должен буду сказать народу, что вы отказываетесь даже читать его постановления, мистер Литтлпедж?

— Вы ему скажете все, что вам будет угодно. Я признаю народ только в законном смысле этого слова, но горсть собравшихся людей, связанных между собой духом интриги и несправедливостью, ложью и корыстью, я не признаю за народ, и он не внушает мне ни уважения, ни страха, и как я на него смотрю с презрением, так точно буду относиться к нему с презрением всюду, где ни встречу его на моем пути.

— Значит, я должен передать народу Равенснеста, милостивый государь, что вы смотрите на него с презрением?

— Я не уполномачиваю вас ничего передавать кому бы то ни было, я даже и не знаю, уполномочил ли вас народ Равенснеста явиться ко мне с вашей миссией, как вы утверждаете. Но если вы явились сюда и хотите почтительно просить у меня, как просят милости, а не требовать, как чего-то должного, чтобы я прочел содержание вашей бумаги, то я соглашусь выслушать вашу просьбу, в противном же случае более я не хочу слушать ничего.

Посланные отступили на несколько шагов в сторону и некоторое время совещались между собой.

— Мистер Хегс Роджер Литтлпедж младший, — торжественным голосом произнес Бенс, — я теперь прошу вас наипочтительнейшим образом ответить мне, согласны ли вы принять от нас эту бумагу? В ней заключаются некоторые постановления, принятые и утвержденные с большим единодушием населением Равенснеста и не лишённые некоторого интереса для вас. Мне поручено спросить у вас, желаете ли вы принять вот эту копию, в которой изложены все вышеупомянутые постановления?

Я прервал поток его красноречия, приняв из рук его бумагу, и в этот момент мне показалось, что все три представителя народа были этим скорее опечалены, чем удовлетворены. Да, если бы теперь они решились попросить у меня обратно этот документ, то я, конечно, не возвратил бы его им. Я понял, что эти господа были бы очень рады случаю кричать на всю округу, что молодой Литтлпедж смотрит на свой народ с презрением и даже отказывается принимать его решения и постановления.

Итак, сложив бумагу, я опустил ее в карман с видом полнейшего равнодушия и раскланялся с представителями народа, сказав им:

— Ну, и прекрасно, господа, бумагу эту я от вас принял и если найду, что постановления вашего собрания заслуживают, чтобы на них обратили внимание, то сумею поступить как должно. Народные сборища в воскресные и праздничные дни нечто столь необыкновенное и не принятое у нас, в Америке, что, вероятно, предмет, вызвавший этот митинг, имеет для местных жителей особо важное значение.

Посланные казались весьма растерянными и сконфуженными; молча откланявшись, они в свою очередь удалились.

Признаюсь, что содержание этих постановлений в сильнейшей степени возбуждало мое любопытство, но достоинство мое требовало от меня некоторой выдержки. Однако как только я с моими милыми спутницами достиг того места, где тропинка пролегла по густой чаще высокого кустарника, то вытащил из кармана бумагу и, развернув ее, сказал:

— Теперь вы можете взглянуть на эту бумагу и тотчас же убедитесь, каким путем у нашего народа является инициатива его постановлений, — сказал я. — Взгляните, весь этот документ, от первой строки до последней, он писан ровным, спокойным почерком и уж, конечно, не набросан со слов во время прений, посреди большой дороги, как нас стараются уверить. Вот несомненное доказательство того, что все эти решения и постановления подносятся народу уже заранее изготовленными; ему, как и другим земным владыкам, стараются облегчить даже и самый труд самолично мыслить и излагать свои мысли, предлагая ему лишь санкционировать заранее составленные решения своим соизволением или одобрением.

Я стал читать постановления народного собрания вслух. Вот его текст:

«На собрании граждан Равенснеста, непредвиденно состоявшемся сего двадцать девятого июня тысяча восемьсот сорок пятого года посреди большой дороги села, тотчас же после священного богослужения в епископальном молитвенном доме святого Андрея, Онисифор Гейден был избран председателем, а Пюлуски Тодд секретарем собрания. После красноречивого изложения цели вышеупомянутого народного митинга и кое-каких дельных и справедливых замечаний и рассуждений об аристократах и аристократизме, о правах человека и правах народа, Демосфеном Хьюветтом и Джоном Смитом были единогласно высказаны и утверждены следующие постановления, служащие наглядным выражением чувств народа.

Признано, что, по нашему убеждению, сиденье, годное для них полезно для свободного народа и есть неоспоримое право каждого свободного человека и гражданина, и является одной из наиболее ценных привилегий нашей личной и общей свободы, унаследованной нами от отцов наших, сражавшихся и проливавших кровь свою за святое дело свободы и полной независимости и купивших ценою своей крови свободные законы и народное правление.

Признано, что так как все люди равны перед лицом закона, то они также должны быть равны и перед лицом Бога.

Признано, что, по нашему убеждению, сиденье, годное для одного человека, должно быть в той же мере годно и для другого, и, не признавая никаких различий каст или расы, мы утверждаем, что церковные скамьи должны создаваться на основании тех же принципов, что и законы нашей страны.

Признано, что гербы и балдахины, отличия монархов совершенно чужды духу республиканской страны, а тем более республиканским молельным домам.

Признано, что, воздвигнув балдахин с гербом в молельном доме святого Андрея в Равенснесте, генерал Корнелиус Литтлпедж соображался с духом минувшего времени, а не с духом настоящего века, и на сохранение этого балдахина мы теперь смотрим, как на аристократическое чванство и претензию на какое-то превосходство над другими прихожанами, отнюдь не согласующееся с духом нашего правления и принципами равенства и свободы и потому являющееся соблазном и опасным примером для других.

Признано, что когда владельцы риг пожелают их почему-либо уничтожить, то наше мнение таково, что для этого существуют менее тревожные для соседей средства, чем поджог, дающий затем повод к тысячам разных ложных слухов и обвинений, нарушающих общественное спокойствие.

Постановлено сделать копию с этих постановлений и вручить ее некоему Хегсу Роджеру Литтлпеджу, гражданину Равенснеста, в округе Вашингтон, и уполномочить Питера Бенса, Джона Моуатта и Езекию Протта для вручения этой копии вышеупомянутому Хегсу Роджеру Литтлпеджу».

Далее следовали подписи: председателя Онисифора Гейдена и секретаря Пюлуские Тодда.

— Что означает это последнее постановление, мистер Литтлпедж? — с тревогой в голосе спросила Мэри Уоррен.

— Без всякого сомнения, это намек на то, будто я сам вчера поджег ту ригу. Но, в сущности, это чистые пустяки! Не изловили ли мы вчера Сенеку Ньюкема и его соучастника на месте преступления при поджоге нашего дома?

— Ах, мистер Литтлпедж, не будьте так доверчивы, — с видимой озабоченностью и тревогой сказала Мэри, — вся эта история, быть может, нарочно вымышлена ими для того, чтобы возбудить недоверие к вашим словам и обвинениям на двух уличенных вами поджигателей. Не забудьте, насколько все будет зависеть от ваших собственных показаний.

— Но ведь и вы, мисс Уоррен, можете подтвердить все мои показания, и я уверен, что ни один судья не может не поверить тому, что говорите вы. Но вот мы уже подходим к дому: не будем более говорить обо всем этом, чтобы не расстраивать бедную бабушку.

У нас в доме все было спокойно, от краснокожих также не было никаких известий. Хотя для них воскресный день являлся таким же днем, как и все остальные дни недели, но из уважения к нашим обычаям и привычкам они в нашем присутствии до некоторой степени старались соблюдать этот день. Некоторые ученые исследователи и писатели уверяли, будто туземные племена Северной Америки представляют собою разбредшиеся племена Израиля, но мне кажется, что народ, живший так обособленно и вне всякого постороннего влияния чужеземцев, непременно сохранил бы какие-нибудь предания о субботнем дне еврейства.

— У подъезда нас встретил Джон и объявил, что и внутри, и снаружи все покойно.

— Хватит с них и вчерашнего, — заметил он, — вероятно, они теперь успели убедиться, что лучше разводить огонь у себя под плитой, чем зажигать костры под лестницей по чужим кухням. Я

никогда не думал, что американцы скорее ирландцы, чем англичане, но теперь я вижу, что они со дня на день все более и более начинают походить на диких ирландцев. Кто бы поверил, что в ваш дом в глухую полночь ворвутся, как разбойники, ваши же мирные соседи, точно ньюгетские *pote* 9 вороны? И этот мистер Ньюкем, он еще адвокат, юрист, человек с образованием, и сколько раз он обедал здесь в этом доме, как гость, я сам ему не раз подавал и суп, и рыбное блюдо, и вино, как настоящему джентльмену, и его сестре тоже, и вот оба они врываются среди ночи, как воры и разбойники, в этот дом и стараются его поджечь.

— Относительно мадемуазель Оппортюнити вы не справедливы, Джон, она к этому делу непричастна.

— Ну, тут уж ничего не разберешь, кто прав, кто виноват, а только вон она и сама, легка на помине.

— Кто? Мадемуазель Оппортюнити?

— Да, она самая!

Джон был прав. Оппортюнити Ньюкем стояла в кустах на том самом месте, где она вчера в ночь скрылась с моих глаз. Предупредив Джона, чтобы он никому ни о чем не говорил, я быстрыми шагами направился к тому месту, где, как я был уверен, меня ожидали. Не прошло нескольких минут, как я уже был там, но Оппортюнити нигде не было видно. Одну минуту искра недоверия мелькнула в моем мозгу, однако это впечатление скоро исчезло: в кустах в самой густой чаще сидела на простой деревянной скамье Оппортюнити Ньюкем. Она тихонько окликнула меня по имени, и я моментально очутился около нее.

— О, мистер Хегс, что я сделала! — воскликнула она, заглядывая мне в лицо с такой тревогой, граничащей с отчаянием, какой еще я никогда не видал на ее лице. — Мой бедный брат, мой бедный Сен!

— Так вам уже известно все, что произошло вчера? — спросил я.

— Да, я все знаю! Но поверьте мне, Хегс, я никак не предполагала, что мой брат Сен может быть столь безумен, чтобы решиться лично участвовать в подобном деле. Правда, я бы скорее согласилась вырвать себе язык, чем вовлечь своего родного брата в такую гибельную историю. Нет, нет, Хегс, не думайте, что я могла решиться предать своего брата! .. Что же теперь могу сказать я матери, когда вернусь отсюда? Хегс, вы вернете брату свободу, не правда ли?

Я призадумался; в этот момент впервые я сознал вполне всю затруднительность моего положения; однако мне было весьма не по душе отпустить безнаказанно Сенеку после всего того, что произошло.

— Все эти события, вероятно, вскоре станут известны всему городу,

— возразил я.

— Ну, да, конечно, да обо всем этом уж и теперь там знают. Здесь новости быстро распространяются.

— Но в таком случае ваш брат все равно не может более оставаться здесь после того, что случилось.

— Ах, Боже, как вы рассуждаете, Хегс! Раз суд и закон оставят его в покое, то кому до этого есть дело? В эти времена антирентизма никто не придает пожару или поджогу более значения, чем любому простительному пустячному греху.

— Да, но ведь закон, — возразил я, — не может быть так же покладист и снисходителен в этом отношении, как людское мнение; он не потерпит, чтобы поджигатели оставались безнаказанными, и ваш брат, вероятно, будет принужден покинуть этот край.

— Что за беда! Сколько людей на наших же глазах отправлялись и вскоре возвращались назад! Я ничуть не боюсь, что Сенекке может грозить петля — теперь уже не то время! Но для всякой семьи позорно видеть одного из своих членов заключенным в государственную тюрьму.

В сущности, я был совсем не прочь помочь горю бедной Оппортюнити, так как для нее было бы действительно ужасно считать себя виновницей приговора и осуждения ее брата. Правда и то, что нынче какой-нибудь мерзавец или негодяй ничуть не рисковал быть повешенным. Если бы на его месте был землевладелец, то, конечно, раз он был бы пойман на месте преступления и уличен в поджоге на кухне своего арендатора, тогда дело бы обстояло иначе: в государстве, вероятно, хватило бы веревок для его казни; но поймать на том же самом преступлении арендатора — дело совсем иное!

В конце концов, от нашего свидания с Оппортюнити Ньюкем получились следующего рода результаты:

Во-первых, я, несмотря на многочисленные выражения нежности со стороны Оппортюнити по моему адресу, сохранил свое сердце в том самом виде, в каком оно было и до этого свидания, хотя я и не смею утверждать, что оно было совершенно свободно. Во-вторых, молодая особа рассталась со мной вполне обнадеженная относительно дальнейшей участи своего брата, хотя я положительно ничего ей не обещал, а в-третьих, я пригласил ее навестить к нам явно сегодня вечером в качестве гостыи. Одним словом, мы расстались с ней лучшими друзьями, сохранив каждый в глубине души те же чувства и отношения друг к другу, какие между нами были раньше — по крайней мере я могу сказать это относительно себя.

Глава XXVI

Если человек принимает право собственности, он должен принять и его последствия, то есть социальное отличие. Без права собственности цивилизация едва ли может существовать. В то время как самый большой социальный прогресс есть результат этих социальных различий, против которых восстают столько людей. Великая политическая проблема, подлежащая решению, состоит в том, чтобы узнать, могут ли социальные отличия, неотделимые от цивилизации, в действительности существовать вместе с совершенным политическим равенством. Я утверждаю, что могут.

Свидание мое с Оппортюнити Ньюкем осталось для всех тайной. Остаток дня прошел своим порядком, и, проведя приятно вечер в обществе наших дам, я рано ушел в свою комнату с тем, чтобы лечь пораньше в постель и заснуть после вчерашней бессонной ночи. Перед тем как лечь, у меня произошел с дядей, зашедшим на минуту в мою комнату, следующего рода разговор:

— Знаешь, до чего я додумался, Хегс? — сказал дядя. — Если нам суждено проиграть дело в борьбе с этими негодьями и потерять нашу собственность в силу новейших имеющих народиться законов, то пусть себе! У меня есть порядочный капитал в одном из европейских банков, и на эти деньги мы сумеем всегда прожить даже и в том случае, если допустить самый худший исход.

— Как странно слышать, когда американец говорит о том, что он будет искать спасения и убежища в одной из стран Старого Света!

— Да, раньше это было странно, но если дела пойдут и дальше тем же порядком, то это придется часто слышать. До сих пор богачи Старого Света имели привычку откладывать копейку на черный день, вкладывая ее в какие-нибудь американские банки или акции, а вскоре настанет время, если только все вновь не изменится в нашей стране, когда американцы будут спасать свои крохи в Европе и таким образом отплатят европейцам тою же монетой.

Сказав еще несколько слов на ту же тему, мы пожелали друг другу покойной ночи, и я не помню, чтобы когда-либо спал так крепко и так хорошо.

На следующее утро меня разбудил Джон. Открыв в моей комнате ставни, он подошел и стал у моей кровати, как бы выжидая момента, чтобы сообщить мне какую-то новость.

— Ну, мистер Хегс, клянусь честью, я положительно не знаю, что теперь еще будет в Равенснесте! .. Поверите ли вы, — продолжал он после непродолжительного молчания, — поверите ли вы, что здешний народ вчера ночью совершил ужаснейшее преступление, ну просто, так сказать, отцеубийство!

— Я этому не удивляюсь, так как мне кажется, что они уже давно готовятся и каждую минуту готовы совершить ужаснейшее матереубийство, если назвать матерью нашу дорогую родину.

— Страшно подумать, что весь здешний народ мог совершить такое чудовищное преступление, как отцеубийство! И вот это-то самое я и хотел сообщить вам, мистер Хегс.

— Я вам очень благодарен за это, Джон; скажите же, в чем же дело?

— Да что скрывать, они ведь с ним покончили!

— С кем это? Скажите, Джон, я хочу знать!

— Да с балдахиним-то, с тем самым балдахиним, что красовался над вашей скамьей, с этим прекраснейшим во всей стране предметом, гордостью и красою нашей церкви!

— А, так они его все-таки уничтожили? — воскликнул я.

— Да, мистер Хегс, они сделали это страшное дело, эти мерзавцы, да мало того, они снесли его и положили на крышу свинарника Миллера.

Действительно, жаль было бедного балдахина, но при всем том я не мог удержаться от смеха при виде драматического огорчения Джона и его сетований об этом балдахине, а также и о комичной выдумке господ антирентистов. Это мое безучастное отношение к тому, что Джон считал величайшим по своему значению событием, так огорчило бедного старика, что он предоставил мне самому доканчивать свой туалет, а сам с обиженным видом вышел из комнаты. Я полагаю, что очень многие из обитателей Равенснеста не менее его были бы поражены тем индифферентизмом, с каким я отнесся к участи этого аристократического украшения, этой

эмблемы моей знатности, которой, по их мнению, должен был так гордиться. Спустившись вниз, я застал всех четырех барышень под портиком; они наслаждались прекрасным утренним воздухом. Им уже была известна участь балдахина. Генриетта Кольдбрук неудержимо хохотала по поводу этой истории, что мне вовсе не нравилось. Манера Анны Марстон в этом отношении мне казалась более приличной, но Мэри держала себя по обыкновению очень тактично — она не выказала ни легкомыслия, ни неуместного огорчения или сокрушения.

Я пробыл всего несколько минут в приятном обществе барышень, когда к нам присоединилась и бабушка.

— Ах, бабушка, милая бабушка, знаете ли вы, что эти негодяи индженсы натворили с нашим торжественным балдахином? — воскликнула Пэтти. — Ведь они вынесли его из церкви и поместили на крыше нашего свинарника!

И она рассмеялась совсем по-детски.

— Я знаю все это, — сказала бабушка, — и думаю, что в конце концов оно так и лучше. Хегс не мог приказывать убрать его в силу угрозы, а между тем действительно лучше, когда этого балдахина не будет. Однако, друзья мои, пора подумать и о завтраке; я вижу, что Джон уже несколько секунд стоит у дверей и, раскланиваясь, просит нас к столу.

Мы все отправились в столовую и, несмотря на всех поджигателей антирентистов и гибель балдахина, очень весело и приятно позавтракали. Генриетта Кольдбрук и Анна Марстон никогда еще не были так остроумны и находчивы, как в этот день; я даже был немало удивлен живой остротой их разговора; дядя заметил это и торжествовал.

— А слышали вы, мамаша, что сегодня у нас должен быть наш почетный гость Суз и старый негр в своих торжественных костюмах? Как видно, наши краснокожие гости собираются в путь и потому у них должно сегодня состояться большое совещание. Бесследный решил, что приличнее будет устроить это совещание здесь, перед нашим домом, чем перед его хижиной.

— А как же ты узнал об этом, Роджер?

— Я был сегодня утром у Сускезуса и узнал об этом от самого онондаго и переводчика, которого я застал в вигваме. Да, кстати, нам надо решить, как поступить с нашими пленными.

— Правда ли, дядя Ро, — так называли дядю и его питомицы, — правда ли, что можно спасти преступника от каторги, выйдя за него замуж? — совершенно серьезно спросила Генриетта Кольдбрук.

— Что может означать такой вопрос? Я, как опекун ваш, желал бы знать смысл этого вопроса.

— Скажите, скажите ради Бога, Генриетта! — воскликнула Анна Марстон. — Или нет, уж лучше я скажу за вас, если позволите, чтобы вас не конфузить. Дело в том, что мадемуазель Кольдбрук несколько часов назад получила письмо от мистера Сенеки Ньюкема, и так как это дело семейное, то я полагаю, что оно должно быть подвергнуто семейному совету.

— Ах, Анна! — воскликнула Генриетта, краснея. — Я, право, не знаю, прилично ли будет прочитать вслух это письмо.

— Но, быть может, вы разрешите мне прочитать его? — осведомился дядя.

— О, конечно, конечно, — отозвалась она, — и бабушка тоже; я только полагаю, что для других это не может быть особенно интересно. Вот оно, дядя, возьмите и прочтите его, когда вам вздумается.

Дядя принялся тотчас же за чтение письма. Во время чтения все мы могли видеть, как он то хмурился, то досадливо закусывал губу, то злобно улыбался и, наконец, громко рассмеялся. Любопытство наше было так сильно задето, что бабушка сочла нужным сжалиться над нами.

— А разве это письмо не может быть прочтено вслух? — спросила она.

— Нет никакой причины скрывать содержание этого послания от кого бы то ни было, — отозвался дядя Ро, — чем больше оно станет известно, тем больше мы все будем вправе смеяться над этим негодяем, который в сущности ничего лучшего и не заслуживает.

Тогда бабушка взяла письмо и прочла его вслух. Я не стану входить в подробности и передавать точный текст письма Сенеки, носившего какой-то деловой характер, несмотря на страстное признание в любви к мадемуазель Кольдбрук, и оканчивающегося великодушным предложением руки и сердца богатой наследнице, располагавшей восьмью тысячами долларов годового дохода.

После того как все вдоволь посмеялись над этим лестным предложением, дядя добавил:

— Да, я вижу, что среди нас, мужчин, есть люди, не имеющие ни малейшего понятия о том, что такое приличие, и этот шут мог подумать, что девушка из хорошей семьи, с прекрасным состоянием согласится соединить свою судьбу с таким господином, как он.

Дядя был, по-видимому, сильно огорчен этим; мне редко случалось видеть его таким взволнованным и огорченным.

— Право, его надо повесить, этого парня, Хегс! Если он проживет и тысячу лет, то все же не научится вести себя прилично.

— Вы, вероятно, отвечали на это письмо, милая моя? — спросила бабушка. — Отвечать было необходимо, хотя, я думаю, лучше было бы, если бы за вас ответил ваш опекун.

— Я ответила сама, не желая давать повода смеяться над этим письмом! Конечно, я отклонила честь этого предложения.

— Ну, уж ежели говорить правду, — по обыкновению весело и шаловливо воскликнула Пэтти, — то я сделала то же самое три недели тому назад.

— А я на прошлой неделе, — добавила Анна Марстон.

Все весело смеялись, кроме дяди.

— Повесить надо этого мерзавца, и больше ничего! — пробормотал он.

— Обдумав хорошенько, ты, вероятно, изменишь свое мнение и не будешь так сердиться на него, Роджер; как бы то ни было, а этот человек проявил благородную отвагу в данном случае. Однако мне любопытно было бы знать, избежала ли мисс Уоррен, одна из всех, такого рода предложения со стороны мистера Ньюкема? — сказала бабушка.

Прелестная Мэри сильно покраснела, покачала головкой, но не сказала ничего. Очевидно, чувства Сенеки по отношению к ней носили более серьезный характер, чем эти письменные излияния другим барышням.

— Мне кажется, этому не следует придавать такого большого значения, — робко заметила, немного спустя, Мэри и как бы застыдилась своих слов.

— Надо непременно поступить с ним по закону, пусть они его повесят, этого негодяя! — повторил еще раз дядя. — Такие господа все в мире ставят кверху дном.

— Будь он ирландец, он не сделал бы исключения и для моей бабушки, дядя! — заметил я.

— Да, черт возьми, это правда! Вы счастливо избежали этой участи, мамаша, а между тем вы обладаете прекраснейшим именем во всем округе.

— Вся сила в том, что этот господин не ирландец, как правильно заметил Хегс, — сказала бабушка, — других причин я не вижу. Но человек, столь преданный дамам, конечно, заслуживает некоторого снисхождения. Право, следует отпустить его на волю, Роджер.

Все барышни присоединились к мнению бабушки и робко просили о помиловании Сенеки.

— Наши краснокожие что-то заволновались, сударыня, — почтительно доложил Джон, появляясь в дверях, — я полагал, что господа пожелают видеть, что там у них происходит; Сускезус уже идет в сопровождении Джепа, который следует за ним, ворча себе что-то под нос; как видно, ему не совсем по вкусу эта церемония.

— Распорядился ли ты, Роджер, приготовить все к приему наших краснокожих гостей?

— Да, все сделано: я уже приказал расставить под деревьями скамьи и припасти побольше табаку. Ведь у них табак играет огромную роль в совете. Все ли готово, Джон?

— Да, мистер Литтлпедж, там уже все готово, — отозвался Джон. — Служащие надеются, сударыня, что вы разрешите им также присутствовать при совещании краснокожих; ведь людям образованным так редко может представиться случай повидать настоящих краснокожих.

Бабушка дала свое разрешение, и все в доме засуетились, заторопились, спеша на лужайку, чтобы присутствовать при последнем свидании Бесследного с его единоплеменниками.

— Вы были очень великодушны, мисс Уоррен, — сказал я вполголоса Мэри, подавая ей шаль, — что не выдали того, что я считаю важнейшей тайной Сенеки.

— Признаюсь, эти письма весьма удивили меня, — задумчиво отозвалась она. — Никто, конечно, не склонен иметь о мистере Ньюкеме особенно лестное для него мнение; но зачем же дополнять его характеристику, представляя его в таком отвратительном виде?

Я не сказал на это ничего, но из этих немногих слов заключил, что Сенека серьезно пытался овладеть расположением Мэри и, несмотря на ее безусловную бедность, ставил ее выше всех остальных.

Глава XXVII

И под этой спокойной, как летний сон, физиономией, под этими неподвижными губами, мирными щеками дремлет ураган движений сердца: любовь, ненависть, гордость, надежда, боль, — все, кроме страха.

Старый индеец и его сожитель, такой же старый негр, были друзьями, несмотря на то, что между ними не было почти ничего общего. Индеец обладал всеми достоинствами гордого, мужественного племени, неустрашимого воина и мудрого вождя, словом, человека, никогда не бывавшего подначальным и не знавшего над собою никакой посторонней власти, тогда как негр отличался, естественно, многими недостатками, которые неизбежно влечет за собою рабство — печальное последствие принадлежности расы. Но оба эти старца были, безусловно, трезвы — качество весьма редкое среди индейцев, побывавших между белыми, но еще гораздо более редкое среди негров.

Но ведь Сускезус родился среди благородного племени онондагов, славившихся своей воздержанностью, и в течение всей своей долгой жизни он ни разу даже не захотел отведать крепкого напитка. Джеп также в рот не брал ничего хмельного, хотя, как и всякий негр, имел большое пристрастие к сидру.

Не подлежало сомнению, что эти остатки древних времен и прежних поколений, уже почти забытых, были обязаны своим долголетием, своею силой и здоровьем именно этой умеренности в привычках, в связи с их сильной натурой.

Сускезус не работал никогда и никогда не хотел работать. По его мнению, всякая работа была недостойным занятием для настоящего воина, и разве только самая крайняя нужда могла принудить его взяться за работу. До той поры, покуда лес, не имевший конца и края, изобиловал лосем, ланью, медведем и всяким другим зверьем и дичью, он не нуждался ни в каких продуктах земли, кроме тех, которые она сама производила на пользу человека.

Джеп, напротив, привыкнув с раннего детства к работе, не мог отстать от этой привычки даже и в глубокой старости: он положительно не выпускал из рук лопаты, заступа или кирки, хотя, конечно, в результате всей его работы не получалось ничего или почти ничего. При всем том он работал вовсе не для того, чтобы рассеять или отогнать докучливые мысли: ни засеивать, ни разгонять ему было положительно нечего, мысли вообще никогда не беспокоили его; нет, он работал просто по привычке, из желания оставаться все тем же Джепом, каким он был раньше, и продолжать все тот же образ жизни.

Ни тот, ни другой из этих старцев не просветились светом христианского учения, несмотря на столь долгое пребывание в нашей среде. Трудность, граничащая с невозможностью, произвести в этом отношении какое-нибудь воздействие на краснокожих, стала почти традиционной истиной. Индейцы совершенно не поддаются ни в чем, — а менее всего в деле верований, — влиянию других народов, потому что в душа они считают себя расою высшей сравнительно со всеми остальными и не считают нужным нисходить до их уровня.

Может быть, христианские миссионеры добились бы лучших результатов, если бы решились посетить краснокожих в глуши их лесов, в родных деревнях, вдали от бледнолицего населения наших городов и сел, и там проповедовали бы им учение Христа; тогда они взглянули бы иначе на это святое учение и отнесли бы к нему с большим доверием, не видя в поведении белых христиан постоянного явного противоречия их учению.

Что же касается Джепа, то, быть может, вся беда для него заключалась лишь в том, что он был рабом в семье, принадлежавшей к епископальной церкви, все обряды которой, как известно, отличаются чрезвычайной простотою и лишены всякого рода аллегорических эффектов, вследствие чего они кажутся многим слишком безжизненными и не оставляют сильного впечатления, а этого-то именно и ищут в религии все неразвитые и некультурные люди. Этим

людям нужны тяжелые вздохи, вопли и стенания, шумные и блестящие процессии, эффектные обряды, одним словом, как можно больше всяких внешних проявлений, действующих скорее на чувство, чем на разум.

Таковы были эти двое людей, которых мы все шли теперь встречать.

Выйдя на лужайку, мы увидели, что они медленно подходили к портику. Сускезус шел впереди, как то и приличествовало его сану и характеру, а Джеп следовал за ним в некотором отдалении; человек этот, несмотря на свой преклонный возраст и на наше постоянное дружеское обращение с ним, никогда не забывал своего настоящего общественного положения бывшего раба. Он родился рабом и добрую половину жизни своей был рабом и теперь желал и умереть рабом, вопреки закону об освобождении, в силу которого он стал свободным человеком. Мало того, мне говорили, что когда мой покойный отец сообщил ему, что он, равно как и все его потомство, которое, кстати сказать, было очень многочисленно, стали теперь свободными людьми и могут распоряжаться собою по своему усмотрению, то он остался этим очень недоволен. «Что из этого может выйти хорошего? — ворчливо сказал он. — Почему не оставить меня в покое? Негр останется негром, а белый человек всегда будет белым человеком, так оно и должно быть. Мы всегда были неграми хороших, знатных господ, почему не оставить нас неграми, сколько мы хотим? Кому это мешает? Вон старый Суз всю свою жизнь был вольным человеком, а что это ему принесло, — много ли пользы или выгоды? При всей своей свободе он остался простым, диким индейцем, бедным краснокожим. Вот если бы еще он мог быть индейцем каких-нибудь важных господ — это было бы еще туда-сюда, а то он только свой собственный индеец, как медведь — собственный медведь или орел — свой собственный орел! »

На этот раз и онондаго, и старый негр были в своих самых торжественных нарядах. Сускезус был даже более наряжен, чем на первом приеме своих собратьев. Наряд его, правда, был дикий, но все же как нельзя лучше шел к нему и скрывал его уже столь преклонные лета.

Как и всегда в торжественные дни, красный цвет являлся преобладающим в наряде индейца; краснокожие питают особое пристрастие к этому цвету, который они также преимущественно употребляют и для разрисовки своих лиц.

На этот раз старый вождь постарался с помощью своего грима придать себе по возможности вид грозный, внушающий известный страх, так как он имел в виду явиться перед своими гостями со всеми атрибутами грозного славного воина.

Джеп также не захотел ударить в грязь лицом; он вырядился в тот традиционный костюм негра, который являлся некогда общераспространенным, а затем стал почти легендарным. Род фрака из ярко-алого сукна был украшен двойным рядом перламутровых пуговиц величиною в полдоллара; под ним виднелся яркий зеленый жилет с золотым позументом; на нем были короткие брюки небесно-голубого цвета и полосатые белые с голубым чулки. Однако самую замечательную частью костюма негра являлись его башмаки: они были таких невероятных размеров и в ширину, и в длину, что даже самый опытный натуралист с трудом мог бы поверить, что они принадлежат человеку. Но головной убор являлся главной гордостью старого Джепа: то была треуголка, служившая некогда моему деду, генералу Корнелиусу Литтлпеджу, украшенная золотым шитьем и плюмажем. Эта торжественная шляпа сидела высоко на непомерно кудластых, как руно, и совершенно белых волосах старого негра, точно на снеговой горе.

Так как обитатели далекой прерии еще не успели прийти, то мы все двинулись навстречу двум старикам. Все мы, а в том числе и четыре барышни, дружески протянули руки Сускезусу, приветствуя его. Очевидно, он всех отлично знал и помнил; с бабушкой он здоровался с некоторым сердечным волнением, Марте он дружески кивнул головой, как любимому ребенку, а руку Мэри он некоторое время удержал в своей руке, внимательно вглядываясь в ее лицо.

Остальные барышни, очевидно, не представляли для него никакого интереса, и он только ответил должной вежливостью на их вежливость.

На лужайку вынесли для Сускезуса кресло, в которое он тут же и опустился, между тем как Джеп медленно приблизился к нам, снял шляпу и отказался от стула, который предложили было и ему.

— Как нам приятно видеть вас опять здесь, вас и вашего старого друга Сускезуса на этой нашей лужайке перед старым домом! — сказала бабушка, приветствуя Джепа.

— Не такой старый этот дом, мисс Дуз, — пробормотал негр. — Я помню, его построили недавно.

— Недавно?! Ну, нет, он уже стоит шестьдесят лет; в то время я еще была совсем молоденькой женщиной.

— Да, мисс Дуз, я часто удивляюсь, что такая молодая дама и вдруг так скоро изменились; вы очень сильно изменились, мисс Дуз.

— Ах, Джеп, хотя время и кажется вам столь коротким, а восемьдесят лет — это уж большой возраст для женщины. А вы, друг мой, — обратилась она к Сускезусу, который молчал все время, покуда она разговаривала с Джепом, — вы тоже находите во мне такую же разительную перемену? Ведь вы помните меня чуть ли не с детских лет, когда еще мы жили в лесу у дяди моего, прозванного «Носивший Цепи».

— Почему же Сускезусу забыть свою маленькую касаточку? Песенка ее и теперь еще звенит порою у меня в ушах. Нет, в моих глазах маленькая касаточка не изменилась нисколько.

— Вот это хоть, по крайней мере, любезно, достойно рыцарски вежливого вождя онондагов! — воскликнула бабушка. — Но, добрый мой Сускезус, я сама знаю, что время на все кладет свой отпечаток.

— Сускезус помнит все, — продолжал индеец, преследуя, очевидно, нить своих размышлений. — Он помнит хорошо и Носившего Цепи; то был отважный воин, добрый человек, хороший друг и разумный советник; я знал его еще юным охотником. Он был здесь, когда все это случилось.

— Когда это случилось, Сускезус? — спросила бабушка. — Я так давно желала знать, что заставило вас расстаться со своим народом, который вы так любите и все заветы и обычаи которого вы так свято хранили в течение всего своего пребывания среди нас, бледнолицых. Я все могу понять, но я желала бы узнать от вас и те причины, которые побудили вас оставить свое племя в довольно еще молодые годы и прожить вдали от него более ста лет; мне хотелось бы узнать о них прежде, чем ангел смерти призовет меня.

Пока бабушка впервые в своей жизни расспрашивала об этом старого онондаго, пристальный взор индейца покоился на ней сперва с каким-то удивлением, а затем с невыразимой грустью, и, склонив голову на грудь, он некоторое время хранил молчание, как бы переживая все прошлое. Так прошло несколько минут.

— Носивший Цепи никогда не говорил о том? — спросил он, испытываясь глядя на бабушку. — А старый вождь тоже не говорил? Он знал, э, э!

— Нет, никогда! Я не раз слышала от дяди, а также от моего тестя, что им известна причина, побудившая вас расстаться со своим племенем, и что причина эта делает вам честь, но более я не слыхала от них ни слова.

Сускезус внимательно выслушал ответ бабушки, но лицо его не выдавало ни малейшего волнения, только глаза — живые, подвижные и пронизательные — свидетельствовали о том, что он был чрезвычайно взволнован. Однако он не сделал никакого признания; прошло некоторое

время, прежде чем старый индеец выговорил какое-либо слово. Когда же он вновь заговорил, то первые его слова были:

— Да, Носивший Цепи — разумный вождь, и генерал тоже разумный человек. Знал, когда говорить и что говорить надо.

Не знаю, стала ли бы бабушка продолжать далее свои расспросы на эту тему, но только в этот момент краснокожие, выйдя из своих помещений, подходили уже к лужайке.

Бабушка отступила на несколько шагов, а дядя провел Сускезуса к группе деревьев, под которыми были расставлены скамьи для ожидаемых гостей, я же нес за стариком кресло, чтобы оказать ему наибольший почет. Все, в том числе и прислуга, последовали за нами.

Индеец и негр оба сидели на стульях на некотором расстоянии друг от друга; для всех членов нашей семьи также были вынесены стулья, и мы поместились позади Сускезуса, но немного поодаль, чтобы не стеснять никого своим присутствием.

Краснокожие гости, как всегда, приближались гуськом, то есть по одному человеку, следуя друг за другом в удивительно стройном порядке, ступая в след шедшего впереди. На этот раз им был Тысячезычный, а далее следовали уже Огонь Прерий, Каменное Сердце, Орлиный Полет и другие. К немалому нашему удивлению, эти люди привели с собой и доверенных их надзору пленных, связанных с необычайным искусством, присущим этим диким племенам, так что всякая попытка к бегству становилась совершенно невозможной.

Вся церемония была совершенно та же, что и в первое посещение индейцев. Всеобщее довольно продолжительное молчание и внимательное созерцание хозяина и хозяином своих гостей повторилось и в этот раз. Затем Орлиный Полет, взяв затейливо выточенную из какого-то легкого мягкого камня и уже набитую трубку, зажег ее таким образом, чтобы она не скоро могла потухнуть, и почтительно поднес ее Сускезусу, который, приняв ее, сосредоточенно курил в течение нескольких минут и затем возвратил обратно тому, кто вручил ему эту трубку. То было, очевидно, знаком, по которому должны были быть зажжены и другие трубки. Мне и дяде также предложили по трубке, которые мы возвратили после двух-трех затяжек. Джон и другие слуги мужского пола также не были забыты, а Джепу эту честь оказал сам Огонь Прерий. Негр, приглядевшись к тому, что происходило вокруг него, нашел очень дурным этот обычай, принуждавший человека отдавать обратно трубку почти сейчас же после того, как ее вручили. Он не пытался даже скрывать своих мыслей на этот счет, как это стало ясно тотчас же после того, как ему подали трубку.

Видя, что перед ним стоит человек, готовый принять из его рук трубку, едва он успеет раза три затянуться, он почувствовал в душе то же самое, что он испытал бы при виде того, что у него хотят отнять ото рта кружку с любимым сидром, когда он только едва успел пригубить его.

— Нет надобности стоять тут перед моим носом, — ворчливо и сердито забормотал он, — когда докурю, я отдам вашу трубку, не бойтесь, не утащу; вот мистер Корни, или мистер Мальбон, или же мистер Хегс, не знаю уж, который из них жив, они вам скажут. Да все равно! Я еще хочу курить и не люблю вашей индейской моды выпускать сейчас же из рук то, что мне дали. Негр — есть негр, а индеец — индеец, но негр лучше! Не жди, индеец, когда я докурю, ты получишь свою трубку, как я сказал. Не советую сердить старого Джепа, он тогда бывает страшен.

Огонь Прерии, конечно, не понял и половины слов негра, но он сообразил, что тот желает докурить один всю трубку, и хотя это было против всех правил индейского общежития и нарушило, так сказать, их традиционный обычай, индеец все же вел себя с вежливостью, достойной самого благовоспитанного человека, и отошел от негра так же спокойно, как если бы все шло своим порядком. В подобных случаях чувство приличия у индейцев чрезвычайно развито.

Не было даже никакой возможности заметить на его лице или в его манерах хотя бы малейший намек на то, что он считал поступок негра неприличным. Ни пожимания плечами, ни плохо скрывааемых улыбочек, ни переглядывания или перемигивания, одним словом, ничего из обычных выражений неодобрения или порицания Огонь Прерии не позволил себе; он сохранил все свое хладнокровие и спокойно, с достоинством отошел в сторону и вернулся на свое место. Было ли то результатом индейского самообладания и хладнокровия, или же чистой благовоспитанности, решить трудно.

Между тем курение мало-помалу стало уже занятием всех здесь присутствовавших, но оно носило характер какой-то установленной церемонии; только один Джеб присосался к своей трубке и не выпускал ее изо рта. Его сознание превосходства своей расы над расой краснокожих было столь же непоколебимо, как и сознание своего низшего положения по отношению к белым. Вскоре, однако, все отложили в сторону свои трубки, и на некоторое время среди индейцев господствовало сосредоточенное молчание. Наконец, Огонь Прерии встал со своего места и заговорил:

— Отец наш, мы собираемся вернуться домой. Наши сквау (жены) и наши вигвамы (жилища) в прериях зовут нас обратно. Пора нам уходить отсюда! Там солнце садится, здесь оно восходит. Путь наш долг и труден. До сей минуты странствие наше было мирной прогулкой, мы не сняли ни одного скальпа, не обидели ни одного зверя, ни одного человека, и за это мы имели радость увидеть отца нашего, старого дядю Сэма, и отца нашего Сускезуса, и теперь мы вернемся, счастливые и радостные, в наши прерии, в страну заката. Отец, предания и сказания наши правдивы и никогда не заключают в себе ничего лживого. Лживое предание — хуже лживого индейца. Лживый индеец своим словом обманывает и вводит в заблуждение своих друзей, жену, детей, а лживое предание обманывает целое племя. Наши же предания все правдивы; они говорят о доблестном и праведном онондаго. Хорошо и полезно для человека слушать рассказы о справедливых людях; дурно и вредно слушать рассказы о людях несправедливых. Без справедливости индеец не лучше волка! Отец мой, ты видел много зим, такова была воля Маниту *note 10*. Великий Дух желает сохранить тебя долго на земле, потому что ты подобен кучке камней вдоль дороги, указующей охотнику желанную тропу; все краснокожие, взирая на тебя, думают о добре, доблести, правде и справедливости. И я знаю, Великий Дух не скоро еще отнимет у нас нашего отца и призовет его к себе, чтобы краснокожие люди не забыли, что такое добро.

На этом Огонь Прерии окончил свою вступительную речь, встреченную шепотом одобрения со стороны присутствующих, потому что она выражала их чувства именно так, как они того желали. Сускезус не пропустил ни одного слова из сказанного, но на этот раз он казался мне менее взволнованным и потрясенным, чем при первом своем свидании с единоплеменниками. За этой вступительной речью последовал, по обыкновению, известный промежуток общего сосредоточенного молчания; все мы с нетерпением ожидали, когда заговорит Орлиный Полет, но вместо него встал и выступил вперед гораздо более молодой воин, прозванный Оленья Нога за необычайную быстроту и легкость бега. К немалому нашему удивлению он обратился прямо к старому негру: индейская вежливость требовала того, чтобы что-нибудь было сказано неизменному другу и верному товарищу Бесследного.

Я не стану дословно приводить здесь эту речь, полную всякого рода любезностей и обращенную исключительно к Джепу. Речь заканчивалась следующим образом: — Негр — друг Сускезуса: они прожили вместе, в одном вигваме, столько лет в любви, мире и преданности друг другу, а всякого, кого ценит и любит Сускезус, любят и ценят и индейцы, всякого, кого уважает их старый и доблестный вождь, того чтут и уважают все краснокожие!

Понятно, старый Джеб не понял бы ни одного слова из всей речи молодого вождя, если бы Тысячезычный не предупредил его заранее о том, что она будет обращена исключительно к

нему, а Пэтти, со своей стороны, не внушила ему внимательно прислушиваться к речи и затем постараться сказать что-либо в ответ на нее; поэтому, едва успел молодой оратор кончить свою речь, как Джеп нехотя поднялся и, сердито взглянув на человека, вынуждавшего его говорить, резким и недовольным тоном произнес:

— Полагаю, что негр должен что-нибудь сказать. Но он не индеец и потому не речист. Негр слишком много работает, чтобы много говорить, да и я стар; бедный негр видит, как другие отходят на покой, а я и Суз, мы все живем на свете. Но Суз уже стареет и с каждым днем становится слабее и слабее, я же еще очень силен и становлюсь все сильнее и сильнее с каждым днем. Все должны когда-нибудь умереть, и на моих глазах уже умерли очень многие, даже из моих господ, и мисс Дуз тоже должна будет умереть, хотя она, как видно, вовсе к этому не расположена, да все равно... А вот и эти негодяи инджиенсы идут сюда. На этот раз надо от них окончательно отделаться. Бери свое ружье, мой славный Суз, бери его скорее и не забывай, что подле тебя твой верный старый Джеп!

И, действительно, большой отряд инджиенсов двигался по дороге к нашему дому, но о том, что произошло далее, мы скажем в следующей главе.

Глава XXVIII

Надейся, что твои страдания будут приняты в расчет Великим Духом и будут отомщены, когда тебя не будет. Плачь, что никто не останется наследником твоего имени, твоей славы, твоих страстей и твоего трона.

«Красная одежда»

Сначала нам всем показалось странным, что старый негр прежде всех нас заметил приближение инджиенсов, но затем это обстоятельство объяснилось тем, что все присутствующие сосредоточивали свое внимание на ораторе, тогда как взгляд старого негра блуждал повсюду, ни на чем особенно не останавливаясь. Как бы то ни было, эти инджиенсы, числом около двухсот человек, приближались с каждой минутой. Дядя был того мнения, что оставаться на лужайке было не безопасно, а потому сделал тотчас же распоряжение, чтобы вся женская прислуга под предводительством Джона ушла в дом и заперла все ставни и двери нижнего этажа, загромоздив их чем попало, а также все ворота, калитки и входные двери.

В то же время мы попросили Сускезуса и Джепа перейти вместе с нами под портик, куда в одну минуту были перенесены их кресла и стулья дам. Несколько минут спустя наши старцы опять уже спокойно сидели на своих креслах, тогда как ни один из краснокожих не сдвинулся с места. Все они стояли там, где и были, неподвижные, как статуи; только Каменное Сердце косился на кусты,

расположенные вдоль балки или оврага и представлявшие собою прекрасное место для прикрытия или засады.

— Если вы желаете предложить краснокожим войти в дом, — сказал мне переводчик, — то советую вам обратиться к ним с этим теперь же, так как я не поручусь, что минуту спустя они не рассыпятся во все стороны, как стая спугнутых голубей, и уж тогда, без всякого сомнения, должна будет произойти битва, так как с этими людьми шутить нельзя.

Дядя последовал тотчас же совету Тысячезычного и попросил индейских вождей последовать за Доблестным онондаго, что они тотчас же сделали без всякой торопливости или волнения.

При этом нас особенно удивило то, что ни один из индейцев не обращал ни малейшего внимания на приближающихся врагов, как будто их вовсе не существовало. Мы приписали эту крайнюю сдержанность и самообладание силе их характера и желанию сохранить в присутствии Сускезуса полное достоинство.

Инджиенсы высыпали на лужайку как раз в то время, когда все наши приготовления к их приему были окончены, и Джон явился с докладом, что все окна, входы и двери забаррикадированы и что у ворот собрались все садовники, конюхи и работники, надлежащим образом вооруженные и готовые отстоять вход во внутренний двор, а в помещении, примыкающем к боковому крыльцу было наготове необходимое оружие и для всех нас.

Дамы наши поместились на стульях у самых входных дверей главного крыльца, чтобы иметь возможность во всякое время немедленно укрыться в доме; впереди них сидели на своих креслах Сускезус и Джеп, а вся группа вождей занимала противоположный конец портика. Тысячезычный находился посередине, между двумя группами, чтобы с большим удобством исполнять свою роль переводчика, тогда как дядя Ро, я и еще несколько человек мужской прислуги встали позади наших старых друзей. Сенека же и его сообщник находились среди группы индейцев.

В тот самый момент, когда инджиенсы заняли почти всю лужайку, со стороны большой дороги послышался учащенный конский топот, и глаза всех присутствующих невольно обратились в ту сторону. Минуту спустя Оппортюнити Ньюкем поспешно соскочила с седла, привычной рукой привязала лошадь к толстому суку дерева и быстрыми шагами направилась прямо к дому. Пэтти сошла с крыльца, чтобы принять эту неожиданную гостью, я поспешил за ней следом. Обращение Оппортюнити на этот раз было нервное, резкое и раздражительное.

Окинув одним взглядом все три группы, она сразу заметила брата, и брови ее сдвинулись; не сказав ни слова, она схватила меня под руку и увлекла в библиотеку, остановившись лишь на минуту перед бабушкой, чтобы поздороваться с нею, остальным она едва кивнула головой, но это было не потому, что она не хотела быть вежливой, а просто потому, что ей было положительно не до того. Надо отдать ей справедливость, Оппортюнити была девушка очень энергичная, когда дело касалось чего-нибудь серьезного.

— Ради Бога! — воскликнула она, взглянув на меня не то нежно, не то враждебно. — Как вы думаете поступить с Сенекой? Ведь вы стоите над пропастью, Хегс, и, как кажется, сами того не подозреваете.

Она говорила очень серьезно, и я уже убедился на опыте, что ее советы и сведения могли мне сослужить значительную службу.

— На какого рода опасность намекаете вы, милая Оппортюнити?

— Ах, Хегс, что бы я дала за то, чтобы все было иначе! Но разве вы не видите инджиенсов?

— Да, я их вижу, но и они тоже, вероятно, видят моих индейцев.

— О, что эти индейцы значат? Они их больше не боятся. Сначала было, когда они полагали, что это ваши наемники, люди отчаянные, которых вы призвали для того, чтобы они снимали скальпы, произошло некоторое смущение, это правда, но теперь всем известна история этих людей, и никто больше их не опасается. И если уже суждено быть с оголенным черепом, то, без сомнения, оголены будут черепа самих же этих индейцев. Весь этот край поднялся, и ходят слухи, будто вы привели с собою этих краснокожих кровопийц с тем, чтобы заставить их резать женщин и маленьких детей и отовсюду изгнать наших арендаторов, чтобы вновь вступить во владение всеми вашими фермами еще до окончания сроков контрактов и условий. А некоторые прибавляют еще, что у индейцев имеются списки тех лиц, с жизнью которых прекращается срок аренды, и что они прежде всего должны стараться умертвить всех этих людей.

— Милая моя Оппортюнити, — возразил я, смеясь, — я вам очень и очень благодарен за то участие, какое вы принимаете во всех моих делах, но, право, мне трудно понять, как эти злые толки могут заслуживать хотя бы каплю доверия, когда вы сами же мне говорите, что теперь уже всем известна история этих индейцев и причины их появления в наших краях и что в силу того к ним потеряли всякий страх?

— Ах, неужели вы все еще не знаете, что когда необходимо устроить некоторое волнение в народе, никто особенно не считается с правдою или фактами; напротив, в таких случаях часто пускают слухи, иногда даже самые нелепые и противоречивые, и твердят, и повторяют их, смотря по тому, насколько они отвечают цели, вот и все!

— Да, это, может быть, и правда, но скажите, вы сами неужели исключительно с тем приехали сюда, чтобы предупредить меня об этой опасности?

— Мне кажется, что я всегда весьма охотно приезжала в этот дом, Хегс, и, право, ведь у каждого человека есть своя слабость, и я тоже не представляю исключения из этого правила, — тут она вновь бросила на меня нежный взгляд, — но при всем том я никогда не сказала бы вам того, что сказала тогда, если бы только я могла знать, что через это мой брат попадет в такое ужасное положение.

— Я вполне понимаю, каково должно быть ваше беспокойство относительно вашего брата, но могу вас уверить, мисс Оппортюнити, что ваша дружеская услуга не будет забыта мною, когда дело коснется вашего брата.

— Если так, то почему бы вам не позволить индженсам теперь же отнять его из рук ваших друзей, настоящих индейцев? — живо подхватила она. — Я готова поручиться вам за него, что он тотчас же покинет эти края и не вернется сюда в течение нескольких месяцев, если только вы того требуете, до тех пор, пока эта история не будет забыта.

— Значит, посещением индженсов мы сегодня обязаны, собственно говоря, вашему брату; они явились сюда с намерением вырвать его из наших рук, да?

— Отчасти так; они непременно хотят вернуть его, не допустить суда, потому что он является хранителем всех тайн антирентистов, и они очень опасаются за него, чтобы он не выдал их под впечатлением страха или под угрозой наказания. Они знают, что если он успеет сообщить хоть четверть того, что ему известно, то здесь в течение целого года не будет ни одного спокойного дня.

Не успел я ответить ей на эти слова, как меня позвали вниз; индженсы приблизились уже настолько, что дядя счел мое присутствие необходимым. Когда я очутился опять под портиком, толпа их уже группировалась около той кучи развесистых деревьев, где с полчаса тому назад расположились наши краснокожие гости. Тут индженсы остановились. За ними быстрыми шагами приближался к дому почтенный мистер Уоррен, нимало не смущаясь, как видно,

присутствием этой многочисленной, заведомо враждебной ему толпы. Он торопился достигнуть дома, прежде чем эти люди успеют преградить все входы в него.

Старик миновал уже толпу ряженных и находился на полпути между той группой деревьев и домом, как десяток индженсов вдруг отделились от толпы и последовали за ним, видимо, намереваясь преградить ему путь и, быть может, собираясь даже арестовать его.

В этот момент, когда все мы невольно поднялись со своих мест под впечатлением общего сочувствия и расположения к нашему уважаемому пастырю, Мэри бросилась вперед и в одно мгновение очутилась подле отца, которого она обхватила обеими руками, точно стараясь укрыть его от преследователей и умоляя его бежать скорее и укрыться в доме. Но мистер Уоррен счел за лучшее не бежать и не искать спасения под чужой кровлей, а будучи уверен в том, что ничего дурного или такого, что не входило бы в круг его обязанностей он не сделал, остановился и обернулся лицом к тем, которые его преследовали, выжидая, что будет. Это невозмутимое спокойствие и доверчивость священника окончательно смутили преследователей; предводители их приостановились и стали о чем-то сговариваться между собою, а затем медленно повернули назад и вновь присоединились к главной группе, из которой они только что выделились, предоставив мистеру Уоррену и его дочери беспрепятственно продолжать путь.

Священник поднялся по ступенькам портика с таким же спокойствием, с каким обыкновенно входил в свою церковь. Ни малейшее облачко гнева, досады или смущения не омрачало его приветливого лица. Что же касается Мэри, то никогда еще до сей минуты я не видал ее такой прелестной, как теперь, когда она об руку с отцом входила по ступеням портика, еще взволнованная и прекрасная, с выражением нежности и доверчивости на лице и в глазах.

В продолжение всей этой сцены индейцы казались столь же безучастными, как каменные изваяния. Ни один из них не повернул головы и не отвел глаз от Сускезуса, несмотря на то, что все они отлично сознавали, что враг был уже совершенно близко, всего в нескольких десятках шагов от них. Казалось, будто это безучастное отношение индейцев к непрошеным гостям передалось и переводчику, который как раз в тот момент, когда индженсы преследовали мистера Уоррена, закурил трубку и ни на минуту не отвлекся от своего занятия, несмотря на неистовые завывания и крики мнимых индейцев и на ту тревогу, которую испытывали в это время все мы. Мистер Уоррен сообщил нам, что, увидав в окно своего дома проходивших мимо него людей в таком большом числе, он последовал за ними, желая быть посредником между нами и ними.

— Уничтожение балдахина, конечно, уже подготовило вас к чему-нибудь не совсем обычному, — сказала бабушка, обращаясь к мистеру Уоррену. Но оказалось, что священник ничего об этом не знал; он был крайне удивлен, но сожаления его были довольно холодны.

Тем временем индженсы, постояв неподвижно на своих местах, развернули фронт и двинулись вперед со страшным топотом, отбивая ногами землю и как будто желая запугать нас этим. Но никто из нас не проявил по этому поводу ни малейшего беспокойства, даже дамы, и те не трогались со своих мест, не говоря уже об индейцах, которые не обращали на них ни малейшего внимания; эти люди, казалось, считали должным согласовывать свое поведение с поведением Сускезуса: до тех пор, покуда он остается неподвижен, все они будут поступать точно так же. Расстояние между портиком и группою деревьев, о которой мы упоминали выше, было не более ста шагов, и чтобы пройти его, требовалось очень немного времени. Однако я заметил, что по мере приближения господ индженсы замедляли шаги и линия их фронта заметно утрачивала свою первоначальную правильность, но зато топанье и отбивание земли каблуками становились все громче и громче, как будто они старались придать себе храбрости этим шумом. Подойдя к дому на расстояние всего каких-нибудь пятидесяти шагов от нас, они остановились и только продолжали неистово топтать ногами, вероятно, в надежде заставить нас обратиться в бегство. Я счел этот момент удобным, чтобы заявить им о своих правах на своей земле. Выйдя вперед на

выступ портика, я знаком потребовал тишины и внимания, давая понять, что хочу говорить с ними. Топот тотчас же прекратился, и водворилась полнейшая тишина.

— Все вы знаете, кто я такой, — начал я совершенно спокойным и уверенным тоном, — а следовательно, всем вам известно, что я владелец этого дома и этих земель, и как таковой я приказываю вам всем и каждому в отдельности немедленно убраться отсюда и уйти либо на большую дорогу, либо на чью-либо чужую землю. А всякий, кто только посмеет еще остаться здесь после этого моего предупреждения, будет считаться нарушителем общественного порядка и получит, как таковой, должное наказание от лица закона.

Я произнес эти слова громко и отчетливо, отчеканивая каждое слово, так что каждый из них мог меня слышать. Когда я кончил, люди в масках обратились лицом друг к другу и стали переговариваться между собой; очевидно, между ними произошло какое-то смущение и беспорядок, но вожаки быстро восстановили порядок и заставили их остаться на своих местах. При этом было решено, конечно, теми же вожаками, а не толпой, отвечать на мои слова лишь криком или же презрительным молчанием.

Кричали и орали, действительно, довольно дружно, но этим демонстрация не ограничилась, последовал еще такого рода разговор, который я считаю не лишним повторить ради характеристики наших взаимных отношений.

— «Король» Литтлпедж! — насмешливо крикнула одна из масок. — Что случилось с твоим тронem? В доме святого Андрея ниспровергнули трон здешнего монарха! Знаешь ты это?

— Твои свиньи стали теперь аристократами и вскоре станут владельцами и властелинами!

— Хегс Литтлпедж, вспомни, что ты тоже человек, такой же, как и мы. Отчего же ты нас не зовешь к своему столу? Я могу есть не хуже любого человека и не меньше любого.

— А я могу пить за троих, приготовь для меня лучшие твои вина!

Все это сходило у индженсов за остроумие, и честные и благородные труженики не только поддерживали их, но на этот раз даже принимали вместе с ними, как оказалось впоследствии, участие в их доблестной экспедиции. Я старался казаться вполне равнодушным, и, как кажется, мне это удалось. Приводить какие бы то ни было доказательства этим людям было бы делом совсем излишним, но нельзя было также и молчать: подобные люди не в состоянии понять, что молчание есть выражение презрения, и потому я решил отвечать на их оскорбительные возгласы. По знаку, сделанному мной, все замолчали, и я мог говорить свободно.

— Я приказал вам очистить эту лужайку немедленно; я здесь хозяин точно так же, как каждый из вас хозяин в своем доме. Оставаясь здесь, вы нарушаете закон. Что же касается того балдахина, то я был бы вам очень признателен за то, что вы приняли на себя труд убрать его, если бы только это не было насилием с вашей стороны и нарушением моих прав собственности. Я первый восстаю против всякого рода отличий и признаков в храме Божием, где все должны быть равны, как перед смертью, и не желаю этих отличий ни для себя, ни для своих близких. Я требую для себя только тех прав, какими пользуются другие мои сограждане, ничуть не более! Я требую, чтобы моя собственность уважалась наравне с собственностью других людей. Я не хочу никаких привилегий себе, но я хочу справедливости и беспристрастия! Я не понимаю, какие права можете вы предъявлять на раздел моего имущества, скорее, нежели я на ваши урожаи или на ваш скот.

— Все это прекрасно, — возразил из толпы какой-то голос, — а что ни говори, все же вы аристократ и властитель, и богач и, как все они, заслуживаете только ненависти и презрения! — но сказано это было не явственно, а как-то себе в бороду.

Так как это был единичный голос, то я не возражал на него, тем более, что всем нам было ясно, что речь моя произвела на этих людей некоторое впечатление. Они как будто смутились. Очевидно, слова мои расшевелили у них в глубине души давно заглушенное в них чувство справедливости, вложенное в душу людей самим Богом.

Глава XXIX

Как рассыпаются лучи от этого маленького пламени, так сияет доброе дело среди злого мира.

Шекспир

Глубокое молчание воцарилось кругом вслед за моими словами; затем эти люди стали тихо перешептываться и совещаться между собой, после чего остались неподвижно на своих местах, не отступая назад, но и не подаваясь вперед.

Окончив свою речь, я спокойно вернулся к своему месту, решив терпеливо выждать, что будет дальше. Пользуясь минутой затишья, Тысячезычный обратился к индженсам и повелительным тоном объявил им, чтобы они не нарушали ничем совещания вождей, так как никто не может безнаказанно прерывать их прения.

— До тех пор, покуда вы будете держаться смирно, они не тронут вас, но если вы рассердите этих воинов, вам несдобровать.

Подействовало ли на этих людей предупреждение Тысячезычного, или же любопытство взяло верх в этот момент и возымело на них свое влияние, или же они вовсе не намеревались доводить дело до чего-нибудь более серьезного, но только вся эта толпа ряженных оставалась внимательными зрителями и слушателями того, что вслед за тем происходило. Между тем Тысячезычный заявил вождям, что они могут спокойно продолжать свои беседы.

По прошествии некоторого времени, в продолжение которого не было произнесено ни слова, тот же молодой вождь, который перед тем обращался к Джепу, поднялся снова и, подойдя к старому негру, предложил ему продолжать и докончить свою речь. Слова его были пересказаны Джепу Тысячезычным, который при этом добавил, что ни один из вождей не произнесет ни слова, покуда прерванная речь негра не будет окончена.

Нелегко было вновь поднять на ноги старого Джепа; пришлось в это дело вмешаться Пэтти, которая, положив свою маленькую беленькую ручку на плечо старого негра, уговорила его встать и докончить свою речь. Он узнал Пэтти и тотчас же повиновался ей.

— Что они хотят, эти люди, обернутые в бурый коленкор? — начал он.

— Чего им нужно? Зачем их допустили сюда? О, я уже стар, я очень стар и часто спрашиваю себя, когда же наконец пробьет мой час? Вот тоже Суз, куда он годен? Прежде когда-то он был замечательным ходоком, замечательным охотником и зверобоем, великим воином и великим человеком среди вот этих краснокожих, ну, а теперь он уже вовсе износился. Индеец, когда становится неспособным к охоте, положительно ни на что не годится! Но эти коленкоровые черти ведь не индейцы, чего им нужно здесь? Здесь есть и настоящие индейцы, кроме Суза, два, три, шесть, десять, много их, и все они пришли повидать старого Суза. Почему негры не приходят повидать меня? Ведь я такой же старый, как Суз, я даже старше Суза, а старый чернокожий не хуже старого краснокожего! Почему? А эти люди с головою в коленкоровых мешках, что это за люди? Что тебе надо здесь, парень? Пошел вон, убирайся скорее восвояси! Уходи ты отсюда, не то я тебе скажу такие слова, которые ты не рад будешь слышать!

Докончив таким образом свою несвязную речь, Джеп грузно опустился на свое кресло, как после очень утомительной работы. Наступило время индейцев изложить причину, побудившую их главным образом посетить Равенснест. Огонь Прерии встал и выступил вперед.

«Отец! — промолвил он торжественно и с глубоким чувством. — На сердце у детей твоих печаль! Шли они сюда долгим, трудным путем, мокасины их изнасились в пути, и камни резали им ноги, но они шли, и на душе у них было легко; они шли, чтобы видеть доблестного онондаго. И вот они пришли и увидели его, и сердца их возрадовались еще более, чем от предвкушения этой радости. Они увидели его: он, точно мощный дуб, который могло разбить грозой, который мог от долголетия порости седым мхом, но которого ни тысячи гроз, ни сотни годов не могут лишиться его чудной зеленой листвы, его тени, этой доблести дуба. Он походит на самый старейший дуб леса. Он величествен и прекрасен, и смотреть на него приятно. Видя его, мы видим вождя, знавшего отцов наших отцов и их отцов. Он назван доблестным онондаго, потому что доблестей у него много, но есть у него нечто такое, чего не должно было бы быть: он родился краснокожим человеком, но он слишком долго жил между бледнолицыми, так что мы боимся, как бы добрые духи, когда он переселится в счастливые долины, не приняли его за бледнолицего и не указали ему не ту сторону, по которой должны следовать его краснокожие братья до своих счастливых долин. А если бы это случилось, то мы, краснокожие, потеряли бы навсегда своего доблестного онондаго. Но этого не должно быть! И отец мой, наверное, не желает, чтобы это случилось! Нет, у него будут лучшие мысли, и он вернется к нам, к своим детям, и оставит нам в вечное наследие и свою мудрость, и свои советы, и свои доблести и докажет свою привязанность к народу одного цвета с ним.

Мы все просим его о том! Отец, дети твои будут заботиться о тебе с любовью, ты будешь иметь пищу и всякое мясо до конца дней твоих, и никогда ни в чем не будешь нуждаться. И когда, наконец, пробьет твой час переселиться в счастливые долины, то ты не ошибешься тропой и останешься навеки среди твоих краснокожих детей! Мы все просим тебя о том! »

Наступило долгое и торжественное молчание. Видно было, что Сускезус был очень тронут и самой речью, и просьбой, выраженной в ней. При виде этих представителей разных отдаленных племен, пришедших издалека воздать должную честь его достоинствам и просить его прийти и умереть среди них, старик не мог не чувствовать себя счастливым и взволнованным. Все, что в нем еще осталось молодого, как будто ожило теперь, и по его наружному виду в этот момент ему нельзя было дать более шестидесяти лет.

После того, как вожди так горячо и искренне выразили главную цель своего посещения и просьбу вернуться в их родную среду, их горячее желание принять его в свое общество в качестве самого желанного гостя, советника и руководителя, доблестному онондаго оставалось лишь также прямо и открыто высказать им свое решение. Глубокое молчание и напряженное внимание всех лиц

достаточно красноречиво свидетельствовали о том великом нетерпении, с каким ожидался его ответ.

Огонь Прерии уже более трех минут как сел на свое место, и все находились в напряженном, томительном ожидании, когда, наконец, поднялся Сускезус и начал говорить. Голос его дрожал от сильного душевного волнения, в нем слышались трогательные ноты, но он был чист и явственен, как сильный голос возмужалого человека, и каждое его слово было слышно на далеком от него расстоянии.

«Дети мои, — начал он, — когда мы молоды, мы не знаем и не можем знать, что с нами будет дальше; молодость всегда полна надежд, но старость обладает очами, которые видят все в настоящем свете. С того часа, как Великий Дух произнес имя моей матери, призывая ее туда же, в счастливые долины, где уже находился мой отец, призванный туда ранее ее, и где она должна была готовить отцу пищу, я остался один в своем вигваме и жил один. Отец мой был великий воин; его убили делавары вот уже более ста лет тому назад. — Здесь говоривший прервал свою речь и, помолчав немного, продолжал, видимо, стараясь преодолеть охватившее его волнение. — Да, я жил один; молодая сквау (женщина) должна была войти в мой вигвам и остаться в нем, украшая мое жилище своим присутствием. Но она не пришла; другой молодой воин ранее меня заручился ее словом, и справедливо было, чтобы она исполнила данное ею обещание. Так она и сделала, но на душе у нее долго было тяжело. Ни одна сквау не переступила моего порога и не жила в моем вигваме, а я не пожелал быть отцом. Но видите ли вы, как все сложилось иначе: я стал теперь отцом всех краснокожих! И каждый краснокожий воин теперь мой сын! Да, все вы мои дети, и я узнаю вас и назову по имени, когда мы встретимся когда-нибудь на прелестных тропинках счастливых долин, за пределами долин вашей теперешней родины. Вы назовете меня отцом, а я назову вас своими сыновьями, и этого довольно!!

Вы просите меня пройти с вами по далекой тропе, ведущей в ваши прерии, но, дети, тот путь слишком далек для старца. И я так долго жил среди бледнолицых, что половина моего сердца сделалась белой, хотя другая половина осталась красной, как была. Я не могу разрубить пополам своего сердца; оно или должно все уйти с вами, или же все остаться здесь. И тело не может расстаться с сердцем, и потому оба должны остаться там, где они находятся теперь и где они так долго жили. Благодарю вас от души, дети мои, но желание ваше не может осуществиться».

Сускезус замолчал и опустил в кресло.

Огонь Прерии, выждав некоторое время и видя, что доблестный онондаго все продолжал оставаться под впечатлением своих дум, встал и обратился к нему со следующими словами:

— Отец, ты говорил разумно и мудро, как говоришь всегда, и эти дети твои усердно слушали тебя, но они еще не довольно слышали и хотят слышать больше твоих мудрых слов. Если, отец мой, ты утомился стоять, то все мы тебя просим: сиди, но говори нам свое слово!

Сускезус продолжал, сидя, свою речь: «Видите ли, дети мои, этих людей, что стоят перед вами? Это бледнолицые люди, которые прячут лица свои в мешки из коленкора, чтобы их не могли узнать. Для чего они рыскают по стране, позоря краснокожего человека и называя себя индженсами, хотите ли знать? Я вам скажу это: люди эти не воины, хотя и носят при себе ружья, они скрывают свои лица потому, что поступают дурно и не хотят, чтобы их узнавали; их боятся только сквау (женщины) и папу (дети). И если им случается одолеть врага, то только тогда лишь, когда их сто человек нападут на одного! Чего им нужно? Им нужно отнять земли у молодого вождя, вот что им нужно; а земли эти все ему достались от его отца, а отцу от деда, а деду от прадеда. Когда пришли сюда, в нашу страну, бледнолицые люди и изгнали нас, краснокожих, то между нами не было никакого условия или договора; они не курили вместе с нами, не подписывали никаких бумаг и ничего не обещали нам, они тогда совсем не знали нас. А когда они

сделали это, то только для того, чтобы закрепить условие, что краснокожие удалятся в глубь страны, а бледнолицые останутся владеть этой землей. Ну, а теперь, когда такой же бледнолицый хочет изгнать другого бледнолицего с его земли, то этим он нарушает свой договор. Они курили вместе и подписывали бумаги, и уговаривались между собой, вот в чем есть разница. Индеец, если дал слово, держит его и не отступится от него никогда, а бледнолицый, дав слово другому бледнолицему, нарушает его, вот в чем есть разница».

Сускезус замолчал, и тогда впервые глаза индейцев обратились на людей в масках, мнимых их собратьев; сдержанный шепот пробежал по рядам краснокожих вождей, и вдруг все смолкло, потому что Орлиный Полет медленно поднялся со своего места и стал говорить, как бы продолжая речь Сускезуса.

«Братья мои, — начал он, обращаясь как к своим единоплеменникам, так и к индженсам, — все вы слышали слова великого и мудрого старца, это — слова разумные, правдивые и умные. Мы слышали о вас прежде всего от переводчика нашего, а затем от старца Сускезуса. Ваша повесть — печальная повесть, это повесть зла и злых, дурных поступков, и нам стало грустно, когда мы услышали ее. Что хорошо и справедливо, то должно делать, что дурно и несправедливо, того делать не должно! Есть и хорошие, есть и дурные — краснокожие люди, есть хорошие, есть и дурные — бледнолицые! Хорошие краснокожие и хорошие бледнолицые поступают всегда честно и хорошо. Дурные же и краснокожие, и бледнолицые поступают дурно. Великий Дух индейцев и Великий Дух белых

— один и тот же Великий Дух! Он как тех, так и других учит добру и требует от них и от нас хороших поступков и добрых дел.

Братья мои, краснокожий знает всегда и чувствует и сознает в душе, когда он делает хорошо и когда он делает худо, и сам говорит себе о том, но лицо его красно от рождения, он покраснеть не может, его стыд за дурное дело уходит в его сердце, и когда он говорит себе, что поступил или сделал дурно, то он уходит в кусты, подальше от людей и там тоскует, скорбит и сожалеет о том, что сделал он дурного, и когда он выйдет из кустов, то он уже, стал лучше, чем был прежде.

Братья мои, не так поступают, я вижу, бледнолицые; лица их белы, и когда бледнолицый скажет себе в душе, что поступил худо и сделал что-нибудь дурное, то лицо его само собой окрашивается, и всякий может видеть, что ему стыдно. Но он не идет в кусты и не прячется от людей, ему бы это не помогло, да он и не успел бы вовремя добежать до кустов, потому что лицо его мгновенно покрывается краской. И вот он прячет лицо свое под коленкоровым мешком. Это, конечно, не хорошо, но все же это лучше, чем допустить, чтоб всякий показывал на него пальцем.

Братья мои, доблестный онондаго никогда не прятал лица своего в кусты, чтобы скрыть от людей свой стыд, и никогда не прятал его в коленкоровый мешок. Он не имел в том надобности, потому что ни разу не говорил себе, что он поступил дурно.

Братья мои, послушайте меня, я хочу рассказать вам его повесть. Я буду говорить теперь о том, что было сто зим тому назад. Сускезус был тогда очень красив, и молод, и силен, и деятелен, как редкий из людей. Он был вождем, потому что его отцы и деды были вождями до него; онондаго все знали, любили и ценили его. Ни разу не открылась ни одна тропа войны, на которую Сускезус не вступил бы раньше и впереди других. Ни один другой воин не мог похвастать таким множеством скальпов, и ни один из вождей не имел стольких слушателей у своего костра совета, как он. И онондаго гордились тем, что у них был такой великий, славный и такой молодой вождь. Юные годы Сускезуса прошли счастливо. Когда он прожил тридцать зим, ни один из вождей его племени не имел ни того почета, ни того уважения, ни той власти в своем народе, как он. Он был первым из первых среди онондагов, и слава о нем гремела по всем лесам и по всем соседним племенам. Был у него в то время один только недостаток: он не брал никакой сквау в свой вигвам.

Но вот и он, наконец, стал, как и все другие люди, и задумал избрать себе достойную себя сквау. Вот как это случилось.

Братья мои, у краснокожих есть также свои законы, как и у бледнолицых, но соблюдаем мы их лучше и строже. Один из законов наших гласит, что каждый пленный принадлежит безраздельно и неотъемлемо тому, кто его пленил. Если он захватил в плен воина, то воин этот принадлежит ему. И это хорошо и справедливо! Он вправе снять скальп у воина и вправе отвести сквау в свой вигвам, если только он пуст. Один из воинов племени онондаго, названный Водяной Курочкой, привел захваченную им в плен молодую девушку племени делаваров. Звали ее Уит-уис, и она была прелестнее колибри. О красоте ее далеко носились слухи; уши Водяной Курочки были отверсты, и он узнал, как хороша была эта дочь делаваров. Он долго и упорно подстерегал ее, чтобы захватить в плен, и, наконец, это удалось ему. Она стала его, и он решил ввести ее в свой вигвам, как только он станет пуст. Прошло три месяца, прежде чем это могло случиться. В течение этого времени Сускезус видал Уит-уис, и Уит-уис видала Сускезуса. И их глаза не могли оторваться друг от друга, и в большой толпе они искали друг друга, и в тишине ночей думали только друг о друге. Он был в ее глазах самым красивейшим оленем темных лесов, она в его глазах была прелестнейшей ланью. Он страстно желал взять ее в свой вигвам, она же всеми силами желала войти туда.

Братья мои, Сускезус был главнейшим вождем племени онондагов, а Водяная Курочка был только простой воин; первый из них имел могущество и власть, а последний не имел ровно ничего. Но среди краснокожих есть власть превыше власти вождя, то власть закона! А по закону Уит-уис принадлежала Водяной Курочке и не принадлежала Сускезусу. Собран был большой совет по этом случаю, и мнения разделились. Одни полагали, что такой великий вождь и славный воин должен был стать супругом красавицы Уит-уис, другие утверждали, что супругом ее должен стать Водяная Курочка, потому что он захватил ее в плен и привел сюда из страны делаваров. Многие воины стояли на стороне закона, но большинство стояло на стороне Сускезуса, потому что его любили и чтили. В продолжение всего времени, пока луна шесть раз родилась и шесть раз умерла, спор этот возрастал, и некоторые из воинов были даже готовы вырыть из-под земли топор, чтобы поддержать закон, другие — чтобы отстоять возлюбленного своего вождя Сускезуса, гордость онондагов и делаварского колибри. Сквау стояли на стороне молодого вождя; и днем, и ночью они собирались и говорили об этом и, наконец, даже пригрозили, что зажгут костер совета и станут вокруг него курить так же, как воины и как вожди.

Братья, так продолжаться это дело не могло. Уит-уис должна была войти или в вигвам Водяной Курочки, или в вигвам Сускезуса. Сквау решили, что она пойдет в вигвам последнего и, собравшись все вместе, привели ее к порогу вигвама онондаго. Однако она не переступила этого порога. Перед нею стоял Водяная Курочка и сам преграждал ей путь; он был один, друзей у него было мало, тогда как и голо», и рук друзей Сускезуса было столько же, сколько ветвей и побегов у кустов. Но Уит-уис не могла войти в вигвам Сускезуса, потому что его глаза говорили ей «не входи», хотя сердце его говорило «войди, желанная, войди!». Он предлагал Водяной Курочке все, что у него было ценного и прекрасного в его доме, он отдавал ему свое ружье и порох, все шкуры и уборы из цветных перьев, и свой вигвам, лучший во всей деревне, взамен молодой дочери делаваров, но Водяная Курочка желал иметь лишь свою пленницу и потому отвечал: «нет»!

«Возьми мой скальп, — сказал он, — ты силен и ты можешь это сделать, но не отнимай у меня моей пленницы». Тогда Сускезус стал посреди своего племени и раскрыл перед всеми свое сердце. «Водяная Курочка прав, — сказал он. — Она по закону принадлежит ему, а то, что говорит закон краснокожего человека, краснокожий человек обязан исполнять. Когда воин должен подвергнуться пытке и спрашивает известный срок для того, чтобы вернуться к себе повидать перед смертью свою семью и своих друзей, разве он не возвращается добровольно к сроку? А я, Сускезус, главнейший из вождей онондагов, неужели я преступлю закон?! Нет, если бы это

случилось со мной, мое лицо навсегда было бы спрятано в кустах. Этого не должно быть и не будет. Возьми ее, Водяная Курочка, она твоя. Но береги ее, она нежна, как ласточка, только что вылетевшая из своего гнезда. А мне надо уйти на время в леса. Когда мой дух вновь успокоится и сердце мое вновь обретет мир, Сускезус вернется к вам».

Покуда Сускезус брал свое ружье и порох, лучшие свои мокасины и томагавк, вокруг царила такая тишина, как среди темной ночи. Люди видели, как он уходил, и ни один не посмел следовать за ним. Он не оставил по себе никакого следа и был прозван Бесследным. Как видно, дух его не обрел мира, потому что он не вернулся к своим лесам, к своим друзьям и к своему народу.

Вождя у онондагов не стало, он ушел, но закон остался. Так видите, вы, бледнолицые люди, прячущие свои лица в мешки! Идите и научитесь поступать так же! Последуйте примеру доблестного индейца и будьте честны и справедливы, как честный и справедливый онондаго»!

При последних словах этого простого, незатейливого повествования среди вожаков индженсов стало заметно некоторое волнение; некоторые признаки неудовольствия и даже негодования не могли укрыться от нашего внимания; зловещий ропот прошел по рядам их, и вслед за тем они подняли такой неистовый шум, гам, крики и вой, о котором даже трудно составить себе некоторое представление. Они стали потрясать своим оружием, кривляться и топтать ногами, надеясь запугать индейцев и подействовать на них страхом и своим численным превосходством. Но индейцы оставались неподвижны, как статуи, хотя по всему было видно, что они в любую минуту и по первому знаку готовы броситься на врага, и уж на этот раз без всякого сомнения дело не обошлось бы без кровопролития. Вдруг совершенно неожиданно под портиком появился шериф округа note 11 под руку с Деннингом. Это неожиданное и никем не предвиденное появление должностного лица, конечно, разом прекратило враждебные намерения индженсов; все они, видимо, смутились и почти бессознательно отступили назад. Наши дамы в ожидании не совсем приятной сцены тем временем незаметно удалились в дом.

Глава XXX

Глубокий смысл, живое чувство, великие страсти, ненависть к тирану и мошеннику, любовь к добру, презрение к злему, низкому и рабу.

Галлек

Хотя опыт не раз уже доказывал, что появление шерифа не всегда предвещало покровительство закона правым и надлежащее возмездие виновным, но на этот раз мы оказались счастливее других. Вскоре индженсам стало ясно, что это должностное лицо собирается поступить с ними по закону. В момент, когда враждебное настроение настоящих и мнимых индейцев грозило уже

перейти в столкновение и дамы наши удалились, я счел необходимым увести в дом и наших пленных, опасаясь за их безопасность в пылу схватки. Отведя их в библиотеку, я оставил их там, а сам поспешил вернуться под портик. Я поспел как раз вовремя, чтобы быть свидетелем всего происшедшего вслед за тем.

Шериф этот был известен как человек, не сочувствующий антирентизму, и потому никто не предполагал, чтобы он мог явиться сюда без надлежащего военного подкрепления, потому-то индженсы при виде его тотчас же отступили назад. Впоследствии я узнал, что речь Орлиного Полета произвела на многих из них глубокое впечатление, и они, действительно, почувствовали стыд при сознании того, что краснокожий индеец имеет лучшее понятие о честности и справедливости, чем белый человек.

Появление Деннинга тоже имело для них свое значение: все знали его хорошо и, конечно, не допускали, чтобы этот ненавистный «клевет Литтлпейджер», как они его называли, мог отважиться показаться здесь без многочисленной вооруженной охраны. Однако те, которые держались о нем такого мнения, жестоко ошибались, потому что Джон Деннинг хотя и не имел ни малейшего желания быть вымазанным дегтем и осыпанным перьями, но в моменты, когда он мог действительно был нужен или полезен своим друзьям, то никто с такой охотой не рисковал своей особой для других, как он.

Беспокоясь о нас, он дня два-три спустя решил последовать за нами. По пути он узнал о поджоге риги, а также и о том, что опасность грозила и самому нашему дому, и, не теряя времени, отправился за шерифом. Так как главной его целью было увести дам в безопасное место, то шериф не стал выжидать официального вызова на место происшествий и, захватив с собою десятка два хорошо вооруженных, решительных парней, отправился вместе с Деннингом в Равенснест.

Оппортюнити из окна библиотеки, где она оставалась все время, заметила прибытие этих неожиданных гостей, с шерифом и Деннингом во главе, и едва успела остаться одна с пленниками, как тотчас же поспешила развязать их путы и помочь их бегству, пользуясь тем временем, когда все мы были заняты другим. Таково было, по крайней мере, наше предположение, так как в библиотеке не было никого, кроме нее и наших двух пленных, и когда я вернулся спустя некоторое время в комнату, то пленные исчезли. Никто никогда не расспрашивал, однако, сестру о том, куда девался ее брат и его сообщник, тем более, что и впоследствии мы не видали его в этих местах, а за их отсутствием, конечно, никто из нас и не подумал заводить перед судом речь об этом поджоге.

При виде шерифа и Деннинга индженсы, как мы уже говорили выше, отступили назад. Шериф тотчас же обратился к ним и именем закона приказал им немедленно же разойтись и очистить лужайку, обозвав их законопреступниками и пригрозив им всем соответствующими этому преступлению карами. Одну минуту индженсы, казалось, были в нерешительности, но вдруг все сонмище этих доблестных граждан, прячущих свои лица и свой стыд под коленкоровыми масками, стало быстро ретироваться. Отступление происходило в некотором порядке, но затем оно приняло почему-то характер паники, и все они обратились в беспорядочное отчаянное бегство. Дело в том, что в это время люди Деннинга стали показываться в окнах дома, потрясая и грозя негодьям своими ружьями, а эти последние, обуреваемые неудержимым страхом, казалось, воображали себя уже жертвами этих внезапно явившихся неожиданных врагов.

Индейцы с безмолвным презрением смотрели вслед бежавшим индженсам, и Огонь Прерии, умевший кое-как выражаться по-английски, сказал: «Несчастные индейцы, жалкое племя, которое бежит от собственной тени, от звука своего голоса». Такими словами выразил краснокожий индеец свое презрение к этим людям и уже более не сказал ничего.

Старый Сускезус оставался спокойным свидетелем происходившего. Он знал и понимал все, и как только порядок и тишина вновь водворились под портиком, он еще раз поднялся со своего места и стал говорить, обращаясь к своим гостям.

«Дети мои, вы слышите мой голос в последний раз. Соловей поет, поет и умолкает, даже и мощные крылья орла устают и отказываются служить ему, и я скоро перестану говорить. Когда переселюсь в счастливые долины, где блаженствуют наши деды, я расскажу всем воинам, которых увижу там, о вашем посещении, и отцы ваши узнают, что их сыновья любят справедливость.

Бледнолицые люди заключают условия, пишут их на бумаге и скрепляют своим именем, а затем нагло нарушают свой договор. Но обещание краснокожего человека для него закон. Если он обещает взамен чего-либо доставить шкуры зверей, то он доставит их, хотя и никакой закон не может преследовать его среди наших непроходимых лесов, чтобы принудить его исполнить свое обещание, но его обещание всегда следует за ним и он никуда не может уйти от него; он знает это и для него оно сильнее всякого закона; что он, обещал, то исполнит непременно во что бы то ни стало.

Дети мои, не забывайте этого никогда! Вы не бледнолицые, чтобы говорить или обещать одно, а делать другое! Когда вы устанавливаете закон, то должны и соблюдать его. Так всегда вы и поступаете, и это хорошо. Ни один краснокожий не требует себе чужого вигвама; если он хочет иметь вигвам, то строит его себе сам. Но не так поступают бледнолицые: человек, у которого нет своего вигвама, старается отнять вигвам у своего соседа. И поступая так, он продолжает читать свою священную книгу и ходить в дом молитвы и просить помощи Великого Духа.

Дети мои, краснокожий человек — человек свободный и сам над собою господин; он идет, куда хочет, и делает, что хочет. Он может ступить на тропу войны, или заниматься охотой, или же оставаться в своем вигваме. Он должен только всегда исполнять свое слово, не брать и не таскать ничего чужого, не прокрадываться тайком в вигвам другого краснокожего и никогда не быть несправедливым. Он человек свободный и сам себе господин, но он не говорит об этом никогда.

А бледнолицые говорят, что они люди свободные, когда восходит солнце, и когда светило стоит над их головой, и еще раз говорят, что они свободные, когда солнце уходит за горы, и не перестают повторять о том и ночью; они говорят об этом больше, чем они читают свою святую книгу, а затем идут отнимать вигвам у такого же свободного человека; они говорят о свободе, а сами того требуют, чтобы все в мире делалось так, как они того хотят.

Дети мои, эти бледнолицые должны были бы последовать за вами в прерии, чтобы научиться от вас справедливости. И я не удивляюсь тому, что они прячут свои лица в мешки: им, должно быть, стыдно за то, что они делают».

Старец перевел дух и продолжал:

«Дети мои, вы слышите в последний раз мой голос. Уста старца уже не долго будут говорить. Прощайте, дети мои! Поступайте, как должно, как хорошо, вы будете более счастливы, чем богатейшие из бледнолицых, которые поступают нехорошо».

Сускезус замолчал и опустил на свое кресло.

Тогда каждый из вождей по очереди стал подходить к нему и брать его за руку. Индейцы скупы на проявление своих чувств, но зато они предоставляют своим поступкам говорить за них. Ни одно слово не было произнесено этими закаленными в битвах воинами в то время, когда они прощались с Сускезусом. Но каждый из них охотно приносил ему справедливую дань уважения и почета. Исполнив этот долг, они удалились, довольные, если не счастливые.

Простившись с Сускезусом, каждый из них пришел и протянул руку каждому из нас, высказав благодарность за радушный прием. Дядя распределил между ними остатки своих драгоценностей, колец, серег, брошей и бриллиантов, и они покинули нас с чувством искреннего расположения. Однако в их удалении не было ничего трагического. Их уход был так же прост и незаметен, как их приход.

Весь эпизод пребывания здесь индейцев показался мне скорее каким-то сновидением, чем действительностью.

— Так что же, Хегс, — спросил Джон Деннинг часа два-три спустя, — что же ты решил делать? Останешься ли ты здесь или, быть может, поселишься в своем доме в Вестчестере.

— Нет, я останусь здесь до тех пор, пока не пожелаю сам уехать, а затем мы уже постараемся стать свободными, как индейцы, и пойдем, куда вздумаем, лишь бы только не в вигвам нашего соседа против его воли.

Джон Деннинг улыбнулся и прошелся несколько раз взад и вперед по комнате.

Дядя решил также остаться, и он сдержал свое слово и остался жить в округе, где живет и сейчас.

Между прочим, следует сказать, что мы получили вскоре некоторое подкрепление в лице нескольких молодых людей, моих прежних товарищей, съехавшихся опять в свои поместья по окончании сезона вод и теперь почти постоянно гостивших в Равенснесте.

Молодые люди все были страстные поклонники женской красоты, женского остроумия и женской грации, и потому им у нас в доме было раздолье. Обе воспитанницы дяди имели уже по усердному воздыхателю, и это обстоятельство прекрасно скрывало мои отношения к Мэри Уоррен, тем более, что в своей милой Пэтти я нашел прекрасную и верную союзницу. Дядя Ро, конечно, несмотря на все это, отлично видел всю мою игру, хотя я никогда ни единым словом не намекал ему на это. По счастью, он был весьма доволен выбором обеих своих воспитанниц, и это значительно смягчало его разочарование относительно его планов насчет моей особы.

То обстоятельство, что Мэри Уоррен не имела никакого состояния, также нимало не смущало и не огорчало дядю; ведь он знал, что сам он достаточно богат, чтобы сделать приличное добавление к моему состоянию в случае моего разорения от происков антирентистов. И вот однажды, когда все мы случайно собрались в библиотеке, беседуя на самые разнообразные темы, дядя Ро вдруг обратился ко мне со словами:

— Ах, кстати, Хегс. Я имею сообщить тебе важную новость, касающуюся твоих материальных интересов, в размере пятидесяти тысяч долларов.

— Надеюсь, это исходит не от антирентистов, милый Роджер? — тревожно осведомилась бабушка.

— Нет, нет, теперь Хегсу нечего более этого опасаться, по крайней мере в настоящее время. Тот убыток, на который я намекаю, более несомненный и более значительный, чем того можно было бы ожидать от происков господ антирентистов.

— Да, та сумма, о которой вы говорите, дядя, весьма значительная, но признаюсь, я не особенно огорчен этой потерей, так как не совсем верю в нее, простите. Долгов у меня нет, а все процентные бумаги мои в лучшем порядке и весьма надежны.

— Все это прекрасно, мой милый, но ты, вероятно, забываешь, что ты естественный наследник моих поместий. Понятно, что известная часть должна будет прийти к Пэтти, когда она будет выходить замуж, а вот теперь я задумал выделить из моего состояния пятьдесят тысяч долларов, чтобы сделать вклад на имя одной молодой особы и составить ей приличное приданое.

— Роджер! — воскликнула бабушка. — Не может быть, чтобы ты говорил серьезно! Подобный вклад...

— Нет, я говорю очень серьезно. Мне понравилась одна прекрасная молодая девушка, но так как я не могу на ней жениться сам, то решил сделать ее желанной партией для всякого и в смысле приданого, как во всем остальном!

— Но в таком случае, почему бы вам не жениться на ней самому? — спросил я. — Люди гораздо старше вас женятся весьма часто!

— Да, конечно, вдовцы, те женятся вплоть до тысячетлетнего возраста, но старые холостяки, как только им стукнет за сорок лет, уже с трудом решаются на этот шаг! Присутствие мистера Деннинга явилось как нельзя более кстати для того, чтобы оформить это дело и написать все необходимые бумаги, которыми обуславливается безусловная неприкосновенность этого капитала со стороны будущего супруга этой девушки, кто бы он ни был.

— А эта девушка? Ведь это Мэри Уоррен! — вдруг радостно воскликнула Пэтти.

Дядя улыбнулся и попытался было отрицательно покачать головой, но это не помогло.

— Нет, нет, это она! Я знаю, — настаивала Пэтти, прыгая по комнате, как молодая козочка, и, кинувшись на шею дяди, она стала целовать его в лоб и в щеки, как избалованный ребенок. — Я знаю еще что-то, я знаю, что Мэри Уоррен не всегда останется Мэри Уоррен.

— А кем же она станет? — поспешно осведомился дядя.

Но Пэтти стала его снова ласкать и целовать, густо покраснела, как пойманная на месте преступления шаловливая девочка, многозначительно взглянула на меня и затем опустила глазки, как бы чувствуя себя виноватой.

— Но правда ли то, что ты сейчас сказал, Роджер? — продолжала расспрашивать бабушка. — Неужели предположение Марты верно?

— На этот раз наша шалунья Пэтти, конечно, случайно, права! — смеясь, подтвердил дядя.

— А Мэри ваше намерение известно, и ее отец согласен? — спросил я.

— Да, и Мэри, и отец ее согласны, мы все это уладили еще вчера, и мистер Уоррен дал свое согласие.

— На что? — спросил я, даже привскочив на своем стуле.

— Согласен принять в зятя мистера Хегса Роджера Литтлпеджа. Заметь, что ведь это мое имя, да и мало того, и сама молодая особа тоже выразила свое согласие.

— Да вот этого Хегса Роджера Литтлпеджа, а не вот того! — воскликнула сияющая от радости Пэтти и бросилась мне на шею, шепча мне в самое ухо: — Поздравляю, Хегс, поздравляю!

— Да, кажется, что ты права, шалунья, — отозвался дядя Ро. — Я не отвергаю и не оспариваю ни одной из твоих догадок.

Когда он еще говорил это, дверь скрипнула и на пороге показалась Мэри Уоррен. Увидя нас всех вместе, она тотчас же хотела уйти, но бабушка ласково попросила ее войти.

— Я боялась нарушить ваш семейный кружок! — стыдливо произнесла она.

Но Пэтти уже успела подбежать к ней и, обхватив ее рукой за талию, вытащила ее на середину комнаты, после чего подбежала к дверям и с шумом заперла их на ключ.

Все улыбались, кроме Мэри, которая стояла не то довольная, не то сконфуженная, почти испуганная чем-то, чего она сама не понимала.

— Да, это действительно был семейный кружок и семейный совет! — сказала Пэтти, обнимая и целуя Мэри. — И никто иной теперь не будет допущен сюда, кроме одного только доброго мистера Уоррена, если он пожелает предъявить свое право. Дядя Ро уже сказал нам все, и все мы знаем и все рады!

Мэри спрятала на груди Пэтти свое смущенное прелестное лицо, но вскоре ее привлекла в свои объятия бабушка, а затем Пэтти и, наконец, и дядя, который на этот раз расцеловал ее, как свою дочь, а вслед за тем все присутствующие понемногу и незаметно вышли из комнаты, и тогда наступил уж мой черед...

Мы еще не женаты, но день свадьбы уже назначен. То же происходит и по отношению к двум питомицам моего дяди; кроме того, я должен добавить, что Пэтти каждый раз краснеет, а бабушка улыбается, когда заходит речь о людях, путешествующих по Египту. Последние письма молодого Бикмэна извещали нас о том, что он в настоящее время находится именно в этой интересной стране. Все три вышеупомянутых брака должны были совершиться в церкви святого Андрея.

Брак мой с дочерью бедного священника наделал много шума. Эти люди, так громко вопиющие о равенстве и возмущающиеся классовыми предрассудками и аристократизмом, находили наш брак слишком неравным. Что же касается Оппортюнити Ньюкем, то она, как говорят, грозилась преследовать меня законным путем за нарушение обета вступить с нею в брак, и я, конечно, нимало не буду удивлен, если она осуществит эту угрозу.

Джеп слабеет с каждым часом, а старый Сускезус жив еще. С некоторых пор он стал предметом сильнейшей ненависти для всех антирентистов.

Система индженсов, кажется, окончательно вышла из употребления, но дух, вызвавший это позорное явление к жизни цивилизованной нации, все еще жив и прикрывается лживым именем «естественного права человека». Честный и правдивый онондаго нимало не тревожится возбуждаемыми им в этих людях чувствами и живет своим внутренним миром. Его ненавидят за то, что этот человек умел уважать тот закон, который требовал от него величайшей жертвы, и предпочел страдать почти всю свою жизнь, чем совершить поступок, не согласующийся с чувством и сознанием справедливости.

Эпилог

На этом оканчивается рукопись молодого мистера Хегса Роджера Литтлпеджа, а так как к этому можно еще кое-что добавить, то я и позволю себе это сделать для большей полноты этого рассказа.

Джеп скончался дней десять тому назад, до последней минуты вспоминая своих господ, старых и молодых, живых и умерших. Что же касается его личного потомства, то он уже более сорока лет никогда не вспоминал о нем.

Сускезус еще жив, а индженсы исчезли бесследно, никто уже более не слышал о них. Наконец-то общественное мнение восстало против этого возмутительного явления и стерло это позорное племя с лица родной земли.

Молодой мистер Литтлпедж и Мэри Уоррен уже обвенчаны; бракосочетание их было совершено уважаемым священником церкви святого Андрея в Равенснесте, в церкви своего прихода. Я встретил молодых супругов Литтлпедж во время их свадебных визитов, и молодой супруг сказал мне, что имеет намерение поднять и выяснить окончательно все вопросы, касающиеся наемных и арендных условий, договоров, контрактов и прав собственности.

В глазах наших и Орегон, и Мексика, и вся Европа, взятые вместе, восстав против нас, не представляли бы для нашей нации и половины той ужасной опасности, которая грозила ей от внутреннего врага, внедрившегося в самое сердце нашего государства и преследовавшего свои пагубные и низкие цели под флагом народной свободы. Я чуть было не забыл добавить, что молодой мистер Литтлпедж сказал мне, расставаясь со мною, что в случае, если ему не удастся добиться желаемых им результатов в Вашингтоне, то он оставит Америку и поселится во Флоренции, где и будет жить вместе с другими жертвами притеснения, с тем еще преимуществом, что на него будут смотреть, как на жертву тирании республики.